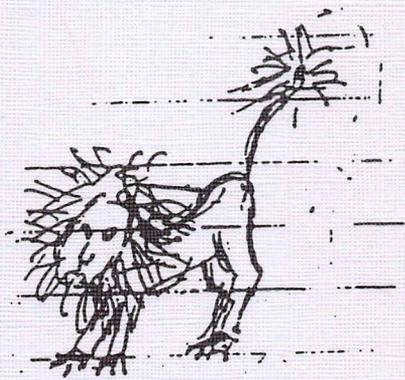


ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

СВЕТЛАНА АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД
МИХАИЛ БАСИН
ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ
АПЛА БОССАРТ
ИОСИФ БУКЕНГОЛЬЦ
ПОЛИНА ВИТМАН
СЕМЕН ГРИНБЕРГ
МИХАИЛ ГОНЧАРОВ
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
ЛОРИНА ДЫМОВА
МИХАИЛ ЗИВ
ЕЛЕНА ИГНАТОВА
ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ
БОРИС КАМЯНОВ
БОРИС КАЦ
ЮЛИЙ КИМ
ЕВГЕНИЙ МИНИН
НИКОЛЬСКИЙ
АЛЕКСАНДР ОКУНЬ
ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР
ДИНА РУБИНА
ВЛАДИМИР ФРОМЕР
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН
И ДРУГИЕ

№ 38



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2011' 38

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
и Юрия Исааковича КАННЕРА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

38 2011

Иерусалимский журнал, № 38, 2011

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ а также antho.net/jr/index.html

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: Игорь Бяльский (главный редактор),

Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Алекс Тарн, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: Евгений Минин

Художник: Сусанна Черноброва; Веб-дизайн: Карина Пастернак

Корректурa: Бина Смехова, Люба Лейбзон, Галина Культиасова

Организационное и техническое обеспечение номера: Ольга Аксютинa,

Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин,

Светлана Мойбер, Владимир Попов, Илан Рисс, Дмитрий Шварц

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Российский Еврейский Конгресс



Фонд
«Русский мир»



Совет по литературе и искусству
при Управлении национальной лотереи
«Мифаль а-паис»



Министерство культуры и спорта



Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2011. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Сеиён Тринберг

СТАРОЕ, МОЖЕТЬ, ДАЖЕ СТАРИННОЕ

ВОДКА

Двое в шляпах пили водку.
На столе
Два апельсина,
Два надтреснутых графина,
Непечатый бутерброд,
Вилка, как зубная щетка,
С ненанизанной сардиной.

Двое пьют в столовой водку
В шляпах задом наперёд.

Настежь дверь.
Вошел боксёр.
Он тяжёлый. Он угрюм.
Смотрит, где свободный стол.
Стол нашёлся. Ищет стул.
В поисках пересекает зал.
Подошел официант.

Видит, что открыта дверь,
Что-то усмотрел за ней.

А боксёр?
Он сел в углу.
Руки перед.
Просит водки.
Тоже дверью привлечён.
Через сдвинутые шляпы
Делает кому-то знак.

Очевидно, там швейцар.

Нет, не так!
Из-за портьеры
Вышла женщина.
Наверно,
У неё болит рука.

Или ноги, или шея,
Или что-нибудь другое...
В общем, женщина больна.

Двое пьют, касаясь лбами.
Шляпы рядом, шляпы сняли.
Правый лыс, другой брюнет.
Оба сыр берут руками.

Кто же лыс? Ведь оба правы!
Кто же левый? Тот, что справа?
Тот, что справа, левый?
Нет!

Женщина идёт направо,
Женщина проходит мимо,
Женщина проходит прямо...
– Здравствуйте! – сказал боксёр.

март, 1960

ДАЧНИКИ

Весной на даче суета.
Хозяева открыли ставни,
А дети их очаг из камня
Сложили около окна.

Они пекут, они коптят,
Их лица в тёмной позолоте.
Внезапно из дверей напротив
Из кухни
Вышел старший брат.

Он слышал крики,
Он принёс ведро воды.
Он заливает.

Затем он руки вытирает
О полосатые штаны
И говорит:
– Исчадь ада!
Вы доведёте до беды!

И он уходит за ограду
Набрать колодезной воды.

О ЧЁМ ОН ДУМАЕТ ОДИН

1.

О чём он думает один?
Об этом знает лишь один.
Он ничего давно не знает,
он пьёт коровье молоко
и до восьми, пока светло,
энциклопедию читает.
А утром вышел из тюрьмы
бандит с фамилией Собакин.
Он сплёл охапку из травы
и нес её в коротких лапах.
Он пересёк пустой базар
и вышел к церкви.
За оградой
он лег в тени
и задремал.
Но то ли было слишком рано
иль просто холодно,
он встал,
и по доске, заколебавшись,
дошёл до края,
и вошёл
в пустую комнату.
С минуту
он в ней, казалось, был один.
Но вдруг вошедший говорит:
– Что ж, отвечай, коли вернулся, –
о чём ты думаешь один?
Собакин вздрогнул и проснулся.
Всё было так же.
Он поднялся
И, взяв измятую траву,
он долго шёл,
но помнил твердо,
что надо делать наяву.

Закончивши последней фразой,
я долго думал, как назвать,
но тут пришёл Сапгир и сразу,
не раздеваясь, стал читать.
И так сказал:
– Довольно слабо.
Здесь явно не хватает бабы
и надо мистику убрать.

2.

О чём он думает один?
Об этом знает лишь один.
Он ничего давно не знает:
он пьет коровье молоко
и до восьми, пока светло,
энциклопедию читает.
А утром вышел из тюрьмы
бандит с фамилией Собакин.
Он сплёл охапку из травы
и нес её в коротких лапах.
Он пересёк пустой базар
и вышел к церкви.
За оградой
его приятель ожидал,
и встретил этой тирадой:
– Принёс траву? Давай сюда.
Я голоден, или голо́ден.
Она зелёная всегда
годится при любой погоде.
Он так спешил,
что иногда
казался даже старомодным
и удивительно жевал
казавшееся несъедобным:
карандаши, очки, штаны,
катушки, нитки, ложки, вилки –
а что не в силах раскусить,
то прятал в разные копилки.
Копилками он называл
сарай, избы, руки, ноги...
Он был большой оригинал.
Собакина он звал собакой,
а тот, не знаю как, пронюхал,
но звал его Гаргантюа.

И всё.

О чём это?

О школе.

О выставке, об ипподроме.

Я всё, как было, написал.

Я думал:

что-то скажет Холин?

А чтобы Генрих был доволен,
я сделал третий вариант.

3.

О чём он думает один?
Об этом знает лишь один.
Он ничего давно не знает:
он пьёт коровье молоко
и до восьми, пока светло,
энциклопедию читает.
А утром вышел из тюрьмы
бандит с фамилией Собакин.
Он сплёл охапку из травы
и нёс её в коротких лапах.
Он пересёк пустой базар
и вышел к церкви.
И так дале...
И, наконец, пришел домой.
А в этот день его не ждали.
Но он нисколько не смущен,
он посылает баб за водкой.
Пиджак на стул – хозяин он!
Сопровождаемый чечёткой,
всю ночь орал аккордеон.

1960

ПОИСКИ ДЯТЛА

Где живёт зелёный дятел?
Этот дятел, видно, спятил!
Все измучились на даче:
Он настолько обнаглел,
Что не слышно даже радио –
Репортажа о параде,
Сообщений о погоде...
Головная боль у дяди,
Головная боль у тёти...
Обращаемся к соседям:
– Вы нам средство не найдёте,
Чтобы дятел улетел?
Как избавиться от дятла?
Два соседа, взявши грабли,
Встали во главе отряда.
Все отправились искать,
Где живет зелёный дятел,
Что, по выраженью дяди,
«Бога или чёрта ради»
Не желает улетать.

июнь, 1961

РЫБАКИ

Ставриду ловят у моста.
Готовят жирную уху.
И рыба редкостно вкусна,
И варево – пожалуйста!
Один другому говорит:
– Гляди, морская, а в реке.
Ему отвечает старик,
Сидящий рядом на песке.
Он говорит:
– Всё дело в том,
Откуда ветер понесёт.
Подует с моря – хорошо,
А на море – ни то ни сё.
Заметил первый:
– Чепуха!
Я не о том спросил его.
Ты, дед, наверно, глуховат.
По ветру рыба не пойдёт!
Другой сказал:
– Потихе, дед,
Всю рыбу распугаете!
А дед спокойно продолжал,
Что, дескать, море – не река,
Что, мол, хороший урожай
И что хорошая уха...
И небо будто невзначай
Покрылось тёмной пеленой.
Ставриду ловят у моста,
Чтобы насытиться ухой.

июль, 1961, Криница

* * *

Я встал и выглянул в окно.
– Скажите, началась война?
Пока на улице темно,
Мне не ответят всё равно.
Но невозможно и уснуть.
Я одеваюсь и иду,
Я одеваюсь на ходу,
Я выхожу на улицу.
Теперь спросили у меня:
– Скажите, началась война?

Я так ответил на вопрос:
– Узнаем скоро из газет.
И на желаемый ответ
Явилась пачка папирос.

Была мерцающая ночь.
На полутёмной мостовой
Мы продолжали разговор,
Весьма довольные собой.

ноябрь, 1961

ПРАЗДНИК

Опять на улице шумят,
Опять на улице поют,
О чём-то громко говорят
И перед окнами снуют.

Идут туда, идут сюда,
Проходят мимо и назад,
Садятся в метропоезда
До станции «Охотный ряд».

Но этот ряд с утра закрыт –
Там демонстрация идёт,
Там отрываются шары
И над колоннами плывут,

Там отрываются шары
И над колоннами висят.
Оставшиеся берегут
И на верёвочках ведут.

А на бульварах балаган –
Мальчишки ходят по ногам.
Без шапок, чуть не без штанов,
И каждый держит петуха,
Обсосанного до того,
Что оказалась палочка.

Но разве палочки нужны?
Нужны рогатки и штаны!
И вот полопались шары
Из-за мальчишек и жары.

1961

БОЛЬНИЦА

В палате умирают люди.
Не знает даже медсестра,
Что на рассвете с ними будет, –
Никто не знает,
Доживут ли
Все эти люди до утра.

Иное дело санитар.
Тот санитар известный дока.
– Скажите, есть надежда, доктор?
– Скажите, есть надежда, доктор?
– Не доктор он, а санитар!

Он санитар!
Не понимаю,
Как можно смешивать с врачом?
Он необыкновенный парень,
А врач – обычный старичок.

Обычный врач. По крайней мере,
Ещё никто не замечал,
Чтоб он подслушивал у двери
И куда нужно сообщал.

Конечно же, не помешает
Предосторожность соблюдать.
Сестрицу это возмущает.
А санитар предпочитает
Благодарно помолчать.

1962

РАЗГОВОРЫ

Уже совсем исхожен снег
И до весны недалеко.
Уже один-другой чудак
Снимает ватное пальто,
Уже на улице моей
Мимоза бродит по рукам,
Уже приблизился апрель
И забывается февраль,
А на дворе всего лишь март,
И утром выдался мороз,
И незаметно снегопад
Следы вчерашние занёс,
И стало тихо и светло.

И вот в одиннадцать часов,
Когда до близкого метро
Осталось несколько шагов,
Возник мой брат из-под земли.

Он был, как в мае, налегке –
В плаще весеннем до земли
И чуть не с тросточкой в руке.

Уже почти провинциал,
Москву припомнивший едва...
Что нынче связывает нас
Помимо кровного родства?

Он жил тут восемь лет назад.
Была такая же зима.
Я к ним поехал на Арбат,
Чтоб вместе вечер скоротать.
Но вот пришёл и не застал,
И целый час с его женой
Мы, дожидаясь, пили чай
И говорили меж собой.

Шел разговор о Беранже.
Что изменился перевод,
Что был он раньше «Беранжер»
И что Дидро был «Дидерот».

Я говорил, я говорил...
А брат выходит из метро,
Уже проплыло вдоль перил
Его нелепое пальто.
И вот он где-то возле нас.
За этой дверью...

А она
О чём-то разливает чай,
О чём-то разливает чай...

И входит
Снежный человек,
Белесый с ног до головы...

И вот проходит восемь лет,
И хочется поговорить.
И хочется потолковать
О всём, что в голову придёт,
И расспросить, и рассказать
И про себя, и про него.

И мы идём и говорим,
О том, что странная зима,

О том, что Кеннеди убит
И что де Голль сошел с ума.

И, удаляясь от метро,
Идём, как прежде, наугад,
И исчезаем меж домов,
Где старый теплится Арбат.

1963

* * *

На Волге с самого утра,
Где рыба с солнцем пополам,
Где голубые катера
Сигают возле берегов,
Я целый день шатаюсь там
Меж лодок, барж и рыбаков.

Я им мешаю, как могу.
Я лески спутываю им,
Я им вопросы задаю
Про славный город Волгоград
И сокрушаюсь, почему
Со мною не заговорят.

Что делать в дальней стороне,
Где каждый думает своё,
Где в каждом встречном рыбаке
Я вижу тайного врага,
Где люди вольное житьё
Навеки продали реке,
Где загорелое лицо –
Вернейший признак земляка,
Где по лицу вас признают
И отвечают, иль молчат,
Или побасенки плетут
Про славный город Волгоград?

Мне этот город незнаком,
В нём нет ни замков, ни гробниц,
Лишь вечной Памяти огонь –
Воспоминанье об отце.
Воспоминание о том,
Как между братьев и сестриц
Его зарыли земляком
И без загара на лице.

1965

Дина Рубина

БАБКА

Она звала меня «мамэлэ», и...

Вновь и вновь ворошу память: что бы еще дополнило благостный образ еврейской бабушки?.. Боюсь, что ничего. Вот уж благости в моем роду днем с огнем не сыскать; в бабке – тем более.

Правда, на давней сохранившейся карточке выражение лица у нее не то что благостное или смиренное, скорее... постное. Разве что очи не возведены к небесам. Полагаю, придуривалась.

Снята она восемнадцати лет – длинные косы вдоль длинного платья – на фоне каких-то живописных развалин. Нога в узкой туфельке с медной пряжкой попирает библейского вида скалу, за спиной – витые колонны, мавританские арки, забранное плющом окошко венецианского замка... Фотограф местечка Золотоноша имел возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам.

Дочери Пинхуса Когановского сняты им на карточки в один летний день начала прошлого века (все пятеро в легких платьях); и ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных, чрезвычайно изысканных позах. Моя юная бабка извернулась совсем уж неестественным образом: локоть уперт в приподнятое колено, подбородок в ладонь – очень романтично...

Но что поражает меня до сих пор на той, устричного цвета карточке – ее руки утонченной нервной красоты (узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная форма ногтей), руки, однажды узанные мною в портрете Чечилии Галлерани, знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, – когда я прогуливалась по музею князей Чарторыхских в Кракове.

Между прочим, в семье невнятно поминали некоего художника, что в юности «снял с нее портрет». (О, эти художники! Всюду, куда ни кинь, – художники в историях моей семьи. Думаю, и на том свете я обречена позировать какому-нибудь тамошнему мазиле.)

Так вот, некий молодой художник был якобы в нее, в мою бабку Рахиль, *влюблен смертельно*. Туманный шлейф незадачливой юношеской любви рассеивается в отсутствии деталей. Художник куда-то делся. «А портрет? где же портрет?» – задаю я маме идиотский вопрос и, спохватившись, умолкаю. Какой там портрет...

Из пяти сестер Когановских Рахиль была самой артистичной. Во-первых, она пела. Во-вторых...

Нет, надо бы не так.

Не удается мне отринуть вечную иронию по отношению к собственной родне и сосредоточиться на образе! А образ того стоит: высокая, гибкая, с алебастровой кожей, глаза зеленые, смешливые, – бабка всегда привлекала к себе внимание. «На нее оборачивались, –

вспоминает мама. – Когда мы появлялись на пляже, головы всех мужчин сдувало в ее сторону, как флюгера под ветром».

В детстве к этому свидетельству я относилась недоверчиво: разве тогда были пляжи? Где – в местечке Золотоноша? Были-были, отвечают фотографии, письма, а также мерцающие кадры старых кинолент. В фильмах времен бабкиной молодости все купальщики, известно, выглядят уморительно – сил нет! Я представляла свою бабуку в полосатом купальном трико эпохи Чарли Чаплина, приседающей на берегу в энергичной физзарядке... – и дико хохотала.

Словом, бабука была неотразима. Во-первых, она пела. Да: пела в застолье. И не просто пела. Она «спивала украиньски песни божественным голосом». Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральто заливистые кренделя. Вот это мамино «спивала» в моем детском воображении воплотилось в фольклорную картину: молодая бабука, в украинском кокошнике с лентами, упоенно закинув голову, так что горло трепещет, как у нашей желтенькой канарейки, – *спивает: впивает, льет* нежные переливчатые песни над праздничным столом: «Ничь яка мисячна, зоряна, ясна... Выдно, хочь голкы збырай...»

Ну, и так далее...

И все же не песня была ее коронным номером. Когда наполовину опустошались бутылки и штофы с наливками и свет люстры отражался в потных лысынах и лбах; когда уже пламенели разгоряченные уши, и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды, кто-нибудь из гостей обязательно просил:

– Рухэлэ... представь!

В ответ она сооружала изумленно оторопелое лицо.

– Представь, представь! – неслось со всех концов стола. – Хватит придуриваться!

Она разводила руками, пожимала плечами, с недоумением оглядывалась, будто не к ней зывали, а к кому-то за ее спиной...

– Представь!!! – вопили гости.

– Та я шо ж... – начинала она мямлить. – Шо ж... разве ж я...

Далее – из растерянных ухмылок, заикания, бесконечного повторения одних и тех же дурацких фраз – возникал монолог какой-нибудь отсутствующей, не называемой ею соседки, имя которой выкрикивалось дружным хором гостей на второй минуте представления, настолько убийственно точно – интонационно, характерно, тембром голоса и ужимками – передавала бабука образ человека. Язык и текст «номера» соответствовал персонажу. И, как облупленная, скороговоркой на «суржике» представляла перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Федько, торгующая на рынке дюжину яиц: «Та то ж у вас разве яйца?! Не будет вам от мене комплименту на ваши яйца!»... Или Голда Рафаиловна, отставшая от поезда на пересадке в Меджибоже; мифическая Голда Рафаиловна Ганц, которая, в тщетной попытке уберечь пять чемоданов от шныряющей вокруг шпаны, перетаскивает свою толстую откляченную задницу с одного на другой, проклиная на идише собственных детей и внуков, – мол, те дали ей неправильную телеграмму.

И долго рокотал над столами, повизгивал и кудрявился восторженный смех гостей...

* * *

Я таких застолий не помню – это были уже другие времена и другие земли – не благодатная довоенная Украина, а знойное столпотворение саманного Ташкента, куда – через Кавказ и Казахстан – моих родных занесло эвакуацией в начале войны и где они застряли навсегда. Но то, как моя бабушка Рахиль «представляла», – отлично помню с младенчества. Никаких сказок, никаких стихов из детских книжек – ничего такого, чем обычно пичкают ребенка, заставляя «съесть еще ложечку».

Одни лишь истории сегодняшнего утра.

– Отойди, – говорила она маме, пытавшейся впахнуть хоть немного еды в мой намертво захлопнутый рот. Вытирала руки о фартук и усаживалась на стул, полубоком ко мне, влоборота к маме. Она и обращалась-то к маме, не ко мне, так что я, с опостылевшей кашей во рту, оставалась брошенной на произвол судьбы безо всякого внимания заинтересованной публики. Меня разом исключали из сюжета, переводя в ранг стороннего слушателя.

– Еду сегодня на Алайский... – начинала бабушка неспешно, сосредоточенно размешивая ложкой кашу в моей тарелке, как бы взбивая небольшую волну и сразу ее успокаивая. – Я еще со вчера задумала *гефилтэ щуки*, а щуку, ты ж понимаешь, брать надо с утра, пока в ней глаз не замутился... Ну, в трамвае битком, не продохнуть, но меня таки усадил какой-то студент. Студенты – вежливые, Рива, ты заметила? Один мне как-то сказал «мадам», может, он уже был профессор?

Никогда не удавалось уловить тот миг, когда ее обыденная речь плавно переходила в говорок рассказчицы. Возможно, она и сама его не замечала.

– Сижу ото так у окна, рядом дама в фасонистой шляпке... Влезают на Первомайской старик и мальчик, небольшой такой паренек, ну, лет, как прикинуть, восемь... Их тоже усадили – против меня; сумку свою старик поставил на пол промеж ног, едем... Вдруг смотрю: сумка-то шевелится! – ее рука молниеносно зачерпывала ложкой кашу и зависала в воздухе... – И там, в щели... ой, готеню! Ушки-то... ушки такие серые – чик-чик! чик-чик!... – полная ложка следовала прямоком в мой открытый рот. – Жуй, жуй как следует, мамэлэ, такую кашу не каждому ребенку варят... А ну, думаю, шо ж там такое?.. Какой-токой зверек?.. Прикрути огонь под супом, Рива... А ты давай, глотай, сидит, щеки надула...

– В сумке... – мычу я, глотая комкастую массу во рту, – кто?

– Кто... я вот и спрашиваю дядьку вежливо: «Старичок уважаемый, а кто у вас в саквояже ушами шевелить? Ох, как он осерчал! Сумку к себе придвинул, захлопнул, ногой под сиденье зашоркнул: «Не ваше дело, *эр зугт*, гражданка, чего суетесь в чужой саквояж!»

Каким образом, при помощи каких неуловимых ужимок, гримас и жестов, понижения и повышения тембра голоса и полной его перемены, она умела передать сутолоку, дребезжание, скрежет и перебранку пассажиров утреннего трамвая; какой выразительной мимикой воссоздавала образ сварливого старика с волосатыми ушами, какими жалостливыми интонациями умела вызвать сочувствие к притихшему пацану на деревянной лавке трамвая... – это я бессильна

передать. А вставные словечки на идише расцвечивали рассказ забавной и убедительной инкрустацией, и картина вставала перед глазами в неопровержимой подлинности: не верить этой истории было просто невозможно. Я глотала кашу, ложку за ложкой, только бы не останавливалась бабка, только бы длился ее рассказ!

– Гляжу на мальчика – а он пла-а-чет. И горько так молча плачет и, видно, боится старика. А соседка... женщина-то в фасонной шляпке, у нее там на полях лежат этак три вишенки, ну прямо живые, бери и ешь! – она тихо мне говорит: «Я так думаю, милицию пора звать. Не знаю, *зи зулт*, что там у него в саквояже, а только *оно стонет!*!» И кричит: «Вожжа-а-тый! Тормози транвай! Тормози транвай!» Ну... то, сё, скандал, вожатый тормозит, в вагон вбегают мильцанер. Так... последняя ложка... молодец, вот и каше конец.

– Дальше!!! – кричу я возмущенно.

– А что дальше... Мильцанер документы смотрит: все, мол, в порядке, все свободны, свидетелей отпускаю. Это просто, *эр зулт*, старичок с внучком везут на рынок кроля продавать.

– Нет, ну погоди! – возмущается мама. Она сидит на соседней табуретке, так же, как и я, напряженно слушая бабкин рассказ. – Что это за конец такой, ты что, смеешься! Только растравила ребенка. Как там на самом деле было?..

И умолкает, наткнувшись на бабкин насмешливый взгляд.

* * *

Для меня-то она всегда была старухой.

Ее растрескавшиеся руки помню как самые рабочие из всех, что встречала в жизни. Первое, что я видела и чувствовала, просыпаясь, – эти руки: тяжелые квадратные кисти, грубые пальцы. Она поднимала меня и на теплое со сна тело натягивала лифчик с болтающимися резинками, к которым цеплялись чулки. От прикосновений жестяных ее пальцев к материи возникал шорох. Если она нечаянно ужаливала ледяными заусеницами горячее тело с исподу ляжки, я взвизгивала:

– Ай, баба, колючки!

Эти руки, их жесткий холод по утрам (посуду она мыла в миске холодной водой – горячей не было) навеки слиты в памяти с жемчужным окном, с его шершавой, всегда чарующе новой картинкой: сказочные звери в чащобах морозного лесоповала. Значит, зимние каникулы, первый класс...

Моя память так уютно обжила эти недели, зимние и летние, прожитые на Кашгарке, в домике с единственным, но большим окном, лучезарным, как экран в стремительно меркнущем зале кино-театра. Весной и летом оно было полно сумрачной тополиной листвой, зимой же... Не любой зимой, но редкой холодной – какая выпадала на мое детство раза три, – заиндевшее окно-театр проявляло все свои летние видения застывшими на стекле: там по морозно-расписному заднику проносились сцены погони, сражений, свадеб и похорон, там медведи ворочали толстые бревна, там бабочки навеки замерли на кустах магнолий, там в густой сети окаменела белая рябина...

А между хлипкими рамами окна бабка держала продукты – холодильников не было, еда нередко прокисала. По утрам она доставала очередной пакет или кулек, придирчиво принюхивалась, сомневаясь: выбросить или деду отдать... Она считала, что у деда железный желудок.

– Сэндер, – говорила она с заметным одобрением, – о, Сэндер имеет *айзенер бух!*

Айзен – «железо» – было одним из ее любимых словечек. Тупую голову называла *айзенер тухес*, «железной задницей», и часто повторяла, что на еврейские фамилии ушло много железа. И ведь правда: в моем классе учился мальчик Саша Айзен и девочка Лина Айзенберг, а фамилия нашего завуча вообще была устрашающей: Айзенблат – «железная кровь»! – вот среди чего я росла...

...В этих саманных лачугах, слепленных после войны на скорую руку, часто гасло электричество, и если такое случалось вечером, бабка *запаливала* свечу. Вид горящей свечи – первое и самое сильное впечатление от борьбы стихии с хладнокровно прожорливым временем. Лежа на топчане, где мы с бабкой спали валетом (ее ледяные ноги упирались в мое горячее тело, изрядная часть ночи уходила на мои тщетные попытки отодвинуться), я следила за трепетом упрямого огня, не отводя глаз, внедряясь зрением в оранжевую сердцевину тонкого лезвия, и последнее, что видела с подушки, засыпая: порхающий в черном окне огненный мотылек. Ни разу не удалось мне досмотреть эту битву, в которой всегда погибал огонь. Утром на месте свечи горбилась на блюде восковая лужа с обугленным фитилем в застывших парафиновых волнах... Это и были первые уроки творчества, первая его заповедь: мир твори огнем, лепи его из обжигающе горячей плоти; поздно менять, когда застынет.

А ведь все это было таким привычным: и холодная вода по утрам, и жужжащий примус на веранде, и лужа застывшего парафина, и кастрюля с прокисшим борщом за окном, и уборная во дворе...

Раз в неделю, или чуть реже, во двор протискивался грузовик с углем. Немедленно хлопала дверь в крайнем от ворот домике, на крыльцо выбегала Шарapat, третья дочка дяди Хамида, и пронзительно кричала: «Жопер Ванюшка! Жопер Ванюшка уголь приехала!» Это означало только одно: шофер Ванюшка привез угля.

Печка была веселая, серебристая, выказывала круглое брюхо, утренний свет струился по ней ручьем, стекал по серебряному брюху сверху донизу, упираясь, как в запруду, в чугунную заслонку, похожую на черный тульский пряник – с выдавленным рогатым оленем. Угля жрала она этим брюхом немерено.

Бабка вносила со двора ведро угля, высыпала его на жестяной поддон перед заслонкой (драгоценный антрацитовый блеск на острых гранях) и принималась разжигать огонь. Вот что меня завораживало: она укладывала в огонь куски угля голыми руками. Так же, как снимала с огня примуса кастрюлю с вареной картошкой – просто подняв ее за алюминиевые ушки.

– Ба, ты что! Больно же?

– Та не, – отзывалась, насмешливо щурясь. – Они ж у меня *деревьянные*...

Этими руками каждое утро она бинтовала деду культы ног. Длинные бинты змеились по струганым доскам пола. Сначала разворачивала их, как свиток, потом сворачивала в тугой рулон и затем бинтовала. Почему дед не вскрикивал от прикосновения бабкиных рук, не знаю... Никогда не слышала, чтобы он звал ее как-то иначе, чем «Рухэлэ», что на русский можно бы перевести как «Рахиленька», если б этот перевод нес в себе хотя бы толику упругой и нежной силы, с какой он произносил ее имя. Дед был человеком вспыльчивым, но даже у меня, ребенка, хватало ума, вернее, чутья, понять, что все ссоры затевала она, бабка. Ее упрямство и желание всегда настоять на своем стало в семье легендарным. (Если и сегодня, спустя пятьдесят лет, я пытаюсь непременно доказать что-то своему отцу, не отступаясь и приводя все новые и новые аргументы, – я нередко заслуживаю его коронной отрывистой фразы: «Уп-пертая порода Когановских!»)

Но даже в самых громких скандалах, даже отбрасывая в бешенстве стул к стене, с пеной на губах дед кричал бабке: «Рухэлэ!!!»

Ног он лишился уже в преклонном возрасте: ему *отрезалоногитрамваем*. В раннем детстве я была убеждена, что это одно слово, вернее, одно непрерывно воспроизводимое в воображении действие: некое гигантское, ужасное неумолимое *оно*, взмахнув, как кинжалом, трамваем с отточенными колесами, одним махом отрезает долговязые ловкие ноги моему удалому деду, бывшему коннику и танцору.

За что?

Странная глухота и слепота глазастого детства к домашнему окружению: я не помню этого события, хоть мне и было тогда уже лет пять – изрядная дылда. Зато помню всех городских сумасшедших, всех инвалидов в нашей округе, помню звук деревянной «инвалидной» платформы, гремящей подшипниками по асфальту улицы или глинистому твердому накату двора. Помню божественный вкус нежно хрустящей на зубах ножки голубя, зажаренного пацанами в углях за помойкой; помню наглое покачивание цветастых юбок на молодых цыганках, увешанных монистами и младенцами. Подробно помню волшебное барахло с тележки «шарабара», запряженной в понурого ослика: старый узбек обменивал на бутылки глиняные свистульки и тугие, румяно раскрашенные шары, выдутые из аптечных сосок... Я помню страшное одутловатое лицо нашей больной соседки, которую я считала несчастной старухой, а она вдруг родила славного толстенького младенца... А вот трагедию родного деда вымело из моей пустой кудлатой башки. И даже те картины, что возникают перед моими глазами при упоминании этого случая – всего лишь то, что я вообразила и запомнила с маминых слов. Свидетелем несчастья, рассказывала мама, стал сослуживец моего дядьки, который видел, как дед пытался вспрыгнуть на подножку трамвая и, не удержав равновесия,

упал навзничь на рельсы, когда трамвай уже тронулся. Он немедленно бросился в техникум, где мой дядя преподавал физику. В тот день была объявлена контрольная, и в классе стояла тишина, в которой лишь мел дробно постукивал по доске, выписывая условия задачи.

Словом, дядя примчался в больницу как раз в тот момент, когда «скорая» привезла деда Сэндера в приемный покой. Врач попросил его снять с пострадавшего сапоги; тот взялся за правый сапог, потянул... вместе с сапогом снялась нога. И – кавалер трех орденов Славы, капитан артиллерийских войск, чья батарея одной из первых вошла в Берлин, – мой дядя свалился на пол без сознания, в обнимку с отцовой ногой.

Когда случилась беда, друзья и сослуживцы (дед был виртуозным рубщиком мяса), собрали приличную сумму и явились к нему торжественной скорбной группой. Денег он не взял. Сказал: «Я ведь живой еще, я заработаю...» И точно: научившись ходить на протезах – (ау, молодой и сильный лейтенант Мересьев, чей подвиг мы изучали в советской школе!), – вернулся в мясную лавку на Алайском базаре и целый день стоял на тех протезах, разделявая туши. Множество раз я видела, как он работает, как взлетает топор над колодой, как хрястко вонзается страшное лезвие в сизое баранье и бурое говяжье мясо, вздымая зудящие облачка настырных мух... И в моем гончем воображении возникало огромное безликое оно, и отточенные колеса трамвая хрястко прокатывались по ногам деда Сэндера, *конника* и танцора.

– Почему – конника? – спрашивала я маму в детстве.

– Потому, что в первую мировую дед воевал в кавалерии! Кавалерия – это кони, – отвечала мама, каждый раз возмущаясь моей забывчивостью. Мне же просто нравилось то, с каким гордым любованием произносила она слово «конник». – Твой дед был сумасшедшим лошадиником. К нему лошади, даже чужие, шли, как к мешку с овсом. Он и в Отечественную, хотя был уже пожилым человеком, устроился в конюшню при летном клубе, чтоб с лошадьми быть. Ну, а танцором дед был в молодости таким, что если он танцевал на столе, ни одна рюмка не то что не разбилась, а даже не звякнула! Он и бабку-то *вытанцевал*. Плясал на спор целый час, глядя на нее, не отрываясь, но ногами чуял – куда ступить...

Я тогда не понимала, что мой дед – герой. В свои шестьдесят, на двух протезах, только с палочкой, он забирал меня из детского сада и поднимался до нашей коммунальной квартиры на четвертом этаже: ребенок не должен идти один, не дай боже кто притаился там, в закутке...

К своему положению дед относился житейски-просто. Однажды, вернувшись из поликлиники, растроганным голосом рассказывал про мальчика, что сидел напротив, в коридоре, в очереди к врачу. Как тот мальчик сказал звонким голосом: «Ма, смотри, какой дедушка счастливый: у него ноги ниже колен отрезало».

– У пацана-то культы обкорнали гораздо выше, – добавил дед, ребром ладоней как бы отсекая от своих коленей лишние куски профессиональным движением рубщика мяса.

* * *

А ведь этот *жактовский* домик в большом, полном ребятни ташкентском дворе на Кашгарке – самом вавилонском, самом многоязыком районе утрамбованного эвакуацией безразмерного города; этот саманный домик – комната и кухня, выходящие на большую веранду, крытую старой виноградной лозой, – принадлежал не бабке с дедом, а второй жене моего дяди. Причем женой *расписанной* она так и не стала. Но года три они прожили вместе, для чего и была совершена короткая рокировка: дед с бабкой переехали в ее домик на Кашгарке, а она – в такую же развалюху-мазанку на улице Чимкентской, которую, вернувшись с войны, своими руками сложил-слепил для себя и родителей мой энергичный дядя.

Смутно помню узколицую блондинку – большая грудь в мохнатой кофточке, уютный вырез, в котором утопает блескучий кулон. Кажется, звали ее Лизой. Кажется, они были коллегами; оба работали в вечернем техникуме, дядя – завучем, она – преподавателем географии.

Ранний вдовец, обремененный трудным пятнадцатилетним сыном, он любил эту женщину, как понимаю я сейчас, сильно, нелепо и даже слегка безумно. А у нее тоже был мальчик, и тоже пятнадцати лет. И в отличие от моего дикого двоюродного братца, тот был покладистым дружелюбным подростком. Именно он, помнится, пожалев мою тощую задницу, за каникулы отбитую до синяков принудительным катанием на братнином велосипеде, прикрутил к железному багажнику, где обычно я сидела, судорожно вцепившись в рубашку брата, толстый учебник немецкого языка, предвзвительно обернув его своей футболкой.

– Так удобнее будет, – сказал, улыбнувшись. Его звали Алик... и это милое имя до сих пор произносится в моей памяти с беззвучной улыбкой, заодно вызывая безотчетную симпатию к любому одноименному прохвосту.

Мой вездесущий брат все лето гонял на велосипеде по городу, умудряясь за день досадить и отцу с Лизой, и бабке с дедом, и всем, кому попадался на пути. Бабка любила повторять, что этот *лэйдеггер* – «балбес, бездельник» – повсюду «ищет сраку на драку». *Эр зихт макес аф ин тухес!* – повторяла она в сердцах, и была права. Он без усталости, самозабвенно искал приключений, и что самое интересное – находил. Чаще всего пострадавшим оказывался он сам, но при этом, даже размазывая кровавые сопли, почему-то выглядел удовлетворенным.

Мне не разрешалось выходить со двора, и это придавало ему азарта. Если что-то не позволено, надо этого добиться любым путем. Меня он выкрадывал.

– Поехали *черта смолить*, – предлагал вначале, вполне приветливым тоном.

«Черта смолить» – это было еще одно бабкино выражение, и применительно к затеям моего братца, *этого лэйдеггера*, означало оно не просто «безделье», а совсем уж идиотское ветрогонство.

– Не, – миролюбиво отзывалась я, еще надеясь, что он на что-то отвлечется и отстанет.

Иногда так оно и случалось. Но чаще, встретив сопротивление, он загорался и напирал уже всерьез, с возрастающим воодушевлением.

– Только до пива прокатимся, – и хлопал пятерней по багажнику. – Туда и обратно!

– Не, – благоразумно и опасливо отвечала я, зная, что «до пива» (пиво качали из бочек, на углу Кашгарки и улицы Ленина) – это лишь предлог, а покатит он дальше, дальше – до Алайского, до Энгельса, до Первомайской, потом до ОДО, окружного Дома офицеров, а там и до Луначарского шоссе...

Вообще, его идей и забав я побаивалась. В характере братца сочеталась дикая энергия с полнейшей безответственностью и неожиданными всполохами веселой злости. Бабкино «черта смолить» точнейшим образом подходило к его характеру и устремлениям.

Сейчас понимаю, что у него были явные садистические наклонности. Мои страхи его забавляли, подстрекали, а вечная отключенность и равнодушие к дворовым играм приводили в сильнейшее раздражение.

– Тогда до парикмахерской, и сразу назад, – говорил он. – Пулей!

Я ненавидела безумные скачки на багажнике его велосипеда по ухабам и булыжникам, каждый из которых отзывался в моем щуплом теле каким-то мерзким дребезгом.

– Не, мне мама не разрешает.

– Фуфло! – азартно кричал он, хватал меня под мышки, взгромождал на багажник и бегом выкатывал велосипед к воротам, вскакивая в седло на ходу.

Мы заезжали бог знает на какие окраины; там он ссаживал меня на очередном пустыре, среди развалин саманных домов, поросших травой, и говорил:

– Вернись мигом, не ссы!

Возвращался, бывало, часа через два-три, наездившись до онемения конечностей...

– Давай, садись, глиста! – раздраженно бросал мне. – Свалилась на мою голову!

Так однажды он бросил меня на старом мусульманском кладбище, на окраине улицы с победным названием «Чемпион»...

Весь учебный год через это кладбище, что карабкалось по обрыву над речкой Анхор, ходили учащиеся школы № 8. Но в каникулы там воцарялась тишь, и только сухая жара звенела над потрескавшейся глиной, да из зарослей выгоревшей травы внезапно катапультировались кузнечики над полумесяцами ржавых покосившихся оград.

Два забытых мавзолея горбились глиняными куполками, некогда облицованными лазурной плиткой. То ли отвалилась она, то ли кто-то отколупал, лишь осколок последней прикипел к старой глине намертво, и в окружении щетины жестких колосков на нем сидел рыжий голенастый скорпион, подрагивая на солнце занесенным серпом членистого хвоста.

А на пригорке, в затененном шатре старой ивы, мощными корнями вытягивающей воду из Анхора, оставался пяточок не опаленной солнцем травы в крапинах белой каши, среди которой пламенели три последних весенних мака.

...Я провела там весь день – очевидно, брат забыл обо мне и вспомнил, лишь вернувшись домой, когда бабка уже хватилась меня и, перепуганная, искала по окрестным улицам.

На кладбище она меня, в конце концов, и нашла. Но – не сразу...

Азиатские дремотные сумерки уже напитались зеленовато-волнистым излучением глинистой почвы. В глубокое, еще не черное, а сливовое небо поднимался прозрачный столб мерцающей мошары.

Когда внизу, на берегу Анхора, показалась сутулая фигура моей бабки и послышался надрывный крик «Ма-а-амэ-лэ-э-э!!!» – я пребывала в зачарованном трансе, какой обрушивался на меня несколько раз в жизни. Так в ущелье из-за горных вершин внезапно возникает на небесной сини мутная катаракта неизвестно откуда взявшегося тумана...

Состояние это напоминает обморок, в игольное ушко которого беззвучно просачивается тонкая струйка жизни. Еще это похоже на два снимка, что прорастают один в другом, случайно снятые на один и тот же кадр.

Механизм погружения в эту бездну можно сравнить с раскручиванием карусели. Некая деталь, образ, мысль, засевавшая в сознании и странно меня волнующая, служит осью, вокруг которой, вначале неспешно покачиваясь, вразвалочку плывет окрестное пространство... Затем хоровод прихватывает бегущие рядом мысли и образы; скорость вращения увеличивается, быстрее, быстрее... вскоре все сливается в пеструю ленту, а затем и вовсе растворяется... Мир вздыхает и гаснет в жемчужном мареве, в питательной среде, способной возвращать самые причудливые фантомы...

Так пророс сквозь мое забытье далекий бабкин рев. Я лежала в плакучем шатре старой ивы, под большой лиловой прорехой, вроде окна; в ней остро вспыхивали еще слабые звезды, постепенно накаляясь, роясь и кружа...

– Ма-а-а-мелэ-э-э!

Почему я не отзывалась на этот умоляющий зов – мне до сих пор непонятно.

Продолжала тихо лежать, уплывая в звездное окно плакучей ивы, плаваясь в тихой истоме блаженного полуобморока...

В конце концов бабка набрела на меня, вздернула с земли, плача и ощупывая с головы до ног...

Мы поплелись домой: она – обессиленная после стольких часов волнения и слез, я – восставшая от странного сна.

Я ничего не объясняла, да и не смогла бы объяснить, и бабка, видимо, решила, что я просто заснула там, под деревом, потому и не успела испугаться темноты и кладбищенской заброшенности.

Вечером брат был истеган самолично моей мамой, которая явилась после работы навестить дочь и родителей и узнала о моем приключении. Остервенев, она схватила со спинки стула дедов,

уже ненужный ему ремень и увалисто погналась за племянником вокруг стола (она донашивала мою младшую сестру), пытаюсь достать поганца. Тот ловко уворачивался, скакал по стульям, взлетал на стол, прыгивал на топчан, где долгие месяцы кротко умирал от рака дед, дразнил маму и смеялся; правда, и получал время от времени и тогда взвизгивал, словно от удовольствия, яростно расчесывая место удара...

Но звон и шепот летнего дня и полное звезд окно в темной кроне одинокой ивы с тех пор навсегда слиты в моей памяти с образом старого мусульманского кладбища...

* * *

К чему я мысленно расставляю фигуры для очередного драматического спектакля на открытой сцене моего неугомонного воображения? Словно мне предстоит рассказать о некоем волнующем событии... Вздор: ничего особо волнующего не помню. Вот только один эпизод... я назвала бы его *обратной рокировкой на круги своя*...

И это тоже было на каникулах, на летних: во двор въехал грузовик с мебелью, в кузове которого, обняв ореховый буфет без дверец, стоял мой дядька с почерневшим лицом.

Машина подползла к веранде, борта со стуком откинулись, и водитель с дядей принялись втаскивать в дом наспех связанные тяжелые узлы, из которых свисали бессильные рукава и горловины платьев и свитеров. Из кабины упруго выпрыгнул мой брат, раскрасневшийся, возбужденный, и, пока дядька молча сновал из дома к машине, принимая на спину и плечи тюки и мебель, захлебывающимся от восторга шепотом рассказывал на веранде растерянной бабке, как *папа* стоял перед *той* на коленях, умоляя остаться и простить.

– Ни хрена ему не помогло! – с торжеством приговаривал братец свистящим фальцетом. – «Умоляя-а-аю: прости и останься!»... Ни хрена не помогло!

Ума не приложу – за что мог просить прощения у женщины мой святой дядя, но догадываюсь, что только за сына – паскудник был невыносим. И судя по тому, с каким восторгом, обхватывая обеими руками невидимую бочку перед собой, тот демонстрировал друзьям во дворе размер «Лизкиных титек», полагаю, что та его застучала за подсматриванием. Могу только предположить, что Лиза настаивала на удалении этого оболтуса из дома, а дядя, отлично сознавая, до чего может тот докатиться без отцовского пригляда, не согласился...

Понимала ли я тогда, что на моих глазах происходит одна из тех незаметных прекрасных драм, что придают любой жизни высокий смысл и на которые в конце пути ты оборачиваешься с благодарными слезами? Да нет, конечно. Все поистине драматические события моего детства выглядят сейчас сценами из кукольного спектакля – да детство и не умеет сопереживать иначе. В те минуты картина душераздирающего объяснения в духе индийских

мелодрам, заполонивших и покоровивших Ташкент, воссияла во всю ширь мечтаний семилетней дуры, и я испытала восторг не меньшей, пожалуй, чем мой окаянный брат.

...Между прочим, бабка тоже любила индийские мелодрамы.

Однажды пошла со мной на дневной сеанс в кинотеатр «Тридцать лет Ленинского Комсомола», где всхлипывать начала, кажется, на титрах в начале фильма, а в конце уже рыдала в голос. Мне странно это вспоминать: ведь в ее характере не было ни грана сентиментальности. Вероятно, тут срабатывало некое артистическое сопереживание. Хотя ее насмешливый артистизм придавал всему, на что она смотрела, холодноватое отстранение: актеры вообще редко бывают людьми сентиментальными.

И, как любой актер, она была напичкана байками и притчами – только не заемными, а почерпнутыми в собственной жизни и в жизни местечка Золотоноша. У нее и притчи об ангелах были похожи на рассказы о соседях и родственниках. Так, в детстве, я много раз слышала о Самаэле и Гавриэле, лихой парочке ангелов, порученцев самой Смерти; они шлялись по миру, выглядывая подходящую дичь, каждый со своим подручным инвентарем. Такими вот баснями потчевала внучку моя артистичная бабка:

– Двое их, – говорила она деловито, будто обсуждала с соседкой купленную на Алайском курицу... – Двое их у нее на подхвате: ангел смерти Самаэль и ангел смерти Гавриэль. Самаэль – тот приходит за грешниками со щербатым ножом, еще и ядом отравленным... О-о-от такой секач, не дай боже!... – показывала руками, как рыбак отмеряет размер пойманной рыбы. – А Гавриэль – того за праведниками посылают. Нож его отточен, остер, как бритва, на солнце сверкает... Ударит этим ножом точно в грудь – и отправит тебя прямо в рай!

– Меня?! – пугалась я. Мне тогда не очень хотелось в рай. Да и сейчас не очень хочется.

– Зачем – тебя? Ты что, мамэлэ, не дай боже... ты ж махонькая! Это я так, к примеру... К тому, что о божьем наказании надо помнить.

Кстати уж, о наказании.

В конце жизни она явила свою лютую натуру во всей артистической полноте; можно сказать, сживала со свету родную сестру БERTУ. Дед к тому времени давно умер, умер и Бертин муж, любимый мой дядя Миша, а старухи все тянули, влекомые упряжкой несносимых генов семейства Когановских. Так вот, в конце жизни, после того как знаменитое землетрясение полностью изменило облик Ташкента, и в центре его выросли районы безликих новостроек, в одном из которых мой дядька с третьей, окончательной женой получил квартиру, обе старухи оказались в соседних комнатах. То ли ревнуя, то ли припоминая все грехи Бертиной жизни, бабка азартно преследовала сестру, где и как только могла.

– Побойся бога! – кричал ей собственный сын, мой постаревший дядька, член партии, само собой, преданный коммунист. – Бога побойся!

(Увы, вся наша семья склонна к мелодекламации).

Иногда, впрочем, он кричал что-то вроде: «Совесьть имей!», и я уже тогда в этом чувствовала снижение пафоса, как если б Шек-

спира на сцене заменил какой-нибудь советский драматург. Бабка с невозмутимым видом отворачивалась, словно плевала на этот самый божий суд. А может, настолько была уверена в заступничестве деда Сэндера – там, откуда высылают небесного гонца с орудием казни? Может, надеялась, что во исполнение цехового братства резников дед в последний момент уломает *тамошних* заменить Самаэля, с его ужасным щербатым тесаком, на милосердного резника Гавриэля, дабы тот опытной рукой пронзил мою грешную бабку сияющим ножом блаженства?..

* * *

По ее рассказам получалось, что была раньше какая-то другая жизнь. Бабка училась в гимназии, целых три года, как ни крутите, и влюбленный художник писал с нее «портрет». Странно, думала я, почему жизнь так изменилась? Куда делись все эти изящные длинные платья, все эти томные позы, романтические венецианские окна, пусть и нарисованные?.. Где туфельки с медными пряжками? Где, наконец, ее, моей бабки Рахили, холеные ручки? Уж их-то не могла «украсть» никакая революция...

Оказывается, могла, и украла.

Впрочем, в детстве мне позволялось открывать большой скрипучий шифоньер с зеркалом, развязывать тюк из старой простыни и копошиться там, в темной пахучей утробе (крахмал, нафталин, затхлая шерсть и сухо скрипящий крепдешин), перебирая «шматэс». Там я откопала черную лаковую сумочку – «клатч», настоящие лайковые, с двумя дырками на указательных пальцах, перчатки, три ветхих воздушных, крючком вывязанных воротничка, а также множество бархатных, меховых и крепдешиновых обрезков.

Но что с детства было предметом моих вожделений – так это бабкина шкатулка с пуговицами, обклеенная настоящими морскими ракушками разной величины – горбатенькими, ребристыми ладошками, каждая наособицу, каждая своего цвета – от молочного до пурпурного, – как и пуговицы, что в ней хранились. Я откидывала ребристую крышку, выбирала самую большую перламутровую пуговицу, с блестящим стеклышком посередке, и спрашивала:

– А это от чего?

И бабка сочиняла очередную историю из серии «у нас в Золотоноше»; и поскольку я не умела и не хотела шить, штопать, вышивать и вообще возиться с мерзкой кусачей иглой и нудной ниткой, вечно выпадающей из угольного ушка, – то история эта была, конечно, о нерадивой дочке тамошнего «почтаря» или фельдшера, об избалованной дочке, которая иголку в руках удержать не могла и пуговицы пришивать чуралась, а потому папаша каждый месяц привозил из Полтавы дюжину новых пуговиц, старые-то повисят-повисят на нитке, да и потеряются... И вот однажды посватался к ней человек удачный, уважительный и самостоятельный, из Фастова. Папаша обрадовался и по такому случаю решил заказать одному художнику дочкин *портрет*, чтоб она – в красивом жакете с перламутровыми пуговицами...

Стоп! А между прочим: что же, в конце концов, стало с портретом?

Да ничего – выясняется. Стоял на комод, потом сгинул вместе с изрядной половиной семьи – привычная присказка рутинных трагедий моего народа в середине двадцатого века.

Но между тем утром, когда моя восемнадцатилетняя бабка Рахиль, еще не *вытанцеванная* моим дедом Сэндером, сидела на стуле и послушно смотрела туда, куда просил смотреть ее художник (на угол зеркала, где солнечным лучом высекались снопы радужных игл), так вот, между тем утром и бездной войны, эвакуации, нищеты и убожества послевоенной советской жизни, произошло, как выясняется, кое-что еще. Кое-какой эпизод...

Однажды, припомнила мама, в классе пятом она вернулась из школы, и в комнате за круглым столом сидела ее мать Рахиль, а напротив – какой-то дяденька, торопливо вытиравший обеими ладонями лицо. И хотя он отворачивался и даже не кивнул на звонкое мамино «Здрасьте!», мама, девочка и в те годы приметливая, поняла, что дяденька плакал. А потом он ушел, чуть ли не бегом, даже не обернувшись на очень задумчивую мою бабку.

– Думаю, это он и был. Из Харькова приехал, перед своей свадьбой, – в последний раз на нее поглядеть. А не женился-то, прикинь, сколько лет?

– Художник?! – ахаю я.

– Да какой художник, – отмахивается мама. – Он в те годы уже не был никаким художником. Тогда разве до баловства людям было. Он был главным технологом на каком-то крупном швейном предприятии – так Маня потом рассказывала, а Маня, их младшенькая, ох та была наблюда-ательная... Пстой! – мама шлепает себя по коленям, – а вот пальто же, пальто, а?!

– Какое еще пальто?

– Ну, пальто ж ее – роскошное, шевиотовое, воротник норковый... ах ты, господи, ведь это он ей привез, а? Я ведь теперь только поняла: привез тогда ей в подарок. Ну как же! Откуда еще могло такое у нас взяться? Она, конечно, деду-то легенду сочинила – это ей раз плюнуть было. Но так, если подумать... больше неоткуда. Главный технолог предприятия, он это пальто ей, должно быть, спецзаказом провел... Да ты что, балда, не помнишь наше знаменитое семейное пальто?!

Как же такого не помнить, когда бабкино пальто – действительно роскошное, сшитое по каким-то заграничным лекалам... – сопровождало чуть не половину моей жизни. Вернее, прожив без меня половину *своей* жизни, оно словно бы догнало меня на середине собственного пути, и далее мы существовали рядом. Сначала много лет его носила бабка – тогда еще высокая, статная... И шоколадного цвета шевиот облегал ее фигуру так зазывно, что... (тут опять мама: «Да на нее оборачивались!» Я: «Ты говорила – на пляже оборачивались». Мама: «И на пляже, и в пальто! Мужской глаз знаешь как цепляет!...»)

Короче, бабка носила пальто до войны и в эвакуацию – вернее, в три эвакуации – на Кавказ, в Казахстан и, наконец, в Ташкент – пальто с собой потащила и – что удивительней всего – сохранила. Не продала, не обменяла на продукты даже в самые тяжелые во-

енные зимы. Затем, в пятьдесят втором, когда поженились мои родители, пальто торжественно перешили маме – это был царский свадебный подарок: в то время такое пальто, говорит мама, уверяю тебя, было совсем не на каждой прохожей даме... И мама, на которой пальто сидело *умопомрачительно элегантно* (каждая эпоха награждает свои ценности собственными эпитетами), – тоже носила его ой-ёй-ёй сколько лет, пока, наконец, основательно его перелицевав, не сшила мне (кажется, классе в шестом) миленькую курточку до колен, выкроив из лысоватого воротника дивные обшлага на рукава. И я бы носила эту курточку с удовольствием, если б не все тот же двоюродный братец, который с поразительным упорством дразнил меня «полупердином», когда я ее надевала...

А на закате биографии – увы, столь частый удел многих блистательных биографий – роскошный шевиот отправился на хозяйство: из курточки сшили Дуню – ватную бабу с целлулоидной головой моей старой куклы, под которой грели обед. Просторное шевиотовое брюхо, подбитое ватином, хранило нутряное тепло вареной картошки, макарон по-флотски, а чаще всего гречневой каши – любимого блюда нашей семьи.

* * *

Вот тут о гречке. И о бабке...

В детстве я бесчисленное количество раз наблюдала, как моя бабка моет гречку. Сначала разбирала ее, сидя за столом на высоком, чрезвычайно неудобном табурете (ноги болтаются, спина согнута колесом), – вылавливала щепочки, откатывала пальцем крошечные камушки, отсортировывала черные крупинки, наконец, ребром пригоршни скатывала горстку в частый сетчатый дуршлаг. Затем отобранную гречу принималась мыть, и мыла, и мыла, и мыла под сильной бесконечной струей...

Вбегая со двора на кухню, я говорила:

– Ба, ну ты здесь водопад погнала!

Она неизменно отвечала одной и той же притчей. Распевным тоном, громко, перепевая шум воды:

– Вот собрался жениться самый богатый холостяк местечка. И пошли сваты по домам. Везде один и тот же вопрос девушке задавали: «Ты сколько раз гречку моешь?». Одна отвечала: «Трижды мою». Другая, аккуратистка, хозяйюшка, отвечала: «Аж пять!». Наконец, приходят в совсем бедный дом, выходит пичужка – смотреть не на что... «Сколько раз ты, милая, гречку моешь?» Поглядела она на них ясными глазками и говорит: «Пока чистой не станет». «От эту берем!» – закричали сваты...

Думаю, бабка, с ее притчами и историями типа «Иду я вчера, а мне навстречу...», – она и была первым для меня ненавязчивым консультантом по стилю. Иногда меня не устраивали какие-то сюжетные подтасовки, я внутренне восставала, пыталась уличить ее в стилистических натяжках:

– Почему у третьей – ясные глазки? – упрямо уточняла. – Она их тоже долго мыла?

– Та не, – легко отзывалась бабка. – Так оно к слову пришлось.

Иногда мне хотелось сделать назло, сломать лилейный и ханжеский образ притчи. И в другой раз (бабка была способна невозмутимо пересказывать одно и то же хоть и каждый день), на словах «выходит пичужка, смотреть не на что...» я мерзким голосом выкрикивала:

– Выходит лохматая, грязная, хромая, картавая: «Я тут вашу духацкую гхэчку мою, мою, мою весь день, потому что я – ду-у-ха!»

Довольно часто, когда мне хотелось ее довести, я принималась хохотать, как безумная, над каждым ее словом.

Тогда она значительно говорила:

– Есть два типа женского лица: «Подойди ко мне!» и «Отойди от меня!»...

И сразу становилось ясным – какой тип женского лица я в данный момент представляю.

Если же я упорствовала в своем идиотском хохоте, не умолкая, сама от себя заражаясь щекотливым всхлипывающим весельем, она укоризненно произносила на идише:

– Отец, ты смеешься? Горе твоему смеху...

Почему никогда не пришло мне в голову выяснить – отчего это она обращается ко мне словом «отец»? Из какой высокой трагедии взяты эти слова? И *какой* отец имеется тут в виду... Все то же глазастое, но равнодушное детство: ведь мир принадлежит тебе одному и вращается вокруг тебя со всеми своими людьми, словечками, поговорками, чудесами, и так оно и должно быть, и будет так всегда...

Идиш я понимала. Не все, но общий смысл. На идиш бабка говорила только с дедом и мамой. Когда они усаживались делать пирожки с капустой или с яйцом или принимались шить, штопать – мягкая гортанная речь перелетала от одной к другой где-то над моей макушкой, едва касаясь моего сознания... Если дважды, со вздохом повторялось *цим ломп* – «до лампы», – можно было быть уверенной, что речь идет обо мне; бабка любила приговаривать, что *этой упрямой козе* все – «до лампочки». И, по сути дела, это было правдой: я росла девочкой, замкнутой в своем мире. Да такой, собственно, и осталась – если принять во внимание скуку, что неизбежно охватывает меня в любом общественном действе, в самом интересном месте спектакля, в гуще всевозможных «презентаций», «фуршетов», «брифингов» и прочей маеты ...

* * *

Иногда на меня накатывало желание покрутиться возле нее на кухне, послушать еще какую-нибудь историю, поучаствовать в приготовлении мацы, которую бабка не покупала, а всегда выпекала на Пасху сама... Это были тонко раскатанные круглые пластины пресного теста, которые она протыкала вилкой – «чтоб дышало». Если я хорошо себя вела, мне поручалось «тыкать».

– Натычь, – говорила бабка, вручая мне тяжелую вилку, и, схватив ее в кулак – так убийца хватает нож, – я, остервенело оскалившись, быстро-быстро всаживала все четыре зубца в кругло раскатанный блин, усеивая его множеством ранок.

(Такую мацу лет сорок спустя я видела на иллюстрации к старинной испанской пасхальной *агаде*. Значит, испанские кумушки пятнадцатого века мацу готовили в точности, как моя бабка...)

Когда мы с нею «работали», между нами возникало теплое чувство совместного деятельного усилия. Если ей казалось, что я мухлюю, она, как бы между прочим, глядя в окно на хлопотливую тополиную листву, произносила длинную фразу на идише, которую сама тут же и переводила эпическим полунапевом: «Небо и земля клаялись, что тайн на свете не бывает».

– Каких еще тайн? – подозрительно уточняла я.

– Та я к слову, – невинно отзывалась хитрая бабка.

С нею ловко было работать – уютно, ладно, споро... Недаром на конфетной фабрике своего отца, а моего прадеда Пинхуса Когановского Рахиль была лучшей заворотчицей. Вот надо же, чуть не забыла: ведь моя бабка на старости лет стала *стахановкой*! Перед войной ее, вечную домохозяйку (дед Сэндер считал, что женщина должна сидеть дома и растить детей), сестра Вера, впоследствии расстрелянная в очередном рву под Полтавой, решила устроить на местную конфетную фабрику, где сама работала бухгалтером. «Будет тебе *черта смолить*, – говорила она, – дети выросли, хозяйство невеликое. А тут все же общество, и подработашь».

Когда начальник цеха увидел *новенькую* – женщину немолодую и дородную, – он сказал Вере:

– Ты что, Верпетровна! Ты б еще инвалида какого приволокла... Мне ж ее год учить, не меньше. Не-е... в нашем деле молодая сноровка нужна...

– А разрешите к столу присесть? – спросила бабка и, уже не обращая внимания на начальника цеха, села в ряду мастериц-заворотчиц и принялась за дело. Через минуту вокруг нее собрался весь цех. Люди глаз не могли оторвать от едва заметной ювелирной точности и от феноменальной скорости, с которой полные руки этой женщины совершали множество молниеносных движений.

...Так вот, бабкины притчи... Все они были из разряда про *живую жизнь*. Рассказывала она как бы между прочим, неторопливо, закрывая пельмешки, заворачивая голубцы, раскатывая скалкой круг теста или уминая ложкой фарш в пустое нутро болгарского перца. Но в тот момент, когда должна быть произнесена ключевая реплика, приостанавливалась. Вот кто умел держать паузы – так это моя бабка. Системы Станиславского она не знала. Но оторвать взгляд от движения ее бровей, от неуловимой мимики губ и глаз было никак невозможно:

– У нас в Золотоноше семья жила, аптеку держали... Всем там заправляла мамаша – грозная старуха была, скупая. Кухарку у них не было, мамаша сама кухарила. И требовала, чтоб вечером вся семья за ужином собиралась. Самолично каждому в тарелку клала кусок мяса из борща. Однажды сын – так получилось – приходит домой пораньше. Ищет мать... в комнатах нет, во дворе нет... Заглянул на кухню – а там сидит его мамаша, выловила из борща лучшие куски мяса, полную тарелку себе наложила и уплетает за обе щеки. «Что вы делаете, маман?» – спрашивает сын,

вытарачив глаза. «Что я делаю? – отвечает та. – Я кормлю вам вашу мать!»

Это – при нарочитой скупости жестов – всегда была точно разыгранная сценка. Неприятно удивленный сын, заставший мать за поеданием лучших кусков, и – легкое движение бровей, усмешка, пожатие плеч... – великолепный апломб невозмутимой старухи. Одна картинка сменяла другую, и, бывало, за приготовлением пирожков бабка умудрялась развернуть передо мной целый ряд сцен и анекдотов из жизни дореволюционного местечка... Иногда та или другая история возникала на почве раздора, когда, к примеру, мне предлагалось вымыть посуду, а я бесстыдно отлынивала.

– Женское лицо... – начинала она.

– Знаю, знаю! – огрызалась я. – Бывает двух типов: отойди-подойди!

– Та я ж не о том, – покладисто отзывалась бабка. – Я о жизни. Бывает, повезло девушке: родилась она ладненькая, да красивая, да с характером... Но счастье совсем не этим приманивают.

– А чем? Чем?!

– У нас в Золотоноше семья жила, люди серьезные, состоятельные... Он был закупщик, деловой такой мужчина, со *срэдствами*; жена шила наряды аж в Киеве. Дочь у них была одна, и такая, скажу тебе, дочка... ой-ёй-ёй! И вот, к ней посватался один из Сатанова. Тоже не бедный: компаньон отца по торговым делам. Не очень молодой, но так, в возрасте и еще в силе. Свадьба была – дым коромыслом. Петарды в небо пуляли, аж на дальних лугах было видно, как днем. Ну, отпраздновали, и отбыли молодые в Сатанов... Проходит неделя, другая... никаких оттуда вестей. Молчок, тишина... То-о-олько мамаша с папашей наладились в гости к дочери – как там, *эр зугт*, наша дочка хозяйшкой в дому живет? – как однажды утречком едет издали телега, со стороны Сатанова. Мее-е-едленно едет, потому как нагружена доверху. А за телегой мальчишки бегут, гвалт, шум, свист... Соседи выглядывают в окна и видят: правит телегой зять...

– Компаньон? В возрасте и силе?

– Ну да... Правит зять телегой, а за ним сидит понурая молодая. А позади – гора невытой посуды! Чашки, тарелки, супница в лиловый цветочек...

– Потому телега медленно ехала? Чтоб не разбить?

– Ну да. Ты слушай, слушай. Для тебя рассказываю... Приближается этот *кортэж* к дому... останавливается... И на глазах оторопевших родителей зять ссаживает молодую. Принимайте, *эр зугт*, свое сокровище, а заодно и все ее приданое. Ни одной чашки, *эр зугт*, за три недели она не помыла. Кончался один сервиз, ели на другом. А теперь, *эр зугт*, сервизы кончились, и таки закончилась моя семейная жизнь...

Лицо ее при этом сохраняло невинное и даже особо доверчивое выражение, но при этом она, якобы украдкой, поглядывала в сторону таза, полного грязной посуды...

– А-а-а! – вопила я. – Ты все врешь! Это ты придумала! Супница в лиловый цветочек! Придумала!

– Как такое можно придумать, – укоризненно отзывалась она. – Это же не книжка, это *живая жизнь*...

* * *

«Живая жизнь», которую моя бабка так любила расцветивать своими историями, остается неизменной, даже когда заканчивается.

Бабкина долгая цепкая жизнь закончилась без меня – я в то время жила в Москве и о том, как поживает моя «заядлая бабка», узнавала из маминых звонков. В последние годы она сидела в кресле, ноги отказали, но память и ясный ум не оставили ее до самого конца.

– Ты что на завтрак приготовишь? – спрашивала она уже немолдую мою маму, которая каждый день двумя трамваями добиралась до бабки.

– Оладушек нажарю...

– Оладушки были вчера.

– Может, овсянку сварить?

– Овсянка позавчера была... У тебя что, фантазии не хватает? У нас в Золотоноше семья жила, так их ленивая прислуга наладилась каждый божий день жарить драники с лучком... И все драники и драники: в понедельник – драники, и во вторник – драники, и в среду...

Это было тяжелое время, когда я решала самую трудную задачу своей жизни – извечную задачу моего народа по возвращению на круги своя – большую рокировку на пути преодоления Синайской пустыни.

В один из предотъездных вечеров позвонила мама и заплаканным, но освобожденным голосом проговорила:

– Бабушку похоронили... Вот смерть! Во сне ушла... Кто угодно позавидует.

Получается, подумала я тогда, что дед Сэндер все-таки выхлопотал для своей «Рухэлэ» легкую участь – там, где усердно правит нож его коллега по цеху резников, ангел смерти Гавриэль.

– Грешно сказать, – добавила мама со вздохом, – но она будто подорожную нам выписала... Давай диктуй по пунктам – с чего начинать там, в этом ОВИРе?..

В те дни и недели, преодолевая предотъездный морок, я слишком была взвинчена, слишком измучена переживаниями, слишком яростно боролась в каждой ночи с собственным ангелом, пытаюсь вырваться из тисков сомнений и страха; и в то же время слишком была устремлена в неизвестное, обмирая от мысли, что неверным решением могу погубить всю семью... Кончина девяностопятилетней бабки в эти дни ощущалась мной как всеобщее освобождение: так вол, нагруженный жестокосердным хозяином, сбросив со спины один из тяжелых тюков, легче ступает по краю пропасти...

* * *

Думать о ней, о ее жизни я стала совсем недавно... Возможно, потому, что состарилась мама и вдруг сквозь ее, совсем иные родовые черты стала проступать бабкина мимика, ее вздергивание

брови, ее морщинистая усмешка... А может, потому, что повзрослела моя дочь и стала напоминать юную бабушку на той, допотопной фотографии. Бывает, сидим за субботним ужином, и принимается она рассказывать что-то смешное из своей археологической практики: все те же развалины, библейская скала, обломки колонн... а я глаз не могу оторвать от ее взлетающих рук. Впрочем, любовь к дочери – дело нехитрое...

И все-таки что заставляет меня столь настойчиво думать о бабке?

Я пытаюсь осмыслить страшное несоответствие между отпущенными ей при рождении дарами-talантами и тусклой, ничем не примечательной судьбой домохозяйки. О ее жизни, выброшенной на ветер, о неудаче творца, о бесполезном разбазаривании такого богатого материала. Что случилось там, наверху, в момент, когда перл человеческий вышел на орбиту Судьбы? Чего не учли, что не доделали там, в высочайшем отделе кадров, и кто из ответственных лиц так напортачил?.. Другими словами: как умудрились бездумно *запороть такой объект?*..

– Помнишь, какой она была рассказчицей? – спрашиваю я маму.

– Я тебя умоляю, – отзывается та. – Что такого бабка могла рассказать? Историю из трамвая?

– Ты что?! – Кричу я с досадой. – Не помнишь ее монологи?! Она ведь сама сочиняла текст, когда изображала людей. Да в ней умерла великая актриса и, может быть, замечательный писатель!

– Ты домысливаешь... Творческое воображение. Вот когда я объясняла урок на тему «Убийство императора Павла Первого» и описывала, как...

Ну да, да, это правда: когда мама описывала, как, слышав шаги убийц на лестнице, Павел вскочил с кровати и спрятался в камине... «Но экран камина не мог скрыть его ноги, – торопливым взволнованным голосом говорила мама, простирая руку куда-то в угол, – и едва взошла луна, осветив эти бледные тощие ступни – там, там, в углу комнаты!..» В этом месте весь класс, как по команде, вставал и заморожено пялился в пустой угол аудитории...

– И все-таки... – не успокаиваюсь я. – Если б она вышла замуж не за деда Сэндера, а за того художника и он увез бы ее, скажем, в...

– Он бы увез ее в Харьков, где она точно так же родила бы двоих детей, и мыла гречку, и раскатывала мацу. Не тешь себя иллюзиями. Это просто в ней артистическая жилка билась, как во всех нас. Вспомни: когда ты выступаешь, кто-нибудь из публики обязательно спрашивает, какой театральный институт ты окончила.

И это, что уж там скрывать, – правда...

* * *

А живая жизнь все длится, обнаруживая удивительные переключки нрава и повадок через поколения. Персонажи бабкиных притч все, в конце концов, оказываются мною, лично мною – к моей досаде или насмешке.

Вот как я мою гречку. Завершив работу над рукописью к обговоренной дате, я тяну и тяну, не в силах с ней расстаться. Там

заменяю одно слово на другое, подумая и верну прежнее, потом вместо точки поставлю запятую, сотру и заменяю многоточием. Ведь *живая жизнь* из всех знаков препинания предпочитает именно многоточие.

...Недавно, читая сборник притч и рассказов о Беште – великом Баал-Шем-Тове – мудреце, каббалисте и хасидском мистике XVIII века, что жил неподалеку от бабкиных мест, в украинском местечке Меджибож, – я с удивленной радостью встречала бабкины притчи. Не в точности ее истории, другие, но это был все тот же извод на тему: «Однажды идет он, а навстречу...» или: «Жил у нас в Сатанове один мужчина...». А то и так: «Женился он на другой, и родила ему та двух сыновей. И не знаю, близнецов ли или же одного за другим...».

Это была все та же поучительная, обстоятельная библейская телесность, та же конкретность деталей в сочетании с мистическими высотами сияющих чудес...

Целый мир, целый огромный мир парил там над землей, не улета, однако, ввысь, но и не растворяясь в воздухе, а протягивая крепкие нити между землей и небом, как бы втолковывая всем нам, что не может быть одного без другого и что *небо и земля клялись: тайн на свете не бывает...* Кто только не населял мир этих притч, кто только не клубился, сталкиваясь, переплетаясь и дивясь один другому! Там лихие ангелы входили в дом к бедняку, просясь на ночлег, там усердно, будто золотой песок, хозяйюшки мыли гречку до небесной чистоты житейских помыслов, там бродяги и *лейдсгееры* смолили на продажу отборных чертей; там милосердный резник Гавриэль вонзал блаженный нож в иссохшую грудь нищего праведника, отпуская в полет его истомленную душу...

Но вот что интересно мне сейчас: всего три года обитали в домике на Кашгарке мои дед с бабкой, всего несколько каникулярных недель я у них провела и, в сущности, мало что помню. Узбекское кладбище на взгорке, последний лоскут последнего майского мака под ветерком; бегущего по засохшей глине скорпиона, старую иву с лиловым окном-прорехой в текущей кроне...

Почему же отсюда, с моих нынешних, совсем иных географических и временных горок, именно тот домик с верандой кажется мне цитаделью спокойствия и любви в сердцевине беспокойного детства? Почему не могу я забыть бинты, змеящиеся по полу, сизые культы еще живого деда... и то окно, исполненное листвой или застывшими ледяными картинами?

Почему до сих пор манит меня огненный мотылек скудеющей свечи в том давнем, почти неразличимом окне, где все еще трепещет птичьими крыльями заполошная листва начала моей жизни?

Начала жизни, которой не будет конца...

Ты смеешься, Отец? Ты – смеешься?

Горе твоему смеху...

июнь 2011

Лорина Дылова

СТАРОЕ КИНО

ВЕСЕННЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Безнадёга, тоска – хоть убей!
Под апрельским зелёным навесом
Никого.

Прискакал воробей
И глядит на меня с интересом:

– Да тебя, я смотрю, развезло!
Ты наверно ослепла, голуба,
И не видишь, что снова тепло? –
Прочирикал он в общем-то грубо.

– Как не стыдно? Прошли холода,
Снова сытно, спокойно и тихо.
Остальное, поверь, ерунда –
Так считает моя воробьяха.

Есть тут рядом местечко одно –
Воробьяха его углядела, –
Там отлично! И крошек полно!
Полетели?
И я полетела.

АХ, ЭТОТ МАРТ!..

Вы только подумайте, всё продолжается!
Все та же безудержность, тот же азарт!
В безумные ткани весна наряжается,
И счастье сулит безответственный март.

Конечно, его призовём мы к ответу
Под серые всплески ноябрьского дня:
Мол, ты обещал – ну а счастья-то нету?
И все твои речи одна болтовня?

Но он позабыл про свои обещанья,
И разве отыщешь его в ноябре?
...За тонкою стенкой соседа ворчанье,
И ветер скулит, словно пёс в конуре,

Безрадостны мысли, унылы пейзажи...
Раскинем колоду и спросим у карт:
Скажите нам, карты, когда же, когда же
К нам снова придёт
Этот враль,
 этот март?

СТИХИ О РОДИНЕ

Завидую тому, кому мила,
Страна, где он живёт и где родился,
Где пусть он даже и не пригодился,
Но сердцем к ней присох – и все дела!

Когда поют грузины «Тбилисо»,
У них глаза становятся другие.
И жалко мне тогда, что ностальгии
По мне не прокатилось колесо.

Я на другом осела берегу,
И дни мои то веселы, то тяжки,
Но никакие белые ромашки
Я не лелею и не берегу.

Когда во сне я снова в той стране,
Всегда боюсь, что не сбежать оттуда.
Нет, что вы, я чернить её не буду –
Пускай! Но только не со мной, не мне.

* * *

А там всё те же ветхие избушки,
Унылый и бесхитростный уют.
Всё те же востроглазые старушки
На рынке землянику продают.

А ведь вполне могло и так случиться,
Что я бы там осталась навсегда.
Смотрела бы, как мчатся за границу
Свободные, как птицы, поезда.

И в сердце ныла б вечная заноза,
Что где-то бродят, щиплют лебеду
Не куры, не замызганные козы,
А, скажем, кенгуру и какаду.

И что на свете есть иные страсти,
Иные виды в утреннем окне.
Понятно, что не всем даётся счастье,
Но почему же всё-таки не мне?

БЕССОННИЦА

Скоро утро. Баю-баю.
От бессонницы хмельная,
Вспоминаю, вспоминаю...
Тёмной речкою плыву.
У окна сосна хромая...
Я ребенка пеленаю...
И уже не понимаю,
Что во сне, что наяву.

Говорю себе спросонок:
Что за бред? Какой ребёнок?
Сын? Но вроде из пелёнок
Вырос он давным-давно?
И совсем уж не по теме
Шмель сидит на хризантеме...
– Успокойся! Это Время
Крутит старое кино.

Я, представьте, в главной роли!
Под венцом, в больнице, в школе,
Люди, звери, феи, тролли –
Словом, полный винегрет!
...Звёзд тускнеют многоточья,
Дрозд в окне поёт все звонче
Слава богу, сеанс окончен.
В зале вспыхивает свет.

* * *

Ах, время, странная субстанция!
Не выдает оно квитанции,
Свидетельства не выдает
Ни тем, кто зря его профукал,
Ни тем, кто отдал жизнь наукам:
Мол, этот – скуп, транжира – тот.

А коли так, то смысла мало
На свете жить не как попало,
А четко, правильно, умно.
Давайте бить баклуши, братцы,
Без дела по земле слоняться,
И вздор болтать, и пить вино.

Раз канцелярии небесной
Не нужно и неинтересно
Знать каждый шаг наш и момент,
Не станем тратить мы усилий,
Чтоб заработать справку или
Аналогичный документ.

* * *

Еду к дальним процедурам,
К лампам, ваннам, родникам.
Говорят, что на смех курам
И на радость дуракам.

Как от старости лечиться,
Не придумали пока.
Буду мазаться горчицей,
Воду пить из родника.

Время смотрит, не мигая,
Ищет жилку на виске.
Раз ты глупая такая,
Поваляйся, дорогая,
На песочке на песке.

КОНВОЙ

Куда ни ткни, везде любовь,
И боль – куда ни ткни.
Пойди дорожкой любой –
Везде они, они.
Пойди туда, пойдя сюда,
Налево поверни –
Там грусть, тут радость, там вражда,
Но это всё – они.
От них не ускользнуть тайком
Под сводом темноты,
Не сделать вид, что незнаком,
Что ты вообще не ты.
Не ерепенься, дорогой,
И навсегда усвой:
Любовь и боль – надёжный твой
Пожизненный конвой.

Светлана Шенбрунн
РОЗЫ И ХРИЗАНТЕМЫ *

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава вторая

Я сижу на лавочке возле нашего подъезда, жду Свету Побияхо, звеньевую второго звена, мы договорились вместе пойти в галантерейный магазинчик, который в Икином доме, выбрать подарок к Октябрьским праздникам для нашей математички Анастасии Георгиевны. Она у нас в этом году классная руководительница вместо Нины Константиновны. Нина Константиновна, наверное, уже и не вспоминает про нас... Анастасия Георгиевна меня не любит, вечно норовит подковырнуть. Чем уж я ей так не нравлюсь? Но подарок все равно надо купить, всем классным руководительницам два раза в год, на Первое Мая и на Октябрьские, что-нибудь покупают. Большинство девочек сдали по три или по четыре рубля, а некоторые даже по пять. Всего набралось сто пятьдесят восемь рублей. Можно купить что-нибудь хорошее. Самым лучшим был бы новый чемоданчик, а то ее совсем уже истрепался, стыдно смотреть, и замок то и дело отскакивает. Если хватит денег, купим чемоданчик.

Магазинчик называется «Галантерея», а на самом деле там много чего продается, даже кастрюли из нержавеющей стали и алюминиевые раскладушки, которые производят в цехе ширпотреба на нашем Тридцатом заводе. Икин папа, дядя Гриша, работает там заместителем начальника цеха, но не ширпотреба, а того, который выпускает двигатели для истребителей. Ика говорит, что нержавеющая сталь идет на реактивные двигатели. Вначале обрезки просто выбрасывали в металллом, а потом догадались делать из них кастрюли. У нас в квартире все купили эти замечательные блестящие кастрюли, а чтобы они не путались, каждая семья навязала на ручки тесемки разного цвета. У нас тесемки зеленого цвета.

За стеклянной дверью подъезда появляется тетя Дуся, медленно, бочком сползает по ступеням и волочит за собой стул. Ставит его возле водосточной трубы и усаживается – воздухом подышать, людей поглядеть. Вытягивает ноги, чтобы никто не мог проскользнуть мимо нее в дверь незамеченным, расстилает на коленях тряпицу и принимается за свою вязку – из тех же белых катушечных ниток вяжет теперь кружевные накидки на подушки. Елизавета Николаевна говорит, что она свои скатерти и накидки сбывает рыночному перекупщику Василию Карпычу. Будто бы по три штуки за месяц успевают навязать. Очень может быть – крючок так и мелькает в руке. Мама тоже знает этого перекупщика, он иногда заходит к нам, забирает какую-нибудь старую папину рубаху с потертым воротом или сильно побитые молью шерстяные варежки, которые

* Первая глава третьей части романа опубликована в 32-м номере ИЖа.

уже бесполезно штопать, потому что они расползаются в руках. Василий Карпыч обычно дает за них два или три рубля, не больше, но мама не особенно с ним спорит, потому что кроме него таких вещей вообще никто не берет. А недавно она отдала ему все, что осталось от бабушки. Даже кружку и алюминиевую миску. Он заплатил ей за все вместе целых двадцать три рубля. Неужели теперь кто-то другой носит бабушкину шапку и рыжую кофту?..

Дворничиха тетя Луша подходит к подъезду.

– Дусь! Не слыхала, мож, полы кому вымыть надо? Али постирать?

– Чего так? – откликается тетя Дуся.

– Чего! Денег нет ничего – вот чего. Ребята мои уже опухли с картошки ентой – в обед картошка, вечерять картошка, хлебушка иной день купить не на что. До получки неделя, а что она – получка? За комнату отдели, да за свет отвали, да за газ заплати – вот и ушла она, получка... Как примерещилась.

– К ним иди, – тетя Дуся кивает в мою сторону, – мать ее помощницу ищет, уж несколько раз спрашивала.

– Не, к ней не пойду! – отмахивается тетя Луша решительно.

– Чего так? – любопытничает тетя Дуся.

– А так – я уж у ней наработалась! Делать ничего не дает, за руки хватает: «Осторожно, Лушенька, осторожно, подождите, не торопитесь. Только, ради бога, не торопитесь! Ненавижу, когда торопятся». Ей-то чего торопиться? У ней время не меряно. А меня небось ребята ждут – голодные, необихоженные. Барыня-государыня... Ты вот поди покрутись, помаши цельный день метлой, тады поглядим на тебя – не торопитесь! Спина к вечеру как поленом побитая – еле ноги волоку. Да еще не приведи Господь, чтоб где бумажка завалылась – Алпатов увидит, такой шум подымет, будто я ему... – тетя Луша оглядывается на меня, – незнамо что сделала. А после еще в очереди натопчешься – той же картошки добыть. Не чаешь до конуры своей добраться, а там ребята... Ночь цельную, что ли, я у ней прокладаться должна, блажь ее исполнять? Сама не делает и другим не велит. Мне знаешь? Мне чтобы прийти, отработать – и прощевайте. Сделать да и отделаться. А она пальчиком тычет: «Подождите, Лушенька, вы тут неправильно, не торопитесь, тут не так нужно!»

– Обходительная, – замечает тетя Дуся, – все на «вы».

– Пускай поперхнется обходительностью своей! Ни за какие любезности не стану у ней работать. Все кишки вымотала, только и знает за руки ловить. В другом месте найду. Небось не сдохну.

– Как знаешь, – говорит тетя Дуся.

– И ведь что? Не, ты послушай! Я ладно, я баба простая, надо мной всяк горазд куражиться. Кажный начальник. А ведь и мужу своему житья не дает, все кличет: «Павел, подай кошелку! Павел, найди тряпку! Павел, возьми тазик!» Так и вертится, бедный, так и скачет, только присядет, по новой: Павел то да Павел сё.

– Ну, это не твоя забота, – сердится тетя Дуся, – это они сами разберутся.

– Разберутся, вестимо, разберутся. А он ей – слышь? – насупился эдак, будто лягуху проглотил: «Нинусенька, у тебя есть женщина, которая специально приходит помогать тебе и удовлетворять твои прихоти». Ей-богу, так и сказал: прихоти удовлетворять! – тетя Луша

прыскает в ладонь. – Так она как вскинется, как цыкнет на него: «Женщина приходит не для этого! Позволь мне самой решать, какую работу поручать женщине!»

– А кто ему виноват? Приучил, так и терпи...

– Он пускай терпит, а я не обязана. Нависнет, как коршун над мышом: «Нет, Лушенька, вы не так складываете! Нет, нет, вы не туда ставите!» Поучает, будто дитя несмышленное. Нашлись учителя на нашу голову... Не всех еще, видать, в семнадцатом к ногтю прижали.

– Это ты потише, – замечает тетя Дуся опасливо, – это не твоего ума дело.

– Вестимо, не моего, – соглашается тетя Луша. – Ладно, пошла я. Ежели чего услышишь, скажи.

Она уходит, а мы с тетей Дусей остаемся сидеть, но не смотрим друг на друга. Тетя Дуся вяжет накидку, крючок мелькает в руке.

Никогда в жизни, никогда в жизни не пушу к себе никаких домработниц и никаких помощниц! Человек должен сам себя обслуживать. Да, каждый – сам себя.

Анастасия Георгиевна не хочет брать чемоданчик. Мы со Светой еще свои четыре рубля доложили, потому что он стоил сто шестьдесят два, а у нас было только сто пятьдесят восемь, а она не хочет брать! Мы уж и так, и так ее упрашивали и уговаривали – отказывается! Ира Грошева (мы сидим с ней за одной партой, самой первой, которая сбоку от учительского стола, у окна, – замечательное место, мало кто понимает: ты как будто паинька и отличник, сидишь на первой парте, а на самом деле учительница совершенно тебя не видит, ты все время у нее за спиной и можешь делать что хочешь), Ира говорит, что в этом году учителям запретили брать подарки. Это можно было бы понять, если бы кто-то вздумал дарить что-нибудь от себя лично, чтобы ему получше отметки ставили, но мы же от всего класса. Запретили... Что же теперь с ним делать? Никто ведь не купит его у нас. И обратно нельзя отдать: обратно принимают, только если заводской брак, а он в полном порядке, хорошенький такой, блестящий чемоданчик.

– Всё, девочки, всё, – говорит Анастасия Георгиевна, – перестаньте об этом говорить, вы мне срываете урок.

Ничего, мы знаем, что мы сделаем: после занятий пойдем за ней следом и уж как-нибудь заставим ее взять. Только чтобы она не убежала от нас потихоньку.

Анастасия Георгиевна, похоже, не собирается убежать. Если бы захотела, села бы на трамвай и уехала – и дело с концом. Но она поворачивает в узкий проход между двумя заборами: нашей школы и стадиона Юных пионеров. Идет по трамвайным рельсам, а мы тянемся за ней следом и ноём:

– Анастасия Георгиевна, ну возьмите! Пожалуйста! Самый последний раз. Никто ничего не узнает... Ну почему вы так? Мы же от всего сердца...

– Нет, девочки, нет! – ворчит она, даже не оборачиваясь. – Нельзя, – и прибавляет шаг.

И тут ее старый чемоданчик как нарочно раскрывается, крышка отваливается, тетрадки и книги разлетаются во все стороны, и

именно в этот момент из-за поворота показывается трамвай. Он едет не очень быстро, но и не так, чтобы совсем медленно. И изо всех сил трезвонит в звонок. Мы кидаемся собирать то, что упало, и кое-как записываем в новый чемоданчик. Теперь уж ей некуда деваться – трамвай в двух шагах. Она перекладывает свой старый пустой чемоданчик из правой руки в левую и быстренько берет наш – новенький. Мы прижимаемся к заборам с двух сторон от трамвайного пути и ждем, пока проедет трамвай. Вагоновожатая ругается, что-то кричит за стеклом, но мы ее не слышим.

– Ну, не знаю, – говорит Анастасия Георгиевна, – ну, видно, придется взять...

Старый чемоданчик, пустой и помятый, валяется на земле у нее под ногами. Наверно, она сама не заметила, как выронила его.

– А чего взять? – говорит Варя Батищева. – Он же у вас всегда был. Вы, что ли, без ничего в школу пришли?

– Ну, спасибо, девочки, – Анастасия Георгиевна вскидывает голову вверх и смотрит куда-то в небо, как будто там летит самолет. Но никакого самолета нет. – Ладно... Ну, ступайте...

Она уходит, а мы стоим и смотрим ей вслед. Очень хорошенький коричневый чемоданчик... Интересно, что бы она сейчас делала, если бы мы его не купили? И замочек крепкий.

– Поднимите руки, у кого выписывают газеты, – говорит Анастасия Георгиевна.

Руки поднимаем только я, Зоя Линкина, Ира Каверина, Алла Вольфсон и еще две или три девочки. Наташа Нехорошева сначала поднимает руку, а потом, как будто засомневавшись, потихоньку опускает.

– Это как же – выписывают? – хмыкает Варя Батищева, откидываясь на парте и слегка позевывая.

– Заранее подписку делают. На год или на полгода, чтобы почтальон домой приносил.

– А... – говорит Варя, – почтальон... Богато живут. – И, немного подумав, добавляет: – На кой ее выписывать? Вон возле метро за так, за бесплатку висит. Читай, коли не лень.

Анастасия Георгиевна бросает на нее сердитый взгляд и продолжает интересоваться:

– А у кого покупают какую-нибудь газету?

Еще несколько девочек как-то нехотя подымают руки.

– Ясно. Уровень политической сознательности неудовлетворительный, – объявляет Анастасия Георгиевна. – Будем проводить политинформации. По средам, во время классного часа. – Какие газеты твой отец выписывает? – оборачивается она ко мне.

– «Правду», «Известия», «Труд», «Московскую правду», «Литературную газету», «Вечерку», «Красную звезду»...

– Ладно, ладно, хватит выхваляться-то!.. – обрывает Анастасия Георгиевна.

Почему «выхваляться»? Она спрашивает, я отвечаю.

– Грамотей! – хмыкает Анастасия Георгиевна. – Везет же некоторым – целый день только и занятий, что газетки почитать... Вот ты нам и подготовишь на первый случай. Главные темы. Основные события. Перескажешь своими словами, чтобы было понятно. Не

больше пятнадцати минут, слышишь? Самое важное. А то затрецишь, как сорока...

С какой это стати я буду трещать, как сорока? Я никогда не трещу, как сорока. Какая же она все-таки вредная...

Я раскладываю на столе газеты, беру ножницы и выискиваю самые главные темы. Самые главные всегда в передовицах. Папа часто пишет передовицы для «Труда» или для «Комсомолки», только его фамилию под ними не ставят: передовицы – это как будто от редакции.

«В Западной Германии имеется почти три миллиона полностью и частично безработных. Эти люди влачат жалкое существование. Многие живут в подвалах, в фанерных домиках, в сараях и конюшнях. На окраине города Оффенбах находится "поселок", состоящий из старых вагонов и жалких лачуг».

Нет, про это не буду: у нас на станции Москва Сортировочная, если ехать в Переделкино, тоже на запасных путях полно старых ни к чему не прицепленных вагончиков, в которых живут. Печки себе устроили, из труб дым идет. А что? На улице им, что ли, жить? Ольга, дочка тети Ани, теперь живет в дровяном сарайчике, она вышла замуж, а тетя Аня ни за что не хочет пускать ее с мужем в комнату. И то правда, комната у них с дядей Талей маленькая, семь метров. Но Ольга не особенно расстраивается, она говорит, что когда они окончат институт, им дадут направление на работу и жилплощадь какую-никакую дадут. Тем более что они будут инженеры-строители. Но им еще три года учиться...

«Экономика Западного Берлина находится в катастрофическом состоянии, отражая все пороки... Усиливается смертность... Хозяйство Германской Демократической Республики развивается по пути неуклонного подъема». Про это не буду. Девочки скажут: с какой это радости фрицы должны развиваться по пути неуклонного подъема? После всего хорошего, что они наделали... «В колхозах и совхозах Киргизии закладываются новые фруктовые сады и виноградники». Это можно. «Шахтеры города Чистякова Сталинской области...» У нас в классе учится Тамара Чистякова, Икина соседка. Раньше ее отец работал на заводе кузнецом, а теперь он инвалид на пенсии – весь трясется. Вообще почти не выходит из своей комнаты.

«Войне не бывать!» Вот это действительно важно, это нужно вырезать.

«Теперь, когда наша страна залечила глубокие раны, когда советский народ под руководством партии большевиков, родного и любимого товарища Сталина...»

Я беру ножницы и начинаю аккуратненько вырезать статью.

– Что ты делаешь? – взвизывает мама. – Совсем сдурила? Прекрати немедленно!

– Мне Анастасия Георгиевна велела подготовить политинформацию, – объясняю я.

– Какую политинформацию? Какую, к черту, политинформацию! Как вам это нравится? Сидит и портит газету!

– Папа разрешил, – говорю я.

Папа сидит за пишущей машинкой и как будто не слышит.

– Павел, ты что, не в своем уме? – набрасывается на него мама. – Ты позволил ей кромсать свежие газеты?

– Не такие уж, Нинусенька, они свежие. И если ребенку в школе дали задание подготовить политинформацию, то он обязан его выполнить.

– Да, разумеется, – выполнить! Я их вообще еще не раскрывала, можно сказать, в глаза не видела.

– Ничего удивительного, Нинусенька, что ты их не раскрывала. Если не ошибаюсь, за последние двадцать лет ты вообще не прочла ни одной статьи.

– Поздравляю! Приветствую твою наблюдательность. Очень верно подмечено. И знаешь, почему я не прочла ни одной статьи? Потому что целый день верчусь, как белка в колесе! Минуты покоя не знаю!

– К тому же не думаю, – продолжает папа, – что трехмесячной давности газета является таким уж неоценимым сокровищем...

– У тебя ничто не является сокровищем – кроме пьянки с разлюбезными друзьями.

Я не знаю, что мне делать: вырезать или нет? Подожду лучше. Мама взбесится, если увидит, что я вырезаю, скажет, что это я ей назло. Но с другой стороны, явиться в школу без вырезок тоже нельзя...

– Я могу не вырезать, а просто обвести карандашом те заметки, которые мне нужны, – предлагаю я. – Прочитаю в классе, а потом принесу обратно.

– Ну, не знаю, – хмурится мама, – если действительно принесешь... Это надо выдумать – чтобы двенадцатилетние девочки делали какие-то дурацкие политинформации! Скоро грудных младенцев поднимут с горшков, чтобы произносили зажигательные речи.

– Между прочим, Нинусенька, – говорит папа, – ты совершенно права: не мешало бы отнести часть старых газет в сортир.

– Это еще зачем? – недоумевает мама.

– Поскольку там наблюдается их явная нехватка.

– Разумеется!.. – фыркает мама. – Не понимаю только, почему именно мы должны обеспечивать всю квартиру. В конце концов, каждый может, отправляясь в данное заведение, прихватить с собой клочок газеты. Не такой уж тяжкий труд.

– Лучше, мой дорогой Кисик, обеспечивать всю квартиру, чем испытывать в данном вопросе дефицит, – изрекает папа.

– Когда весь советский народ, повышая свое благосостояние, строит коммунизм, – докладываю я, стоя возле учительского стола, – американские изверги, заправила капитала, возрождают фашизм, готовят новую войну против Советского Союза и хотят поработить народы. Все миролюбивые люди на земле, воодушевленные Иосифом Виссарионовичем Сталиным... – некоторые фразы приходится пропускать, иначе не успею рассказать обо всем за пятнадцать минут. – Слава нашему родному и любимому вождю и учителю, отцу трудящихся всего мира товарищу Сталину – знаменосцу мира и счастья!..

Анастасия Георгиевна хмыкает, но молчит.

– Есть еще про трудовую вахту, – сообщаю я. – Коллектив мясокомбината выполнил августовский план на 120 процентов. Первое место завоевали рабочие колбасного цеха. Месячное задание они выполнили на 119 процентов.

Сто девятнадцать, конечно, меньше ста двадцати, и непонятно, как при таком показателе рабочие колбасного цеха завоевали первое место, но так написано. Анастасия Георгиевна не придирается. Хотя считать она, в общем-то, умеет.

– Лучших успехов добилась бригада обвальщиков.

Я спросила у папы, кто такие обвальщики, он сказал, что обвальщики – это те, которые что-нибудь обваливают. А мама сказала, что обваливать уже не требуется – все, что поддавалось обвалу, давно развалили и обвалили.

– Отвечая на вопрос корреспондента «Правды» насчет шума, поднятого в иностранной прессе в связи с испытанием атомной бомбы в Советском Союзе, – продолжаю я, – товарищ Иосиф Виссарионович Сталин сказал: «Действительно, недавно было проведено у нас испытание одного из видов атомной бомбы. Испытания атомных бомб различных калибров будут проводиться и впредь по плану обороны нашей страны от нападения англо-американского агрессивного блока».

Я сворачиваю газету и киваю Зое Линкиной. Мы с ней договорились, что после моего доклада девочки прочитают опубликованное в «Пионерской правде» стихотворение Сергея Михалкова «Про советский атом».

Зоя, Ира Каверина, Алла Вольфсон и Вера Мясникова выходят к доске и по очереди читают, каждая по две строчки:

Мы недавно проводили
Испытанья нашей силе.
Мы довольны от души –
Достиженья хороши!
Всё – на славу удалось,
Там, где надо, взорвалось!
Мы довольны результатом –
Недурён советский атом!

И все вместе:

Вот так штука! Всем наука!
Сунься, ну-ка! Ого-го!..
Не ленились, потрудились
Для народа своего!
Как услышала про это
Иностранная газета –
Зашумела на весь свет:
«Рассекречен наш секрет!
И у русских есть сейчас
То, что было лишь у нас!
Как же русские посмели?
Трумэн с Эттли проглядели!»
Неужели,
В самом деле,
Проглядели?
Ха-ха-ха!..

– Очень хорошо! – хвалит Анастасия Георгиевна и улыбается. Это с ней редко бывает. – Замечательно. И политически грамотно, и доступно для понимания. Молодцы! Сообщу Марье Ивановне. Пускай распространит наш опыт на другие классы.

Кто-то стучится к нам.

– Ну кого еще черт несет? – бурчит мама. – Да, входите! Да-да!

Никто не входит.

– В чем дело? Что за дурацкие шутки? – возмущается мама и идет к двери.

На пороге стоит военный. Это Храпаль! Конечно, Храпаль. Только почему-то весь седой... У папы еще ни одного седого волоса, а у него вся голова седая.

– Петр Васильевич, ах, – говорит мама, – вы ли это? Глазам своим не верю. Что же вы не предупредили?.. Боже мой, как снег на голову...

– Да что предупреждать? – вздыхает Храпаль. – Лишнее беспокойство. Напрасная морока... Приехал так приехал. Вот, Нина Владимировна, конфетки для вас купил – тут, внизу, в булочной... По дороге, так сказать...

– Ах, что вы, зачем, какие конфетки! – скромничает мама, но все-таки берет коробку. – Абсолютно лишнее. Можно подумать, что мы без этого вам не рады.

– «Красная Москва», как раз к случаю... – объясняет Храпаль.

– Подумать только, я бы на улице и не узнала... Нет, не то чтобы постарели, но все-таки сильно изменились. Седой как лунь... Хотя что я говорю? Бывает и в восемнадцать лет седеют. Мусенька, сестра моей подруги, Лидочки, – ей еще и двадцати не исполнилось, а уже вся побелела.

– Да, случается, – соглашается Храпаль.

– Вы садитесь, садитесь! – спохватывается мама. – Что же мы стоим? Садитесь, Павел сейчас вернется, он за папиросами вышел. Смолит, как паровоз, – сколько ни говорю, сколько ни убеждаю, все как об стенку горох...

– Москва-столица... – вздыхает Храпаль, усаживаясь на стул. – Красавица. Давно не бывал... Куранты...

Папа заходит в комнату, останавливается на пороге.

– Петр, друг! Дружище! Какими судьбами?

– Да всякими... Всякими, Паша...

– Вы располагайтесь, а я пойду чай поставлю, – хлопчет мама.

– Чай – это хорошо, – говорит папа, обнимая Храпалю, – но я все-таки спущусь в гастроном, поищу что-нибудь покрепче чаю. Не каждый день фронтовой друг приезжает. Ты сиди, Петр, я за десять минут обернусь.

– Если ради меня, то не надо, – говорит Храпаль. – Я теперь покрепче не употребляю. Ни капли.

– Да ну? Ты шутишь! – не верит папа.

– Ах, какой вы молодец! – хвалит мама. – Вот это выдержка. Действительно: сила воли, достойная настоящего мужчины. Вот бы Павлу с вас пример взять.

– Нет, Нина Владимировна, – Храпаль качает головой, – тут не выдержка, тут как раз наоборот... Именно что боюсь что-нибудь

ужасное совершить... Не ручаюсь за себя. Если выпью, могу и сорваться. А мне еще жить надо. Сороку свою растить, птаху малую... Несчастье, Паша, у нас случилось... Огромное, неподъемное...

– Как? Еще что-то? – укасается мама.

– Пострашнее прежнего. Жена-то моя как раз освободилась – если вы это имеете в виду... Раньше срока освободилась. Помог один человек, вытащил. А тут новая беда... У порога лежала...

– Ах, не говорите, беда приходит, откуда не ждешь, – вздыхает мама.

– Вот именно... Откуда не ждешь... Своими руками подтолкнула...

– Расскажите, расскажите по порядку. Что, в чем дело? – просит мама и, забыв про чай, усаживается напротив Храпалы.

– Не знаю, с чего начать, Нина Владимировна... И вспоминать невмоготу, и промолчать тяжело... Развлечений у нас, прямо скажем, негусто...

Мы ждем продолжения, но Храпаль застывает на стуле, смотрит в одну точку и молчит.

– При Абассидах Мерв, нынешние Мары, являлся одним из главных центров арабской учёности, – сообщает папа, потирая висок. – Насчитывал десять богатейших библиотек...

– При Абассидах – наверно... Очень даже возможно, – говорит Храпаль, очнувшись. – А сегодня... Это надо ж! – одно название чего стоит – Мерв... Мертвечина... И правда: тлен и распад... Танцульки в офицерском клубе... Кино, бывает, привозят. Тем и рады... Старшая моя, Эврика, Вика по-домашнему, ходила, случилось, с подружками. Что ж? – девочкам надо погулять... Пока молодые. Потом жена замечает – перестала, из дому ни шагу. Что-то, видно, не потрафилось там. Но ничего не сказала, ни словечка, ни полсловечка. Ну и удивительно это все-таки – как-никак лето, каникулы... Одноклассницы приходят, зовут, а она – нет, не пойду, и точка. А нам и ни к чему... Отчего бы вдруг такое затворничество... После стала жена замечать, лейтенантишка какой-то под окнами околачивается. Нет чтобы мне сказать... Поинтересовалась у нее: что это, мол, за топтун такой? А та молчит: не знаю. Ну и вот... – Петр Васильевич опять застывает.

– Да, и что же? – спрашивает мама.

– А вышла как-то жена на крыльцо, он к ней: позовите Эврику! Ну, она и говорит дочке: чего, мол, прячешься? Не хочешь встречаться, так и скажи, и пусть убирается. А та: я с ним не буду разговаривать, не пойду. Вот ведь какая дурочка! Ох, Паша... Ведь запросто можно было предостеречь. Пожаловалась бы мне, хоть бы намекнула, я бы ему таких чертей пропсал! Вмиг бы вылетел от нас вверх тормашками... – Храпаль обхватывает голову руками, закрывает глаза и громко, протяжно стонет.

– И что же? – повторяет мама.

– А эта дура, жена-то, мало еще, видать, учили уму-разуму, опять за свое: он к тебе пришел, не ко мне, ты и иди. Иди да иди! Своими руками вытолкнула... Вот это, Паша, самое страшное: своими руками...

– Я не понимаю... – говорит мама. – Он что же?..

– Даже дверь за собой не прикрыла. За порог ступить боялась. Наперед предчувствовала. Поговорили о чем-то минуту, он и

брякни: выходи за меня замуж! Жене это смешно сделалось, она следом сунулась, говорит: «Какое – замуж? Ты что, парень, сдурел? Ей шестнадцать лет, она в школе учится, в девятый класс перешла!» Договорить не успела, нож выхватил... – Храпаль замолкает. Папа и мама тоже молчат. Мы все молчим. – Прямо в сердце... Тут же, на крыльце... На глазах у матери. Крикнул: «Не мне, так никому!» - и прямо в сердце...

– Боже, какой ужас! – пугается мама. – Верно, нацмен какой-нибудь? Они все в этом отношении абсолютно сумасшедшие! Как увидят красивую девушку, последний разум теряют.

– Своими руками...

Папа прикусывает нижнюю губу, трет подбородок.

– И что же, по крайней мере поймали негодяя? – спрашивает мама.

– Поймали... Далеко не уйдешь... Пустыня. Каракумы. На следующий день вышли на след. Схватили... А по мне – лучше бы не поймали, я бы его убил, мне бы легче было.

– И что же – был суд? – интересуется мама.

– Был, конечно... Шесть лет получил...

– Как? Всего шесть лет? За убийство?

– А смягчающее обстоятельство нашли: безответная любовь... В состоянии аффекта... Судьи-то все местные – свой за своего...

– Но можно же обжаловать, – говорит мама. – Что же это? Совсем молоденькая девушка. В состоянии аффекта! Ничего себе аффект – заранее нож подготовил. Вот так – растишь-растишь...

– Обжаловать можно... – соглашается Храпаль. – Да вряд ли поможет: был бы какой троцкист или шпион... А так – безответная любовь... А у жены судимость... Все одно к одному...

– Если выпустили, какая же судимость? – говорит мама. – И вообще, откуда они могут знать про судимость? Я не понимаю...

– Ты, Нинусенька, многого не понимаешь, – замечает папа.

– В таком городке, как наш, да чтобы не знали? Все известно. Да и догадаться много ума не надо: где же она отсутствовала? Бросила малых детей и на Луну улетела?

– Может, сдохнет там, проклятый... – вздыхает мама.

– Вряд ли, – сомневается Храпаль. – Отсидит шесть лет и выйдет. Женится, детишек нарожает... А что? Молодой, вся жизнь впереди... Ладно, не хочу об этом. Мне теперь другое важно: убираться оттуда и больше не видеть. Ни барханов этих, ни развалин... Торчат из песка, как ежи противотанковые... Иной раз гляну – жутко делается... Сон не идет от всяких видений. Всегда ведь как убитый спал, не добудисься, а теперь от любого шороха вскакиваю... На войне не боялся, ты меня, Паша, знаешь, под пулями не сгибался, а тут... Мавзолеи эти, дворцы, цитадели, минареты – все порушенное, пустое, то занесет песком, а то вдруг высунутся и словно колышутся – призраки, бесовская камарилья. Только что голая степь была, и вдруг... Тени от них в лунную ночь – дрожь пробирает. И ветер между стен воет, будто шайтан...

– Ну, с переводом, я полагаю, у вас не должно быть затруднений, – говорит мама. – После такого несчастья просто обязаны перевести в другое место.

– Не нужно мне переводов – демобилизуюсь. Хватит, послужил родине... Выслужил свою награду...

– И куда же в таком случае? – интересуется мама.

– А вот предлагают место профессора в Чебоксарах. Заведующим кафедрой. Я поэтому и приехал. Должны утвердить. Я уже свое согласие дал.

– В Чебоксарах? – переспрашивает мама. – Это где же?

– А столица Чувашской республики.

– Вот как? Имеется и такая?

– Имеется, Нина Владимировна, имеется... Город на Волге – пониже Горького, повыше Казани. Сто тысяч населения. Чувашский государственный педагогический университет... Там и обособлюсь. Буду сеять разумное, доброе, вечное. Так-то...

– Ну что ж – вам и карты в руки, – одобряет мама. – Давно пора. Действительно, ученый человек, а тянете солдатскую лямку. Вообще не понимаю, зачем вам это потребовалось – военная карьера... Генералом все равно не станете. Чебоксары, конечно, не Москва и даже не Ростов, но все же, полагаю, лучше, чем Мары...

– Много лучше, – подтверждает Храпаль. – Мары – это знаете что? Нечто не существующее, квазиреальность, заколдованное царство, смерть собственной персоной...

– Да, Парфия, Ахемениды, Хорезмшахи, – перечисляет папа, – глубокая древность.

– Жуткое место, Паша... Желтые, грязные, источенные временем обломки... Торчат из барханов, как гнилые зубья, раскаляются на солнце до ста градусов – ей-богу, дотронуться невозможно... Разве только лепешки печь. И пекут ведь – прямо на камнях. Непонятно, не возьму в толк, как они там жили. Течет, к примеру, река и вдруг теряется в песках. Нету... Песчаная буря, в момент все песком заносит – и дома, и посадки. А вроде бы свидетельства имеются, огромный был город – больше Константинополя и Багдада.

– Вместе взятых, – уточняет папа.

– Не знаю, трудно поверить...

– Всему свое время, – замечает мама. – А насчет царства мертвых, тут вы меня извините, Петр Васильевич, – я, конечно, понимаю ваше состояние – но вы заблуждаетесь. Неуместная мистика. Странно слышать подобные речи от ученого.

– Это вы, Нина Владимировна, так говорите, потому что не побывали...

– Побывала или не побывала, а мертвое место, я вам скажу, – это не там, это как раз здесь. Все эти войны, революции – как катком проехали. А голод? Вспомните, один голод во что обошелся! Тысячи без ножа уложил. Без единого выстрела. Что там далеко ходить! Я своими глазами насмотрелась. Скелеты, обтянутые кожей, движутся, как в кошмарном сне, кожа и та посинела, живые трупы. Страшнее ничего не придумаешь – хуже всякой чумы и холеры. Уверяю вас, кто однажды такое наблюдал, того никакими призраками пустыни уже не напугаешь.

– Возможно... – соглашается Храпаль.

– Нет, я вас понимаю, вам сейчас не до чужих страданий.

– Да, пожалуй... Своя-то беда больнее бьет. Так уж человек устроен...

– Да, я понимаю, – повторяет мама.

– А тогда, Нина Владимировна, иначе про это толковали, – произносит Храпаль, помолчав. – Неизбежность классовой борьбы. Скачки и парадоксы диалектики...

– Ошибаешься, Петр, – поправляет папа, – скачки не имеют отношения к диалектике, скачкообразное развитие противоречит марксистскому подходу.

– Ну, Паша, тут уж ты меня извини! – удивляется Храпаль. – Я как-никак на этом предмете собаку съел.

– Бог с вами, Петр Васильевич, какая борьба, какая диалектика!.. – вмешивается мама. – Толпы погибающих. Бредущие неизвестно куда мертвецы. И это Кубань, край изобилия!..

– Возможно, – повторяет Храпаль. – Только мы-то молодые были, горячие, глубоко не сопоставляли. Голод – что ж, верно, был голод. Да он ведь и город не обошел...

– Ничего не пощадили, ничего не осталось, куда ни глянь, повсюду гибель и разрушение, – не может успокоиться мама. – Цветущие страны повержены в прах; то, что веками строилось, растоптано, стерто с лица земли. Вся жизнь разбита, изгажена, искорежена. И ради чего? Во имя каких таких истин? Вот Павел продолжение своего романа пишет. Не знаю, что он там пишет, но догадываюсь, что опять чушь какую-нибудь про тот же героизм проклятый. Какой, к черту, героизм посреди вселенского кладбища!..

– Нинусенька, ты обещала заварить чай, – напоминает папа.

– Да, конечно... Извините, Петр Васильевич, – мама тяжело вздыхает, подымается со стула. – Я от вашего рассказа как-то совсем потерялась. Как обухом по голове... Так что же? Вы говорите, это еще летом случилось?

– С полгода, почитай, – кивает Храпаль.

– Зачем же вы продолжали там торчать? Надо было сразу уехать.

– Надо... Да ведь подняться сил не было... Стыдно признаться, с кровати встать не мог. Ей-богу... Здоровый мужик, а с кровати сползти не мог... Такое вот состояние, Нина Владимировна. Как будто душу из тебя вынули и собакам бросили. Да и куда уехать? Чебоксары – они тоже сами в карман не лезут, за ними тоже побегать надо.

– Да, это верно, – соглашается мама. – Я вас очень и очень понимаю. Я и сама... Иной раз глаза открывать не хочется. Как представишь, что тебя ждет... А Горький – это что же, Нижний Новгород?

Дверь в класс распахивается и в нее боком протискивается директор Марья Ивановна – собственной персоной и в сопровождении Анастасии Георгиевны. Анастасия Георгиевна следует на шаг позади начальницы. Марья Ивановна еще больше растолстела, скоро уже, наверное, вообще ни в одну дверь не пролезет. Мы все встаем и замираем – если уж явилась, не поленилась, вползла на третий этаж, значит, обнаружила что-то чрезвычайное. Сейчас разразится воплями, обрушит на наши головы весь гнев, вскипевший по дороге в ее необъятной груди. Интересно, кто на этот раз провинился и в чем?

Марья Ивановна подтаскивается к доске, окидывает класс привычным злобным взглядом и приказывает:

– Садитесь!

Девочки осторожно садятся, крышки парт неслышно опускаются на место.

– Небось слышали? – отдувается Марья Ивановна. – У нас, у москвичей, нынче сложное и очень ответственное положение. Особо в нашем районе, прилегающем к гостинице «Советская». Американцы к нам приехали. Делегация.

– Да, – подхватывает, воспользовавшись паузой, Анастасия Георгиевна, – в Москву. В гостинице «Советская» живут.

– И они, конечно, будут устраивать тут провокации! – восклицает Марья Ивановна. – А ваша задача... на эти провокации ни в коем разе не реагировать. Они станут кидать вам апельсины! Специально будут швырять апельсины... – отдувается она, прежде чем продолжить свою речь, – чтобы зафотографировать... как советские дети бросаются, как щенки... подбирать американские апельсины. Кланяться им в ножки! И тут вы обязаны продемонстрировать свое полное безразличие и презрение. Кто поднимет хоть один апельсин, будет строго наказан. Ясно?

Мы все молчим, потрясенные услышанным. Неужели вот так вот запросто будут раскидывать настоящие апельсины?

Марья Ивановна еще раз обводит класс гневным взглядом и, торжественно покачиваясь, покидает нас.

– Поглядеть, конечно, интересно, – говорит Анастасия Георгиевна, когда за ней закрывается дверь. – Кто на Слободке живет, тому, можно сказать, по дороге. Но ни в коем случае! Не подбирать, даже не думать и не мечтать! Лучше и не оборачивайтесь в их сторону. Пусть что хотят делают, а вы помните, кто вы – советские школьники! У советских школьников на первом месте своя пионерская гордость. Они бросают, а вы – мимо. С высоко поднятой головой. И все! Пускай подавятся своими апельсинами. Чтоб не торжествовали!

– Ну, что? – спрашивает Ика после уроков. – Идем апельсины собирать?

– Не, не идем, – объявляю я твердо.

– Чего так?

– Не интересуюсь. На картинке погляжу.

– А я пойду, – решает Ика. – Вдруг и вправду достанется...

– Достанется тебе, когда сфотографируют. Так достанется, что не обрадуешься.

Мне очень не хочется, чтобы она шла туда, тем более без меня.

– Я лицо шарфом заматаю, – обещает Ика.

– По одежде узнают, – пугаю я.

– Не узнают... А ты струсила.

– Не струсила, а просто не хочу...

– Ну и зря, – говорит она. – Подумаешь, какая сознательная!

– Ну как? – спрашиваю я на следующий день. – Много набрала?

– Ничего такого не было, – признается Ика, – ни американцев, ни апельсинов. Мы целый час там околачивались, все надеялись, что выйдут, задрогли, как цуцки, – никого не видели. Даже к самому подъезду гостиницы ходили – ничего подобного. Один какой-то выскочил – фиг его знает, американец или наш. Наверно, наш – сел в машину и уехал. На нас ноль внимания.

– Да небось все враки, – объявляет Варя Батищева, – может, и не приезжало в Москву никаких американцев. Нарочно панику развели... Апельсины!.. Как же – держи карман шире! Нашли дураков...

– Ой, девчонки! – смеется Света Васильева. – Знаете что? Может, их вообще нету – американцев этих?

– Где нету?

– Нигде! Вообще нету.

– Как это – нету? А американская агрессия? Каждый день в газетах пишут.

– Мало что пишут! Нарочно придумали и пишут. О чем-то надо писать.

– Не, не может быть, – решает Вера Лукашова. – Даже песня такая есть: Колумб Америку открыл, страну далекую, чужую – дурак! Он лучше бы открыл на нашей улице пивную!

– Ну, пивных-то и без Колумба хватает, – говорит Варя, – на каждом углу – пользуйся, заливай zenки...

– Грибы, – объясняет Валерия Осиповна, наша новая ботаничка, – следует считать не только растениями, но и животными, потому что грибы – это не только то, что мы привыкли собирать в лесу, но и очень многое другое. Например...

Валерия Осиповна совсем не вредная, только жутко занудная. И немного глуховатая. Но что делать? – кто-то же должен преподавать ботанику. Если Нина Константиновна все равно ушла от нас в мужскую школу... Девочки придумали, как доводить Валерию Осиповну: бросают на пол карандаши и катают ногами. Когда сразу сорок человек катают карандаши, получается такой замечательный гул. И непонятно, откуда он идет. Валерия Осиповна думает, что снаружи, с улицы, время от времени подбегает к окну и пытается разглядеть, что там происходит. Мы смеемся. Она догадывается, что мы смеемся над ней, но не может понять из-за чего.

Вообще-то мы с Ирой Грошевой, моей соседкой по парте, почти никогда не катаем карандаши. Ира говорит, что это нечестно – просто так ни за что издеваться над человеком, тем более пожилым. Мне тоже капельку жалко Валерию Осиповну, но главное, мне жалко карандаши – они от этого портятся. Неприятно даже брать их потом в руки, такие они становятся грязные и облупленные.

– Грибы бывают шляпочные, плесневые и паразиты, – объясняет Валерия Осиповна. – Вы уже учили в пятом классе про фотосинтез. Из-за того, что грибы не вырабатывают хлорофилл, им для питания необходимы готовые органические вещества, и это приближает их к животным.

– А почему они не вырабатывают хлорофилл? – спрашивает Света Васильева нарочно таким тоненьким младенческим голоском.

Понятно, что хлорофилл ее несколько не интересует, просто хочется посмеяться над ботаничкой.

– Потому что не вырабатывают, и все! – сердится Валерия Осиповна. – Вот мы, люди, тоже не вырабатываем хлорофилл.

– Потому что приближаемся к животным, – произносит Рита Кузнецова совершенно серьезно.

– Это точно! – соглашается Варя Батищева.

В классе тепло и сонно, слабенькая лампочка льет жиденький желтый свет, хорошо сидеть и совсем не двигаться, дремать под ровное урчание раскатываемых карандашей.

– Смотри, Таня дала почитать! – подталкивает меня потихонечку Ира.

Таня Карпова сидит за нами, на второй парте, вместе с Ниной Макаровой. Она новенькая у нас в классе. Хорошенькая такая девочка, аккуратненькая, с нежным маленьким личиком. Живет на Слободке, там же, где Ира. Третью наших девочек живет на Слободке: и Варя Батищева, и Тася Потачкина, и Рита Шамайская – вообще многие. Таня все время читает. На уроках читает, на переменках читает, по дороге в школу и по дороге из школы. Никогда не выпускает из рук книги. Если ее о чем-то спрашивают, говорит «да» и продолжает читать. Даже когда ее вызывают к доске, не слышит.

Таня отдала нам книгу, которую уже прочла. Растрепанную, без обложки, страницы пожелтели, некоторых вообще не хватает, и шрифт с ятями, фитой и ижицей – вот бы мама обрадовалась, если бы увидела.

Мишука сошел с крыльца, раскидывая ноги, и стал глядеть на окна мезонина, где были спущены занавески. Глядел долго, грозил туда арапником, расправил усы.

Я хочу перевернуть страницу, я читаю быстрее, чем Ира, наверно, потому, что я уже читала много таких дореволюционных книг: «Князя Серебряного – Серебряного», «Упыря», «Демона» – не Лермонтова «Печальный Демон, дух изгнания», а повесть Павлова. Все с ятями и маленькими буквами после вопросительного и восклицательного знаков. Бывает, что вопросительных знаков вообще нет, вместо них стоят точки.

– Давай я эту вырву, а ты дальше читай, – предлагает Ира.

– Что ты! Жалко...

– Да она и так вся испорченная! – Ира решительно выдирает недочитанную страницу, а всю остальную книжку отдает мне.

Скоро на крыльце показались, запахивая шали и капоты, девушки: высокая и худая Клеопатра, испуганная Марья – неряха, растрепанная, в башмаках на босу ногу, позади них прислонилась к колонне красавица Дуня, – равнодушно глядела на небо, в дверях жались Фимка и Бронька, деревенские девочки.

– Вы, – сказал Мишука, поводя рыжими усами, – смотрите, я на три дня уезжаю, так вы у меня, – он хлестнул арапником по голенищу, – смотрите, чтобы ни одна у меня... того...

– Очень нам нужно, – сказала Клеопатра, скривила рот.

Красавица Дуня лениво повела плечами.

– Привезите сладкого, – сказала она, глядя на небо.

Приходится вырвать и следующую страницу, потому что я ее уже прочла, а Ира даже не начинала. А ту, первую, она отдает на задние парты.

Между молодыми Репьевыми, братьями Никитой и Сергеем, сидела молодая, рослая, светловолосая девушка. В руке она держала красный зонтик, соломенная шляпа ее откинута на спину, на ленте; светлые глаза, смеясь, встретились с выпученным взглядом Мишуки. Он снял картуз и поклонился. Тройка

далеко ушла вперед, а Мишука все еще думал: «Кто такая? кому бы это быть?» И перебирал в медленной памяти всех родственников. «Не иначе, как это – Вера Ходанская, – она».

Мы вырываем еще страницу и еще, теперь уже весь наш ряд читает про Мишуку, Веру и братьев Никиту и Сергея. В классе становится тихо, не слышно больше ни разговоров, ни раскатывания карандашей под ногами.

– Грибы, – доносится откуда-то издалека, как будто из какого-то другого места, – разлагают гниющие остатки отмерших организмов, и, между прочим, для них характерно внешнее пищеварение...

Ольга Леонтьевна взглянула поверх очков:

– Прекрасно знаешь, о чем я думаю.

– О Верочке? Да, да. Я тоже о Верочке думаю. – Петр Леонтьевич, опершись о кресло, привстал и сел удобнее.

Страница за страницей перепархивают с парты на парту, сначала на средний ряд, а потом и на тот, что у двери.

Из сада на балкон вбежала Вера, за ней – Сергей, прыгавший через три ступеньки, позади шел Никита, улыбающийся застенчиво и добро. Вера протянула Мишуке обе руки, весело взглянула на него серыми быстрыми глазами:

– Познакомимся, дядя Миша. Помните, как вы меня катали на качелях?

– Да, да, вспоминаю, кажется, – Мишука поднялся с трудом, – ну, как же, – Верочка... Да, да, качал; вспоминаю совершенно теперь...

Он нагнул к плечу голову. Его медвежьи глазки округлились. Вера взглянула в них и вдруг покраснела. Лицо ее стало милым и растерянным. Но так было только с минуту, она приподняла платье и присела важно:

– Поздравьте, – завтра мне девятнадцать лет...

– К полезным грибам относятся дрожжи и пенициллин... – жужжит где-то далеко, будто муха в соседней комнате, Валерия Осиповна.

Никто не слушает ее, но ей все равно.

Никита замедлился на балконе. Стоя у колонки, протирал он пенсне и все еще смущенно улыбался, затем лицо его стало печальным, – и весь он был немного нелепый – в чесучовом пиджачке, клетчатых панталонах, тщательно вымытый, рассеянный, неловкий.

Вера, обернувшись в дверях, глядела на него, потом вернулась и стала рядом.

– Никита, мне грустно, – не знаешь, почему?

– Что ты сказала?

– Я говорю – грустно, – она взяла его за верхнюю пуговицу жилета, он вдруг покраснел и улыбнулся жалобно.

– Нет, Верочка, не знаю, почему...

– Ты что покраснел?

– Нет, я не покраснел, тебе показалось.

Вера подняла ясные глаза, глядела на облако, ее лицо было нежное, тоненькое, на горле, внизу, дышала ямочка.

– Ну – показалось, – проговорила она нараспев.

Минуту спустя Никита спросил:

– Верочка, ты очень любишь Сергея?

Еще страничка, еще...

В камышах тревожно закричала утка.

– Нет, я начал грести, я и буду грести, – сказал Мишука. Ему очень нравились ноги Веры в кружевных чулках, кружево ее подобранных юбок...

Вера села за самовар. Ее красивые, голые до локтя, руки, на которые не отрываясь глядел Мишука, казались свежими и душистыми, как разливаемый ею чай...

Ольга Леонтьевна поднялась и предложила гостям идти в дом – ужинать.

Вера вдруг сказала Мишук:

– Идемте, дядя Миша.

Взяла его под руку, повела по влажной серебристо-сизой от лунного света поляне, дошла до скамейки и села.

– Душно под липами...

– Душно, да, – сказал Мишука.

Вера прислонилась головой к его плечу:

– Ах, дядя Миша...

– Что?

– Нет, я говорю только – ах...

Мишука сдержанно засопел:

– Вера?

– Что, дядя Миша?

Он стал глядеть на ее тоненький, бледный в лунном свете профиль, придвинулся ближе, сопнул:

– Какое твое отношение ко мне?

– Люблю, дядя Миша...

Этому мерзкому, разбухшему от водки и всяческих безобразий старикашке она говорит «люблю»?.. Зачем? Зачем она вообще пошла с ним?

– Поедем ко мне. Ну их всех к черту! Обвенчаемся. Слушай, едем.

– Вы с ума сошли!

Желтая лампочка под потолком горит теперь как-то иначе, каким-то другим, липким светом, класс наш разбухает, наливается чем-то сладким, тягучим. И сами мы делаемся чем-то другим: как будто не отдельные девочки, не каждая сама по себе, и вообще никакие не ученицы шестого класса женской средней школы номер сто шестьдесят три – никакого класса, никакой школы и даже никакого «мы». «Мы» – это многие, а мы уже не многие, мы что-то такое одно, неразделимое. Душное, тяжкое облако нависает над партами. Как будто это нас вместе с Верочкой ухватил поганый Мишука, страшно вытянул губы и зарылся губами и усами...

Странички переползают с парты на парту, обвиняют, клеивают. Грибница – вот что мы такое. Единая грибница, расплзшаяся под полом и высовывающаяся наружу отдельными головами-грибами.

Из-за сиреневой куртины, из тени выступил Никита. Мишука остановился, круто повернул и пошел назад, в гущу сада. Вера подбежала к Никите:

– Пожалуйста, доведи меня до комнаты. Голова закружилась, не знаю отчего.

Никита взял Веру под руку и, пройдя несколько шагов, сказал шепотом, заикаясь:

– Я видел, Вера...

Дверь класса приоткрывается, в щель всовывается какая-то учительница, мы видим ее, но как бы и не видим.

–...используется для получения сыра рокфора... – доносится от доски.

Какого сыра? Причем тут – сыр?

– А, это вы... Я думала, никого нет, – говорит чужая учителька.

Зачем она тут?

– Я спрашиваю: как понять твою наглость по отношению Веры?

– Убирайся, послушай, к чертям, – сказал Мишука.

– С удовольствием. Предварительно нам только придется с тобой стреляться.

– Что? – Мишука привстал.

Но Сергей сейчас же ударил его по щеке. Мишука опять сел, страшно сопя, – начал расправлять локти, но соображение у него работало туго.

– Ну, ну, – только сказал он.

Братья Репьевы озабоченно ушли.

Мишука, все свирепея, сидел на лавке, пот лился по его вискам и носу из-под фуражки... Наконец он замахнулся и со всей силы ударил по столу – доска треснула.

Взяв дульный ящик, братья бегом вернулись к пруду, но беседка была пуста.

В узком месте тропинки из акаций вышла навстречу Вера. Губы ее дрожали, пальцы на груди перебирали шаль.

– Простите меня, Никита, Сережа, – проговорила она, сдерживая короткие вздохи...

– Господь с тобой, Верочка, вот ерунда, иди спать, – проговорил Сергей и увидел ее огромные глаза, полные слез, и, чувствуя, что сейчас произойдет то, что не совсем было нужно, чтобы происходило, слегка, но твердо отстранил Веру, кивнул ей, блестя глазами, и ушел посвистывая.

«То, что не совсем было нужно, чтобы происходило...» То есть ему совершенно не нужно. Боялся, что придется сказать ей что-то такое, чего не хотел говорить.

Никита задержался около Веры. Она медленно подняла на груди шаль и прикрыла ею низ лица и рот.

– Верочка, ты не думай, – Сережа тебя очень, очень любит, – проговорил он запинаясь.

Да уж, любит...

– Грибы размножаются вегетативным, бесполом и половым путем, – сообщает Валерия Осиповна.

Бесполом?..

– Бесполое размножение происходит при помощи спор. Одновременно для грибов характерно и половое размножение. Но этот способ наука изучила еще недостаточно...

– Надо же, – бормочет в своем углу Варя.

– Ну вот, ты и плачешь, – сказал он, садясь против нее.

– Дядя, уходите.

– Уйти-то я уйду, а ты все-таки расскажи, отчего ты плачешь, – голова, что ли, болит?

– Да, болит.

– Кто стрелял-то?..

– Сережа.

– В кого?

– В грачей.

– Ну-ну, Верочка, – Петр Леонтьевич положил ей руку на голову, – дитя милое?

– Что, дядя? – Вера сразу еще громче заплакала, легла лицом в подушку.

– Сережу очень любишь?

– Да.

...вертя в пальцах тавлинку с нюхательным табаком, Петр Леонтьевич не заметил, как в комнату вошел Сергей.

– Ты ко мне, папа?

– Да, да, к тебе, дружок. Притвори-ка дверь.

Сергей усмехнулся, затворил дверь и, став перед отцом, глядел в глаза с той же усмешкой. Петр Леонтьевич взял сына повыше локтя, сморщил нос:

– Сережа, скажи мне, по чистой совести, – ты любить способен?

– Да, папа, способен.

– Видишь ли, дело вот в чем. Ах, Сережа, если бы ты знал – какой это удивительный человек. Ты прямо недостоин ее любви... У тебя, знаешь, в глазах что-то такое новое для меня, что-то легкомысленное...

– Ты хочешь меня спросить – люблю ли я Веру? – насмешливо, почти зло, спросил Сергей.

– Подожди, подожди, ах, как ты всегда забегаешь... Я говорю, – у тебя что-то легкомысленное... Вера – удивительная девушка, такое сокровище, такая милая, прелестная душа. Но опасно ее спугнуть. Спугнуть, и она на всю жизнь затаится, – ты понял?.. Нужно страшно деликатно с ней... Я, видишь ли, являюсь сватом, друг мой...

Сергей, нагнув голову, заходил по комнате. Петр Леонтьевич обращившись к нему, как подсолнечник, мигал все испуганнее. Сергей остановился перед отцом и, не глядя на него, сказал твердо:

– Прости, но на Верочке я жениться не могу.

– Не можешь, Сережа?

– Я очень уважаю и люблю Веру. Да. Но – не жениться. На что мы будем жить? Зависеть от тети Оли? Поступить в земство статистиком? Народить двенадцать человек детей? Я – нищий. Петр Леонтьевич, жалко улыбаясь, глядел себе под ноги. Сергей опять заходил.

– Я уезжаю в Африку, – сказал он.

– Так, так.

– В Трансвааль. Во-первых, – там меня еще не видели, – это раз. Во-вторых, – там есть алмазы и золото. А Вера... – он опять остановился, черные глаза его блестели, – пусть Вера выходит за Никиту. Во всех отношениях это хорошо, честно, да.

Одной страницы не хватает, но это не важно – можно догадаться, что там написано.

И Вера сказала едва слышно:

– Хорошо. Я выйду замуж за Никиту.

Это не потому она вдруг решила выйти за Никиту, что ей обязательно нужно теперь же за кого-нибудь выйти, это чтобы отмстить Сергею – возьмет и назло ему выйдет за его родного брата. За то, что ушел, посвистывая.

С открытой книгой, но не читая, Вера лежала на низеньком диванчике, обитом ситчиком. За бумажным экраном с черными чеповечками колебалась свеча. Брови Веры были сдвинуты, сухие глаза раскрыты. Она приподнималась на локте прислушиваясь. Уже несколько раз из кустов голос Сергея шепотом звал: «Вера, Вера».

Она не отвечала, не оборачивалась, но чувствовала – он стоит у окна. Затем стремительно она поднялась. Сергей стоял с той стороны окна, положив локти на подоконник. Глядел блестящими глазами и усмехался.

– Что тебе нужно? – Вера затрясла головой. – Уйди, уйди от меня. Сергей ловко вспрыгнул на подоконник, протянул руки. Вера глядела на его короткие сильные пальцы. Он взял ее за локоть, обвил ее спину. Вера присела на подоконник. Закрыла глаза. Молчала. Только по лицу ее словно скользил темный огонь.

– Люблю, милая, – сказал он сквозь зубы, – не гони. Не будь упрямая.

Вера коротко вздохнула, опустила голову на плечо Сергею. Он наклонился, но губы его скользнули по ее щеке.

– Не надо, Сережа, не надо.

Она слышала, как страшно бьется его сердце. Теперь она чувствовала эти удары – грудью, своим сердцем. Сергей охватил ее плечи. Стал целовать шею.

– Можно к тебе, Вера, можно?

– Нет. – Она откинула голову, взглянула ему в лицо, в красные глаза. – Не трогай меня, Сережа, я ослабею.

Он прильнул к ее рту. Она чувствовала – его пальцы расстегивают крючочки платя. Тогда она медленно, с трудом оторвалась от него. Он упал ей головой в колени, дышал жарко. А рука все продолжала расстегивать крючочки.

– Сережа, – сказала она, – оставь меня. Сегодня я дала слово Никите. Я его невеста.

– Вера, Вера, это хорошо... это хорошо... Я же не могу на тебе жениться... Тем лучше... Выходи, выходи – все равно – ты моя...

– Сережа, что ты говоришь?

– Глупенькая, пойми, – ты его не любишь, и не он будет...

– Что? Что...

– Он ничего не узнает. Пойми – он будет счастлив от самой скупой твоей милости... Но я, Вера... С ума схожу... Так все делают...

Неужели действительно – все?

Мы с мамой как члены семьи писателя можем посещать всякие мероприятия и выступления в ЦДЛ – Центральном Доме Литераторов. Раньше мама не особенно этим интересовалась, а теперь без конца ходит на разные лекции и меня таскает с собой, потому что боится гололеда – я должна крепко держать ее под руку, чтобы она не поскользнулась. Иногда лекции бывают интересные, например, «Есть ли жизнь на Марсе?» или «Удивительный подводный мир», а иногда совсем скучные: «Противостояние колониальной экспансии Великобритании» или «Развитие принципов социалистического хозяйствования».

Маму больше всего интересуют средневековая история (потому что там много ужасных злодеяний), достижения косметологии и проблемы долголетия. Но сегодня мы явились на лекцию «Домашний текстиль, ковры, шторы, занавеси и драпировка». От одного названия уже пахнет пылью. Для начала мама заглядывает в ресторан, папы там нет, зато обнаруживается какая-то ее знакомая старушка. Мама направляется к ее столику и радостно приветствует:

– Здравствуйте, Вера Михайловна! Какая встреча – сто лет вас не видела!

– Да, верно, давно не приходилось, – соглашается Вера Михайловна не слишком обрадованно.

Взгляд у нее ясный и цепкий. Мне начинает казаться, что она знает про нас что-то не очень хорошее.

– Познакомьтесь, пожалуйста, – говорит мама и подталкивает меня вперед, – моя дочь Светлана.

– Да, большая девочка, – замечает Вера Михайловна тем же скучным голосом. – Я ее помню крошечной...

– Это Вера Михайловна Инбер, – объясняет мне мама. – Поздоровайся.

Вера Инбер? Знаменитая Вера Инбер? Папа иногда читает ее стихи:

Пыль повсюду – на флагах,
На столе, на книгах, на стене.
Когда я умру, в моих бумагах
Найдут твои письма ко мне...

У каждого, кто прочтет их –
У друга, у врага ли, –
Дрогнет сердце, окунувшись в их струю,
Он скажет: «Такою любовью пугали
Меня всю жизнь мою...»

Он скажет: «Мир узок и тесен,
Как маленький круглый зал,
Отчего же не я ее встретил
И не я ей это писал?...»

И про Джека:

«Земля бежит от меня так,
Будто я ее съем.
Люди не крупнее собак,
А собак не видно совсем».

Хозяин смеется. Джек смущен
И думает: «Я свинья:
Если это может он,
Значит, могу и я».

На земле уже полумертвый нос
Положил на труп Джек,
И люди сказали: «Был пес,
А умер, как человек».

– Поздоровайся! – повторяет мама.

Я не знаю, как я должна поздороваться. Сказать «здравствуйте»? Смешно – я ведь не маленький ребенок. Или: «очень приятно», как это делает папа?

– Растет форменным дикарем, – жалуется мама и принимается расспрашивать Веру Михайловну, как она поживает и что у нее нового.

Я чувствую, что той совершенно не хочется отвечать. Совершенно не радуется эта встреча и не нужен этот разговор. Официантка ставит перед ней тарелку с каким-то дымящимся кушаньем, она принимается за еду, мама задает еще несколько никчемных вопросов, но наконец догадывается распрощаться, и мы возвращаемся обратно в зал.

Слушателей собралось мало, всего человек двадцать, может, даже меньше, и нас вместе с лекторшей отправляют на балкон. Мы с мамой усаживаемся на стульях в последнем ряду, ни справа, ни слева от нас никого нет – уже хорошо...

– Очень важный этап оформления жилища – это его декорирование при помощи текстиля, – сообщает лекторша. – Я имею в виду не только занавески и шторы, но и обивку, подбор ковров, покрывал, постельного белья...

– Подбор ковров!.. – хмыкает мама. – Интересно, где сегодня водятся ковры?

– В кабинетах у начальства, – усмехается кто-то впереди.

Лекторша недовольно хмурится.

– Выбор текстиля зависит от цветовой гаммы помещения, ткани должны гармонировать с общим стилем, придавать жилищу солидность, но в то же время радовать глаз. В гостиной основное внимание следует уделить окнам...

– Вот как – в гостиной?.. – бормочет мама. – Помилуйте, у кого теперь сыщешь гостиные? Разве что у Фадеева или Симонова...

– Да что же это такое! Не мешайте, наконец, слушать, – оборачивается какая-то женщина.

Мама вздыхает.

– Правильно подобрать шторы не так-то просто, – объясняет лекторша. – Если стены обиты темным дубом, то желательно выбрать шторы более светлого оттенка. Лучше всего в этом случае будут смотреться однотонные блестящие шторы из тяжелого шелка или атласа.

Мама уже клует носом. Это теперь часто с ней случается: зайдет с улицы в тепло, усядется в кресло и тут же начинает оседать, клониться на бок и посапывать. Умудряется уснуть почти на всех лекциях, даже про свои любимые средние века. Сначала еще пытается встряхнуться, время от времени приоткрывает глаза, но потом сдается.

– Если в комнате есть письменный стол – а у писателей, я полагаю, имеется письменный стол, – шутит лекторша, и все слушатели одобрительно хихикают, – то вместо штор лучше использовать легкие занавески, которые не будут мешаться на рабочем месте.

Мешаться... Письменный стол у нас имеется, небольшой, но все-таки настоящий письменный стол, с ящиками и дверцей. И занавески тоже имеются, папа привез из Германии – полотняные, с вышитыми на них коричневыми оленями, и по краям веточки с зелеными листиками, а в углах на обеих половинках красивые буквы S и J, но на одной, той, что висит ближе к шкафу, есть заплатка. Маленькая заплатка, но на свет ее все-таки видно. Она первым делом бросается в глаза. А прикрывает она аккуратненькую круглую дырочку. Мне почему-то все время кажется, что это след от

пули. Каждый раз, когда я оборачиваюсь к окну, я вижу ее, и она пугает меня. У кого она висела, эта занавеска? Кто ее залатал? Кто был этот S и J? И самое главное, как она попала к папе? Вот что меня мучает – как эта занавеска попала к папе?

– Обивка мягкой мебели также должна сочетаться с цветом стен, – вещает лекторша и показывает картинку, на которой нарисован диван, заваленный пухленькими подушечками, и несколько маленьких кругленьких столиков с кружевными салфетками, такими же, как вяжет тетя Дуся. – При очень высоких потолках над кроватью можно устроить балдахин. Полностью драпировать потолки сегодня уже не принято. Большое значение имеет постельное белье, – лекторша вытаскивает еще одну картинку, – с его помощью можно подчеркнуть стиль спальни: строгий, классический, или с деталями рококо и барокко, то есть с рюшами и кружевами.

Я не знаю, чем рококо отличается от барокко, но у мамы есть один такой пододеяльник, весь украшенный прошвами и пышными кружевами, ей его сшила Лидочка, ее любимая подруга. Для того чтобы надеть этот пододеяльник на одеяло, приходится застегнуть сорок восемь пуговиц: по шестнадцать с каждой длинной стороны и по семь с короткой. Правда, мама бережет его и нечасто пользуется.

– Наряду с тяжелыми шторами, смягчающими внешний свет, в спальне рекомендуется повесить и легкие воздушные занавески, придающие комнате особое очарование...

Мама окончательно роняет голову на грудь и принимается громко храпеть. Я уже не смотрю ни на какие картинки, вообще ни на кого не смотрю, мне хочется исчезнуть, убраться отсюда, провалиться сквозь землю! Сквозь пол. Я слишком туго заплела косы. Всю голову сдавило, как будто на меня надели шлем из толстой резины.

– Да что же это?! – возмущается та же женщина, которая уже злилась на маму за ее разговоры. – Кто она такая? Откуда она взялась? Кто-нибудь знает ее?

Лекторша замолкает, все собравшиеся оборачиваются и смотрят на нас.

– Это твоя мама? – спрашивает женщина.

Я молчу.

– Разбуди ее! – требует женщина.

Я молчу. Молчу и смотрю в другую сторону. Разбуди!.. Чтобы она накинулась на меня. Мама громко храпит, я сижу и молчу.

– Девочка! В чем дело? Ты что, не можешь разбудить ее?

Нет, я не могу разбудить ее!

– Будите вы сами.

Женщина возмущенно хмыкает, встает со своего места, подходит к маме и трогает ее за плечо.

– Извините, гражданочка!

Мама не просыпается: продолжает спать и время от времени всхрапывает. Женщина трясет ее посильней. Мама открывает глаза и пугается:

– Что такое? Что случилось?

– Ведите себя, пожалуйста, потише, – говорит женщина строго. – Вы мешаєте!

– Поттише? – удивляется мама. – Что за глупости?.. Каким образом я могу мешать? – вздыхает, поправляет на коленях ридикюль,

склоняет голову к одному плечу, потом к другому и снова задремывает.

– Безобразие! – женщина вскакивает, решительно направляется в нашу сторону и со злостью трясет маму.

– Что? В чем дело? – вскрикивает мама. – Чего вы от меня добиваетесь?

– Тишины! Вы тут не у себя в спальне, вы тут в общественном месте!

Вся кожа у меня на голове горит, как будто с меня снимают скальп.

– Вы не даете людям слушать!

– Я? Не даю людям слушать? Что за дикая инсинуация! – обижается мама.

– Вы храпите, как грузчик! Как ломовой извозчик!

– Я – храплю?! – голос у мамы дрожит. – Я не понимаю... Вы что – издеваетесь надо мной? С какой стати я буду храпеть?

– Я не собираюсь вступать с вами в дискуссию, – говорит женщина. – Отправляйтесь, пожалуйста, домой.

– Вы храпите, как медведь, и срываете мне лекцию! – подтверждает лекторша.

– Действительно, – присоединяются к ней еще несколько голосов, – нужно же совесть иметь!

– Уму непостижимо! Что за бессмысленный хамский навет? – отбивается мама. – Я вообще никогда не сплю! Я уже много лет страдаю бессонницей...

– Извините, это здесь никому не интересно, – говорит женщина. – Вас по-хорошему просят: немедленно покиньте помещение. Не заставляйте выводить вас силой.

– Да уж, конечно, ни одной минуты не останусь! – мама поднимается наконец со стула. – Слишком большая честь. Кто бы мог поверить? Такая наглость, и где? В, казалось бы, приличном месте...

– Между прочим, это уже не первый случай, – вспоминает кто-то. – Нужно предупредить администрацию, чтобы ее не пускали.

Мы направляемся к лестнице с черными резными перилами и начинаем спускаться.

– Особый шик придает спальне китайская или японская ширма, – раздается за нашей спиной.

Наина Ивановна привела себе мужа. Теперь они каждый вечер пьют у нее в комнате шампанское и громко смеются. Как будто им каждый вечер показывают жутко смешное кино.

– И был бы еще нормальный человеческий смех, – волнуется Елизавета Николаевна, – а то ведь завывание какое-то дьявольское! Можно подумать, черти их щекочут.

– Да, – соглашается мама. – Совершенно непристойный гомерический хохот, вся квартира содрогается. И так не могу уснуть, а тут еще новая напасть. Последний стыд потеряла, мерзавка! И хоть бы сидела в своей комнате, ан нет – носится по коридору.

– Видали? Виноград поволокла! – сообщает Елизавета Николаевна.

– Еще бы! – говорит мама. – Заманила дурака, теперь уж, будьте уверены, не отпустит, пока не облупит, как луковку. Последнюю шкуру сдерет. А после вышвырнет, как изношенный лапоть. Он

ведь – вы слышали? – почти в два раза моложе ее – двадцать три года. Это мне его мать сообщила. Приходила, бедная, стояла тут в коридоре, плакала. А что можно сделать? Ничего не попишешь – попался на крючок. Не он первый, не он последний...

– Сволочь, проститутка драная, – постановляет тетя Настя.

– Еще и болезнью какой наградит, – прибавляет Елизавета Николаевна.

– Насчет этого не знаю, так что ничего не могу сказать, – размышляет мама. – Не исключено, конечно, при таком образе жизни... А что? Ей теперь море по колено: матку удалили – никакая беременность больше не грозит. Подумать только, приличные девушки ходят никому не нужные, а эдакая потаскуха молодого подцепила!

– И не только смех этот бесовский, – Елизавета Николаевна оглядывается на меня, придвигается к маме поближе и бормочет ей на ухо: – Если бы только смех! Скажут полночи, как двое леших на Лысой горе, незнамо что вытворяют... Визжат, как свиньи, ей-богу! Порядочные люди спят, а они в ванную бегают, под дверью у меня срамные слова выкрикивают... Такие, Нина Владимировна, звуки издают, что сказать стыдно! Хоть уши затыкай. У меня дети, а тут... Хуже, чем в борделе, живем...

– Ну, в борделе я, признаться, никогда не бывала, – вздыхает мама, – не случилось, но вы правы, все должно иметь какие-то границы.

– А вот и надо милицию вызвать! – предлагает тетя Настя. – Пускай хахаль ейный придет, полюбуется на свою кралю, как она тут с новым дружком милуется.

– Да, но что милиция может сделать? – сомневается мама. – Законный муж.

– Законный, как же! – не верит тетя Настя. – У ней таких законных цельный полк конный!

– Нет-нет, Настенька, – говорит мама, – я своими глазами видела, она мне специально паспорт показала, все чин чинарем, комар носа не подточит: и штамп, и прописка.

– Штамп! – хмыкает тетя Настя. – Небось сама и проставила.

– А что вы думаете? Такая змея на все способна: и подпись, и штамп, и любую печать организует, – поддакивает Елизавета Николаевна. – У нас на Немчиновке одна из обыкновенного школьного ластика печать себе соорудила. Два года пользовалась.

Мама морщится, но ничего не говорит. Елизавете Николаевне она не может сказать: «Чтоб я не слышала этих мерзких слов!». Приходится перетерпеть «ластик». Весь свет не переспоришь.

– А после, если потребуется, этот выкинет и новый получит. Долго ли? Заявит: потеряла. Или припрячет для другой какой цели.

– Это верно – авантюристка такая, что пробу ставить негде... – вздыхает мама. – Но мне кажется... Я при случае спрошу у Тони, что там в домовый книге записано.

– А что записано? – фыркает Елизавета Николаевна. – Что в паспорте стоит, то и запишут. Проверять, что ли, станут? Это честного человека затаскают до полусмерти, а такой гадине на слово верят.

– Да, куда ни кинь – везде клин... – соглашается мама. – Лучше уж не соваться.

Пришло письмо от Антонины Ратке, дочери первого маминного мужа Пахомова, и мама хочет, чтобы тетя Мура тоже прочитала

его. Когда-то, когда тетя Мура еще была женой Лидочкиного брата Сергея, они все жили где-то там, на юге, в Азове или в Таганроге, поэтому тетя Мура знает эту Антонину. И другую дочь Пахомова, ту, которая умерла от неудачной операции, она тоже знала.

– Ы-гм!.. Курить у вас можно? – спрашивает тетя Мура.

– Ах, боже мой – кури, если здоровья не жалко, – разрешает мама.

Тетя Мура отодвигает от себя стакан с чаем, аккуратно раскладывает на столе листочки в клеточку, разглаживает толстыми сильными пальцами.

Я это письмо уже наизусть знаю – мама сразу же показала его папе, а на следующий день пересказала во всех подробностях сначала Елизавете Николаевне, а потом Лере Сергеевне.

«Дорогая Ниночка! – пишет Антонина. – Можешь меня поздравить, у меня родилась дочь».

По возрасту она годится мне в тетки, всего на двенадцать лет младше мамы, но поскольку она дочь Пахомова, мы с ней как бы сводные сестры – хотя я никогда ее не видела. А ее дочка мне теперь как бы племянница.

«Это, правда, произошло три месяца назад, но не было сил сообщить тебе. Все вышло так сложно и тяжело, что сначала казалось, не выкарабкаюсь, но Бог милостив, постепенно прихожу в себя. Я была уже на восьмом месяце, как вдруг у Михаила Прокофьевича случился инфаркт. Совершенно неожиданно. Пришел с работы, сел обедать, почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал. Счастье, что за две недели до этого нам поставили телефон. Вызвала неотложку, они приехали, не знают, кому помогать – то ли ему, то ли мне. У меня от испуга начались преждевременные роды, да такие тяжелые, что думала, скончаюсь. Но родила все-таки живую девочку, сейчас ей уже три месяца, хорошенькая, хотя совсем не похожа на ту мою доченьку. И Михаилу Прокофьевичу уже получше, но вставать не разрешают, говорят, глубокое поражение сердечной мышцы, строгий постельный режим, может, и целый год пролежит. Так что ухаживаю за новорожденной дочерью и за тяжело больным мужем. Помощи, как ты понимаешь, ниоткуда. Но самое скверное не это. Стыдно, Ниночка, признаться, но мы совершенно обнищали – по бюллетеню платили гроши, а теперь по инвалидности и того меньше. Ни о какой работе для меня не может быть речи, я от них не могу отлучиться ни на шаг. Не хватает даже на хлеб, не говоря о молоке или масле. Масла, кстати сказать, в магазин почти никогда не завозят, а на рынке все втридорога. А ведь выздоровление зависит и от нормального питания. Все, что можно было продать, продали, включая и скрипку Михаила Прокофьевича. Если, Бог даст, поправится, купим другую, а не поправится, так и скрипка ни к чему. Но теперь и эти деньги пришли к концу. И обратиться, кроме тебя, не к кому. Ты, бывало, я это очень хорошо помню, чужим людям помогала, помоги, родная, и мне. Прости, что так бесстыже клянчу. Ради себя не стала бы, но хоть этого ребенка хочется спасти, да и Михаила Прокофьевича жалко. Буду тебе вечно благодарна, твоя дочь Антонина».

– Ну, дочь – это, конечно, преувеличение, – вздыхает мама, – но чем-то придется помочь. Хотя, честно говоря, не представляю, как – сами вечно в долгах как в шелках...

Тетя Мура складывает листки, придавливает ладонью и кашляет: ы-гм!.. Потом раскрывает свой портфель, вытаскивает кошелек – маленький круглый кошелечек, защелкивающийся на два блестящих стальных шарика, – достает двести рублей и протягивает маме.

– Больше, к сожалению, нет.

– Что ты, Мурочка, что ты! – отмахивается мама. – Ты только, ради бога, не подумай, что я тебя за этим вызвала. Я же знаю, ты сама еле перебиваешься, впроголодь живешь. Помилуй, мне это и в голову не приходило, чтобы ты что-то давала... Так, хотелось поделиться с близким человеком...

Я не очень-то верю, что тетя Мура живет впроголодь, – не такая уж она худая, скорее наоборот, вполне крепкая и упитанная женщина.

– Ничего, перебивалась и теперь как-нибудь перебыюсь, – говорит она, – обо мне не беспокойся. Одна голова не бедна.

– Что верно, то верно, – соглашается мама печально. – Но какое безумие – в сорок лет рожать! Я тебе говорю: она всегда была немного не в себе.

– Бог послал, значит, так тому и быть, – тетя Мура задирает голову к потолку и выпускает струю дыма. – Не наше дело ему указывать. К тому же, Нина, ей не сорок, а только тридцать восемь.

– Оставь, пожалуйста! – сердится мама. – При чем тут бог? Богу на нас наплевать. Хотя, конечно, не мне говорить – сама недалеко ушла, тоже в тридцать семь... Идиотка старая! Простить себе не могу. До чего же нужно было сдуреть... Как вспомню эти роды... Я ведь у Грауэрмана рожала. Врачиша требует, чтобы я тужилась, а как я могу тужиться, когда сил никаких не осталось – боль дикая, в глазах темнеет!

Про ее роды я уже десять раз слышала, она очень любит рассказывать про них, особенно про то, как у нее не было сил тужиться.

– А она говорит: не будете тужиться, будем тащить ребенка щипцами. Ну, я как представила себе, что получится урод – у Баренбаумов девочка так и осталась с расплюснутым личиком...

– Нина, – перебивает тетя Мура, – женщины испокон веков рожали и будут рожать. Род людской переведется, если перестанут.

– Ну и черт с ним, пускай переведется, невелик убыток. Если жизнь настолько отвратительна, к чему за нее цепляться? Чем раньше сдохнем, тем лучше.

– Что ж, время от времени возникают такие секты – самоубийц, – рассуждает тетя Мура, – как правило, весьма малочисленные. Сотворив человека, Господь вдохнул в него жажду жизни. Человечество в целом никогда не стремилось к полному самоуничтожению, наоборот, постоянно мечтало о лучшем будущем.

– Ошибаешься, Мурочка, человечество только и делает, что стремится к самоуничтожению, – не уступает мама. – Раскрой глаза и посмотри по сторонам.

– Однако, несмотря на все ужасы, войны и эпидемии, численность населения земного шара постоянно увеличивается.

– Трудно поверить. Между прочим, ты сама ни одного не родила, – напоминает мама.

– К сожалению, – тетя Мура опять задирает голову к потолку и выпускает длинную струю дыма.

– Не к сожалению, а к счастью! Проявила завидное здравомыслие. Нет, разумеется, есть такие, что по десять человек рожают, и ничего им не делается, все как с гуся вода. Но уж поздравлять тут решительно не с чем.

– Подавляющее большинство женщин, – сообщает тетя Мура басом, – и рожают, и растят, и не видят в этом никакой особой заслуги.

– О чем ты говоришь? Кто их вообще спрашивает? Беременеют, как кошки, и рожают, как кошки. Тупые забитые идиотки! Бессловесные жертвы. Интеллигентная женщина не должна с этим мириться. Добровольно ставить себя в столь нелепое положение. Вспомни хотя бы ту же маленькую княгиню Болконскую, я имею в виду – из «Войны и мира».

– Я поняла, что из «Войны и мира», – кивает тетя Мура. – И что же?

– Лучшего примера не найдешь.

– Примера чего?

– Примера того, как молодая интересная женщина ни за что ни про что погубила себя.

– Извини, не молодая интересная женщина, а избалованная барынька, заранее настроила себя на неудачу – не только в этом вопросе, вообще. Главное, как человек понимает свое предназначение и к чему стремится.

– Бог с тобой, к чему ей было стремиться? – хмыкает мама. – И так все имелось. О лучшем и мечтать не приходится: богатство, знатность, всеобщее поклонение...

– Да, высший свет. Но и все вокруг нее к нему принадлежали. С плебейми вроде нас не яшались. А там, в своем кругу, чем она могла так уж отличаться?

– Ах, боже мой! Красотой, обаянием, живостью ума. Молодая очаровательная женщина...

– Да полно – молодая очаровательная!.. Замужем, и к тому же, как он сам выразился, одна из немногих женщин, с которой можно быть спокойным за свою честь. Порядочная. А муж не любит, вот в чем загвоздка. Едва женился и уже тяготится. Что остается? Государственные дела без нее решаются, за кусок хлеба сражаться не приходится. Пустота остается, обида, бессмысленность существования.

– Что за дурацкие рассуждения! – возмущается мама. – Извини меня, Мура, но ты что-то совсем не в ту степь заехала. Какая пустота? И зачем непременно куда-то стремиться и чем-то отличаться? Если бы не эта проклятая беременность, жила бы в свое удовольствие и горя не знала. Балы, театры, роскошь!.. Не обязательно изменять, можно просто наслаждаться своей привлекательностью. Иногда это даже приятнее. Чувствовать свою неотразимость и быть неприступной.

– Ерунда! – не соглашается тетя Мура. – Беременность-то ей как раз была необходима. Без этого она вообще ничто, круглый ноль. А так все-таки трогательное состояние, позволяющее рассчитывать хоть на малую благосклонность супруга. Любит, не любит, но обязан принимать во внимание – жена дарит ему наследника. А страхи и трагические предчувствия, чтобы усилить, подчеркнуть важность момента.

– Хорошо, Мурочка, – мама сопит с возмущением, – не стану тебя разубеждать, но, по-моему, ты забываешь тот факт, что она действительно погибла.

– Это, Нина, называется довести идею до логического завершения. Иначе выступила бы полным ничтожеством. Из светской красавицы превратилась бы в обыкновенную нервическую бабенку. Пустые страхи ничего не вызывают, кроме презрения. А он ведь и склонен был к презрению, помнишь? «Князь Андрей с презрением смотрел на эти бесконечные, мешавшиеся команды, повозки, парки, артиллерию...» И так далее. При этом, заметь, у него как бы законное право презирать – он на войне, на поле боя, смертельно ранен. А она в этих Лысых горах под крылышком у тестя, в тепле и уюте. Так вот она-то, оказывается, больше рискует. То есть трусиха-трусиха, а оставила его в дураках со всей его храбростью.

– С тобой, Мурочка, с этой твоей безжалостной памятью!.. Что ты такое выдумываешь? Городишь какую-то нелепицу. Разве она нарочно умерла?

– Ы-гм!.. В сущности, это не она умерла, это Лев Николаевич ее приговорил. И, надо полагать, не случайно.

– Ты хочешь сказать... Нет, ты специально нагнетаешь всю эту заумь, лишь бы морочить мне голову. В действительности все гораздо проще. Хорошо, оставим романы. Вот ты говоришь: как человек понимает свое предназначение. Но оглянись на собственную жизнь. Разве ты об этом мечтала? О таком финале? Ты пытаешься убедить меня, что в этом состояла твоя идея? Такое предназначение ты себе определила? Страдания, унижения, заброшенность, отверженность?

– В данных обстоятельствах... Собственно, в любых обстоятельствах... Да, ничего другого для себя не желаю! – объявляет тетя Мура.

– Перестань! Жалкое юродство и кривляние. Тебя бьют, а ты еще приговариваешь: так мне и надо. Жизнь тебя ломает и корежит, а ты провозглашаешь, что совершаешь добровольный подвиг. Вопреки очевидности не желаешь признать своего бедствия и бессилия. Гордыня дурацкая.

– Гордыня, говоришь? Что ж... Не забывай, Нина: тут мы временно, а там – вечно. Там эти страдания и унижения будут ничто, развеются как дым.

– Да, слышали... Слабое утешение, – вздыхает мама. – И знаешь, что меня больше всего в тебе удивляет? Как ты можешь сочетать столь ясный, трезвый, совершенно не женский ум со всеми этими религиозными бреднями. Нет, нет, ни за что не соглашусь – всякий разумный человек понимает, что от него в этом крошечном аду, который называют жизнью, решительно ничего не зависит. Пльвем по воле волн, подчиняемся обстоятельствам, стараемся зачем-то уцелеть. Зацепиться за что-то.

– Что ж, ты права: совершенно не считаться с обстоятельствами невозможно, – подтверждает тетя Мура, – живем-то в миру. Но покоряться дьяволу, угождать ему – нет!

– При чем тут дьявол! То бог, то дьявол... Прячешься от разумного ответа. Я не об этом, я всего лишь пытаюсь объяснить тебе, что навесить на себя дополнительную ношу – да еще в сорок лет...

– Тридцать восемь.

– ...может только законченная идиотка. Идиотка или женщина безнадежно сломленная, опустившаяся, впавшая в такое беспредельное отчаянье, что даже ребенок начинает представляться

какой-то спасительной соломинкой. А ребенок, поверь моему опыту, – это погибель, а никакое не спасение. Какая уж там соломинка – чугунная чушка, которая тянет на дно. И главное, кусаешь потом локти, а избавиться не смей. Сунул голову в этот хомут, и волоки до смертного часа.

– Ох, Нина!.. – тетя Мура качает головой и вытаскивает новую папиросу. – А ты что скажешь? – оборачивается она вдруг ко мне. – Нужно детей рожать или не нужно?

Я молчу. Мама родила меня, и получилось ужасно, тетя Мура никого не родила, и тоже ничего хорошего. При чем же тут дети?

– Да, да, извини мою прямооту, – кипятится мама, – но за всей этой покорностью воле божьей стоит единственно твое фанатичное упрямство. Не желаешь признать своего поражения.

– Нет, я все-таки хочу узнать, что по этому поводу думает Светка, – говорит тетя Мура.

– Думает!.. – фыркает мама. – Нашла мыслителя!

– От детей вреда не бывает, – говорю я. – Вообще не может быть. Плохо, что они потом становятся взрослыми.

– Ловко ответила! – радуется тетя Мура. – Республика Шкид...

– Да, нашла кого спрашивать! – злится мама. – Давай убирайся отсюда! – накидывается она на меня. – Вместо того чтобы нести всякую белиберду, отправляйся на кухню и мой посуду. Расселась – Спиноза!.. Гора грязной посуды, а она тут развесила уши, философствует!

– А ведь Антонина твоя, обрати внимание, – тетя Мура кивает на письмо, – тоже Бога поминает. Прежде вроде была далека от этого.

– Да нет, сколько я ее знаю, большим умом никогда не отличалась, – отмахивается мама.

Папа требует, чтобы мама избавилась наконец от старых газет, тем более что он пригласил к нам в гости Константина Ивановича Поздняева, заместителя главного редактора журнала «Советский воин». Поздняев печатает в своем журнале папины очерки и отрывки из нового романа. Это не совсем новый роман, папа пишет продолжение того, сталинградского, который Симонов напечатал в «Новом мире», но продолжение будет уже не про Сталинградскую битву, а про то, как их дивизия двигалась через всю Россию и через всю Европу на Берлин.

Мама говорит, что Поздняев послан нам провидением: истинный благодетель, непредвиденный подарок судьбы – если бы не он, она просто не знает, что бы мы стали делать – в нынешнем положении эти публикации хоть как-то поддерживают.

Хорошего положения у нас никогда не бывает.

– Нинусенька, неужели ты не понимаешь, что это ненормальность, дурной анекдот – половина комнаты завалена старыми газетами! – сопит папа.

– Да, но я их еще не читала, – заявляет мама.

– Ты их не читала и, смею полагать, уже не станешь читать. Извини меня, но чем дальше дата их издания отодвигается в глубь веков, тем меньше шанс, что ты возьмешься за их прочтение. Только психи на Канатчиковой даче читают газеты десятилетней давности.

– Благодарю за комплимент!

– Если не ошибаюсь, в последний раз ты заглядывала в газету не то в Ейске, не то в Мелитополе.

– Да, скажи еще в Киеве!

– В Киеве я не имел чести наблюдать твои занятия.

– Спасибо хоть на этом.

– Не знаю, Нинусенька, с какой целью ты постоянно пытаешься выставить меня перед всеми полным идиотом. Представь себе на минуту, что он вынужден будет подумать, увидев эту свалку. И сделает, разумеется, соответствующие выводы.

Мама сдалась. Конечно, не из-за того, что согласилась с папой, но предстоящий визит Поздняевых все-таки очень беспокоит ее. Теперь она сидит на низенькой табуреточке и сортирует газеты. Складывает в пачки по сто штук и заставляет меня перетягивать их бечевкой.

– Потуже, потуже затягивай, а то развалятся!

Перекупщик с рынка, Василий Карпыч, обещал зайти сегодня и забрать, сколько удастся. Сколько сможет унести. Мама даже приоткрыла дверь, чтобы сразу услышать, когда он явится. Чтобы не было лишнего беспокойства соседям.

– Между прочим, Павел, а что же с этим Антифашистским комитетом? – спрашивает она, поправляя на носу очки и разворачивая во всю ширь пожелтевшую «Правду». – Все забываю поинтересоваться. Так это дело и заглохло?

– Какое дело, Нинусенька? – откликается папа не сразу.

– Что значит «какое дело»? Неужели ты не помнишь? Кричали на всех углах: Антифашистский комитет, пролетарская солидарность. Вот, пожалуйста: «Соломон Михоэлс и Ицик Фефер получили сообщение из Чикаго: специальная конференция «Джойнта» начала кампанию... Да... «Финансировать тысячу санитарных машин для потребностей Красной Армии». По радио зачитывали, митинги устраивали – а потом как корова языком слизнула.

Папа вздыхает, трет рукой подбородок, еще раз вздыхает:

– Милый Кисик... Ты пребываешь в каком-то ином измерении... Если ты имеешь в виду Еврейский антифашистский комитет, то он давным-давно распущен.

– Распущен? Что ты говоришь! Я как-то не обратила внимания.

– Распущен, поскольку фашизм окончательно побежден и разгромлен.

– Не знаю, может быть. Но была еще какая-то история с Крымом. Ты сам что-то такое рассказывал...

– Я ничего не рассказывал и не мог рассказывать, – говорит папа. – История с Крымом заключалась в том, что еврейские националисты планировали создание в очищенном от татар Крыму собственной автономной республики – как выяснилось, с целью ее последующего присоединения к провозглашенному в непродолжительном времени буржуазному государству Израиль. Но эти коварные замыслы были своевременно разоблачены.

– Хм, – удивляется мама, – я что-то не понимаю: они что же, вчера на свет родились? Каким образом можно было рассчитывать на создание какой-то там республики? Извини меня, но такой факт нельзя утаить.

– Еврейские националисты планировали создание республики, – терпеливо разъясняет мама, – то есть некоего подобия еврейского государства на территории СССР, на базе существовавших там до войны еврейских колхозов и при активной поддержке империалистов Англии и США.

– Допустим... – хмыкает мама. – Тогда объясни мне, как можно присоединить Крым к Израилю?

– При посредничестве турок, попавших в полную зависимость от американских агрессоров.

– Ну, это уже полнейшая чушь собачья! Тоже мне страна – Турция! Регулярно проигрывала одну войну за другой, – мама сворачивает газету и кидает поверх других. – Между прочим, твой дед принимал участие в Турецкой кампании 1877 года.

– Это, Нинусенька, мне известно.

В коридоре звонит телефон.

– Нин-ладимировна! – кричит в прихожей тетя Настя, – вас!

– Меня? Кто же это может быть? – удивляется мама, с моей помощью подымается со скамеечки и выходит за дверь. – Да, да, Дуся, пропустите его, да, он ко мне. Зачем вы спрашиваете? Вы же его прекрасно знаете, – доносится из коридора ее голос. – Василий Карпыч, – объясняет она папе, возвращаясь в комнату. – Уже явился.

Папа ничего не отвечает. Василий Карпыч его абсолютно не интересуется, он пишет роман.

Василий Карпыч окидывает взглядом подготовленные мамой пачки, развязывает одну и принимается пересчитывать.

– Да что вы, Василий Карпыч, вы что, не доверяете мне? – обижается мама. – По сто штук в каждой. Я проверила. Девять пачек. Больше, извините, не успела. В следующий раз заберете остальные. «Литературку» я пока что отложила...

– Доверять-то я доверяю, – бурчит Василий Карпыч. – Почему не доверять? А мне все же в точности надобно знать... Мы ведь, уважаемая, не из корыстного интересу – не на червонцы, на медяки промышляем. Если уж волоку такую поклажу, так хоть не в убыток...

– Ну, как хотите, воля ваша, – мама поджимает губы. – Если не жалко своего времени, пересчитывайте на здоровье. Но тут девять пачек, вы что же – до вечера собираетесь проверять?

Василий Карпыч не отвечает.

– Вот ведь какое дело... – кряхтит он, закончив, наконец, подсчет и с трудом распрямляясь. – Девяносто вышло... Не сто, как вы изволили сказать, а в точности девяносто!

– Не может быть! Неужели я ошиблась? – сомневается мама. – Позвольте я сама пересчитаю. Да вы не стойте – присаживайтесь...

– Ничего, мы и постоять можем.

– Двадцать, тридцать, сорок... Действительно – девяносто, – огорчается мама. – Ваша правда. Не понимаю, как это произошло. Ведь специально бумажками перекладывала... Когда вечно задураят голову всякими идиотскими разговорами!..

Василий Карпыч для верности проверяет еще одну пачку, но в ней и вправду оказывается в точности сто газет. Даже сто одна. Он запихивает все девять пачек в громадный мешок и начинает отсчитывать маме деньги.

– Значит, так... Восемьсот девяносто штук... Сорок четыре рублика пятьдесят копеечек...

– Что вы, почему же сорок четыре? – не соглашается мама. – Это из какого же расчета?

– По пять копеек штука – сорок четыре рублика пятьдесят копеечек. Я вам сорок пять, а вы мне, если возможно, полтинничек сдачи.

– Но почему же по пять? Мне кажется, мы договаривались по десять...

– Это никак невозможно! – Василий Карпыч машет рукой и даже пыхтит от мешка. – Быть такого не может, чтобы по десять. Как хотите, а она новая стоит двадцать. Так что старую я могу по самой последней крайности по пятнадцать предлагать. А так, вообще-то, и по десять отдаю – не волоочь же обратно.

– Да, но по пять... – вздыхает мама.

– Нинусенька, не могла бы ты эту содержательную беседу продолжить на кухне? – произносит папа угрюмо, не поворачивая головы. – Я все-таки должен работать.

– Нет, не могла бы! – обрывает его мама. – Беседа не предназначена для соседских ушей. Не хватает только, чтобы потом эта сволочь Наина разнесла по всему дому...

Папа потирает колени и поднимается из-за машинки.

– Боюсь, Нинусенька, что в данном случае ты абсолютно права. Извините, товарищ, – говорит он Василию Карпычу строго, – вот вам двадцать рублей за беспокойство, забирайте ваш мешок и немедленно покиньте нас.

– А это... Как же? А газеты? – не понимает Василий Карпыч.

– Газеты останутся здесь, – говорит папа.

– Это как же получается? Передумали, значит?

– Да, именно так и получается! – подтверждает папа.

– Павел, ты что – с ума сошел? – пугается мама. – Ты же сам настаивал... Человек специально пришел!

– Человек специально пришел, а теперь человек специально уйдет, – чеканит папа каждое слово.

– Нам это... Как пожелаете... Мы люди маленькие... – Василий Карпыч прячет деньги обратно в нагрудный карман сильно вылинявшей и заплатанной гимнастерки – папины двадцать рублей тоже, вытряхивает газеты из мешка, укладывает пачку за пачкой на пол и боком, спотыкаясь, выбирается из комнаты. – Так что прощайте, значит...

– Да, именно так! – говорит папа ему вслед.

– Как прикажешь это понимать? – лицо у мамы покрывается красными пятнами. – Что за бред, что за дикая выходка? Я три дня убила на то, чтобы рассортировать и сложить!.. Боже мой, боже мой, – она начинает рыдать, – сволочь, мерзавец, допился до зеленых чертей!.. Опозорил меня перед чужим человеком...

– Извини меня, Нинусенька, но это не я допился до зеленых чертей, это ты окончательно утратила всякую связь с реальностью. Притащила к нам в дом спекулянта, мешочника, и вручаешь ему кучу антисоветского материала, который он собирается распространять на базаре!

– На каком базаре? О каком антисоветском материале ты говоришь?! Я вручаю ему газету «Правда»! Что с тобой, опомнись! Газету «Правда», центральный орган твоих дорогих большевиков!

– Нинусенька, пока ты из-за своего дикого, неумного скопидомства, – папа становится весь белый, руки у него дрожат, – держала этот орган восемь лет у нас под столом, половина опубликованных в нем материалов превратилась в оголтелую антисоветчину! Антифашистский комитет с его «Джойнтом»! Бесчисленные статьи разоблаченных и осужденных космополитов! Славословия в адрес ликвидированных врагов народа! Ты что, не понимаешь, как все это будет выглядеть на базаре?

– На базаре это никак не будет выглядеть, на базаре никого не интересует вся эта чушь, которую изо дня в день мусолят в газете «Правда», чтоб она провалилась ко всем чертям! Людям нужно во что-то заворачивать селедку!

– А когда его арестуют, он тотчас укажет на нас.

– Почему арестуют? С какой стати арестуют? Несчастный калека, инвалид войны, тяжким трудом зарабатывает себе на кусок хлеба!

– Мошеник, негодяй, асоциальный преступный элемент, по которому давно плачет веревка! – не уступает папа. – Ты должна знать, что очень многих ему подобных уже отправили на Соловки, и в самом скором времени, безусловно, доберутся и до него.

– Боже мой, боже мой! Это надо придумать... Как только язык поворачивается возводить такую напраслину на несчастного инвалида!

Мама опускается на стул, плачет, шмыгает носом. Папа усаживает обратно за машинку.

– Хорошо, тогда объясни мне, – мама вытирает глаза платочком, – что теперь прикажете делать со всем этим кошмаром? Они что же, так и будут валяться посреди комнаты? Как ты намерен избавляться от этого скопления вражеских измышлений? Между прочим, почтальон каждый день приволакивает новую кучу.

Папа сопит носом и не отвечает.

– Если нельзя распространять на рынке, так что же? Забить ими мусоропровод? Или выкинуть в окошко?

Мама нашла выход из положения, она привела к нам Анну Моисеевну. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Анна Моисеевна готова забрать газеты, во всяком случае, значительную их часть, и она гарантирует, что они попадут в надежные руки – никто даже не подумает их читать. Ее брат, профессор, собирается делать у себя ремонт, и ему потребуется много газет, чтобы как следует застелить паркет. Он не хочет, чтобы известка попала на такой дорогой паркет. У него хорошая квартира на Пушечной улице, с прекрасным старинным паркетом. Это, конечно, не целая квартира – где вы теперь найдете целую квартиру? – но две большие комнаты, совершенно отдельно, и они устроили что-то вроде кухоньки из куска коридора.

Анна Моисеевна только в прошлом месяце переехала в наш дом – вместе с мужем, тоже профессором, но совсем уже древним старичком. Мама разузнала через своих приятельниц, что это сын запихнул старичка в наш дом – добился размена, потому что он терпеть не может Анну Моисеевну, на дух ее не переносит. А у сына большая семья – две дочери с мужьями и пятеро внуков, – так что старичку-профессору от всей его трехкомнатной квартиры досталось только шесть метров площади. И эти шесть метров они с Анной Моисеевной нашли в нашем подъезде, в третьей квартире, которая на втором этаже. Пусть шесть метров, но в приличном доме.

Брату Анны Моисеевны, слава богу, не придется разменивать жилплощадь, он живет с женой и дочерью. Плохо только то, что дочери уже тридцать два года, а она не замужем.

– Если вы как-нибудь поможете нам раздобыть для нее мужа, – говорит Анна Моисеевна, – брат с большим, даже с огромным удовольствием подарит вам хрустальную вазу. Да, из настоящего хрусталя. Если вы знаете какую-нибудь приличную семью. Он очень переживает – вы понимаете, как переживает отец, когда единственная дочь не может выйти замуж! Не нужно ничего особенного, пускай будет простой парень, лишь бы еврей. Не думайте, что мой брат какой-нибудь националист, ничего подобного – он член парткома, он только не хочет, чтобы его дочь мучилась с пьяницей Иваном.

– Ах, – вздыхает мама, – сегодня, я вам скажу, и евреи пьют не хуже Ивана. Посмотрите хотя бы на того же Горбатова – в седьмом подъезде живет, – известный писатель, уважаемый человек, а пьет, как сапожник.

– Нам не нужен известный писатель, нам нужен честный еврейский мальчик, который еще не знает, что такое пить. Можно иногородний, но из серьезной семьи. Я вас не хочу обманывать, она не красавица, но брат обеспечит им приличную жизнь.

– Ах, вы знаете, все это очень непросто, – вздыхает мама. – Сегодня невест – как собак нерезаных.

– Да, – признает Анна Моисеевна, – а кто виноват? Это рабби Гершом создал нам такое положение – запретил брать вторую жену. Я не знаю, зачем он это сделал. Может, он считался умный человек, но все-таки, знаете, он был немножко дурак. Должен был вначале подумать, куда мы будем девать лишних невест.

– О чем вы говорите? При чем тут рабби Гершом? – не соглашается мама. – Весь этот кошмар: бесконечные войны, революции, всяческие пертурбации... Повыбили женихов, истребили под корень. Вдовцов, и тех не осталось. Раньше любая дурнушка могла рассчитывать по крайней мере на вдовца с тремя детьми. А теперь и этих расхватали. Не приходится удивляться, что вокруг одни Христовы невесты.

– Пускай даже будет моложе, – рассуждает Анна Моисеевна, – мы согласны. Что такое? У меня два мужа были моложе, и никто не жаловался. Лишь бы еврей. Знаете почему? Потому что в семье не бывает, чтобы без скандала. Если будет еврей, так это ничего – милые дерутся, только тешатся. Но если русский, так под конец он скажет: вонючая жидовка! Да, когда люди ссорятся, они могут сказать все что угодно.

– Моложе, я вам скажу, опасно, – предупреждает мама. – Поживет год-другой, а потом бросит. Еще и жилплощадь отсудит.

– Нет, нам не надо такой, который отсудит, нам надо, чтобы честный.

– Ах, Анна Моисеевна, дорогая, где вы теперь найдете честного человека? – сомневается мама. – Честный человек теперь на вес золота.

– В крайнем случае брат согласен дать даже золотой портсигар, – набавляет Анна Моисеевна цену. – Ждать уже некогда. Не осталось времени перебирать – тридцать два года. И слишком большой еврейский нос. Посмотрите на мой нос: у меня совершенно приличный

нос – вы согласны? А у нее, я вам говорю, нос – как мои два. И вот – я пять раз была замужем, причем без всякого сватовства, а она при всех наших стараниях не может выйти ни разу. Мы боимся, что даже этот ремонт не поможет.

Папа уже расставил все на столе: закуски, тарелки, рюмки, бутылку водки, – но мама вдруг вспоминает, что не мешало бы в честь гостей подмести пол. Пол у нас вечно завален какими-то бумажками, билетиками, мамиными ватками от лосьонов, обрезками материи, которые остаются после Марьи Александровны. Ватки мама нарочно бросает на пол. Папа много раз просил ее не делать этого, не разбрасывать всякую гадость, потому что к нему приходят курьеры из газет и другие приличные люди, но мама отвечает, что черт с ними, пускай приходят, она не обязана кланяться всякому встречному. Но Поздняевы – это другое дело, Поздняевыми она очень дорожит.

Гости появляются в дверях как раз в тот момент, когда я сметаю мусор к порогу. Мы почему-то не слышали, как они зашли в квартиру.

– Все, все! – бурчит мама. – Собери на совок и выбрось. Заходите, заходите, не обращайтесь внимания, – извиняется она перед Поздняевыми. – Кошмар какой-то, никогда ничего не может сделать вовремя, обязательно нужно дотянуть до последней минуты!

Гости неуверенно переступают через кучу мусора, проходят в комнату и начинают раздеваться. Я разглядываю мальчика. Он еще маленький, но очень симпатичный. Арик, его зовут Арик.

– Ах, вы знаете, – говорит мама, когда все усаживаются за стол, – селедка, к сожалению, не слишком удачная. Я говорила Павлу: нужно подъехать в центр, там все же завозят получше, а в нашем здешнем гастрономе вечно выбрасывают какую-то дрянь...

– Ничего-ничего, – говорит Поздняев, – нормальная селедочка. Главное, что с молокой – с молокой всегда упитаннее.

– Подождите, я же не подала картошку! Одну минуту, сейчас принесу картошечку.

Мама уходит на кухню, папа тем временем разливает по рюмкам водку. Мне он тоже наливает полную рюмку и вопросительно смотрит на Ирину Васильевну, жену Поздняева:

– Арику можно капельку?

– Нет, нет, – говорит она. – Мал еще.

– Да, маловат, – поддерживает Поздняев. – Пускай подрастет сначала. Ну, за встречу!

Мы выпиваем за встречу.

– Молодец девка! – хвалит меня Поздняев. – По-нашему опрокидывает, по-фронтовому.

Ирина Васильевна тоже неплохо опрокидывает, из разговора выясняется, что они с Константином Ивановичем на фронте и познакомились. Мама совсем не опрокидывает, она вообще не пьет ничего, кроме пива, но она то и дело удаляется на кухню то за бульоном, то за пирожками, то за жарким, в ее отсутствие папа вытаскивает из своего письменного стола еще одну бутылку и продолжает подливать в рюмки, я опять опрокидываю наравне со всеми – водка мне очень нравится, и Ирина Васильевна мне очень нравится. А больше всех мне нравится Арик. Папа подливает мне и подмигивает:

– Быстренько, пока мама не видит!

Мама ничего не видит, но я вдруг чувствую, что не могу больше выпить ни капли. Мне плохо. Я вскакиваю, бегу в ванную и по дороге наткнулась на маму.

– Что такое? Что случилось? Куда ты несешься? – пугается она.

Я не могу ответить.

– Боже мой, только этого не хватало! – стонет мама. – Ни минуты покоя.

Рядом стоят папа и Поздняевы, дают какие-то советы.

– Но отчего? – недоумевает мама. – Все абсолютно свежее.

– Да что вы так волнуетесь? Мало ли что бывает, – успокаивает ее Константин Иванович. – Может, в школе что съела. Пройдет.

Действительно, постепенно мне становится лучше, почти совсем хорошо, и взрослые решают отправить нас с Ариком на свежий воздух.

– На свежем воздухе все как рукой снимет! – говорит Константин Иванович.

Мы одеваемся, берем санки и бежим на улицу.

Оказывается, пока мы сидели за столом, на улице выпало много, много снега. Белого, чистого, роскошного снега – весь наш огромный двор сияет и переливается под луной. И никого, кроме нас, нет. Все уже спят.

Я принимаюсь катать Арика по скверу и по детской площадке – бегом, быстрее, быстрее! – но ему надоедает кататься по ровному месту, ему больше нравится съезжать с горок. Эти горки получились оттого, что тетя Луша каждый день сметает снег с проезжей части и забрасывает на сторону, туда, где земля. За зиму над асфальтом нарастают высокие крепкие сугробы.

Сначала я разрешаю Арику скатываться только с небольших горок, мне кажется, такой маленький мальчик должен бояться съезжать с большой высоты, но он ничего не боится – он ужасно храбрый! Мы находим горки все выше и круче, вернее, это я выбираю самые высокие и крутые. Арик ужасно радуется, когда со всей скорости несется вниз. Кричит во все горло и смеется.

Санки вдруг переворачиваются, Арик падает, причем не на бок, а головой вперед – вылетает из санок и ударяется лбом о большую острую ледышку. Что я наделала!.. Я с ума сошла... Как я могла скатывать его с таких опасных горок?! Он же маленький... Кровь течет из раны, а у меня даже платка нету. Я набираю в горсть пушистого белого снега и стараюсь обтереть кровь, как-нибудь зажать ранку, но снег становится весь красный, а кровь все равно течет.

Мы бежим обратно к подъезду, тетя Дуся дремлет на стуле и не смотрит в нашу сторону. Я вызываю лифт, он так медленно, так медленно ползет...

Арик не плачет. Совершенно не плачет. Любой другой ребенок на его месте орал бы как резаный, а он молчит. Он удивительный, удивительный мальчик... Такой смелый и такой терпеливый. И такого мальчика я не уберегла! Милый, милый Арик!..

– Ах, какая беда! – стонет мама. – Ну что за день такой проклятый! Не одно, так другое!..

– Ничего, ничего страшного, – успокаивает ее Константин Иванович, обмывая ранку на лбу у Арика.

У нас в ванной над раковиной висит зеркало, и мне видно в него лицо Арика.

– Ничего, до свадьбы заживет, – говорит Ирина Васильевна.

– Нет, но надо же случиться такому несчастью!.. – стонет мама.

Арик не плачет. Не плачет, даже когда ему смазывают лоб йодом. Только становится весь белый и немножко морщится.

– Настоящий мужчина, – хвалит его Константин Иванович.

Правда, таких детей вообще не бывает... Это все из-за меня, из-за меня! Все было так хорошо... Так красиво было, так замечательно, а я!.. Вдруг они больше не придут к нам?..

Анастасия Георгиевна вздумала проверять домашние задания. Именно сегодня, когда у нас вчера были гости и я ничего не сделала. Как нарочно!

Подходит, заглядывает ко мне в тетрадь и от счастья просто не верит своим глазам:

– Условие... А где же решение? – смотрит на меня и улыбается так ехидно, как будто давно подозревала, что я только притворяюсь отличницей.

– Не сделала, – говорю я погромче, чтобы она знала, что мне наплевать на ее задачки. И чтобы все девочки знали, что я ее не боюсь.

– Не сделала? Почему?

– Не успела.

– Как это не успела? – как будто возмущается, а на самом деле радуется, что поймала меня. – А что же ты успела?

Я молчу.

– Двойка! – объявляет она и движется дальше вдоль нашего ряда.

Двойка... Ну и пускай. Подумаешь – двойка... Двойка – это совершеннейшая ерунда по сравнению с тем, что случилось вчера с Ариком. Не буду огорчаться, ни за что не буду огорчаться – есть более важные причины для огорчений...

Не успеваю я вернуться из школы, как мама объявляет, что мы едем сегодня в Тушино отправлять посылку Антонине Ратке. Но сначала я должна сбежать в галантерейный магазинчик и купить какую-нибудь мелочь для ребенка. Этот магазинчик теперь все называют «еврейская лавочка», там всего два продавца – мужчина и женщина, и оба евреи. Раньше никто не говорил так, хотя эти продавцы там были всегда. Может, раньше никто не замечал, что они евреи?

Я разглядываю разложенные на витрине товары, но все стоит дороже пятнадцати рублей, а мама дала мне пятнадцать рублей.

Пока я топчусь у прилавка, в магазинчик вваливается какая-то толстая тетка и прямо от порога бросает продавщице под нос два фильдекосовых чулка.

– Ваш муж на прошлой неделе продал мне чулки! – объявляет она.

– Мой муж ничего не мог продать вам на прошлой неделе, – возражает продавщица решительно, поправляет прическу и отодвигает от себя чулки. – Мой муж девять лет как скончался. Да, представьте себе, девять лет лежит на Востряково.

– Не знаю, где он лежит, – говорит тетка и опять пододвигает к ней чулки, – но он сказал, что это как раз мой размер. А они мне еле-еле до коленок достают.

– А я вам говорю: он покойник. Что ты хочешь, детка? – спрашивает она меня.

Я не знаю, что я хочу, я не вижу ничего, что стоило бы меньше пятнадцати рублей.

– Тот, который тут с вами работает, – фыркает тетка.

– Так что – если люди вместе работают, так уже муж? Все мужчины, с которыми вы работаете, уже ваши мужья? – ехидничает продавщица.

– Пускай, мне безразлично, – говорит тетка, – как хотите, пускай не муж. Все равно заберите ваши чулки и верните мои деньги.

– Как я могу их забрать, когда вы их уже надевали? – возмущается продавщица.

– Почему это вы думаете, что я их надевала?

– Вижу, – хмыкает продавщица. – Не только надевали, носили. По их виду – и стирали. Постирали в горячей воде, вот они и сели – до коленок не достают. На прошлой неделе! К вашему сведенью, нам никакие чулки два месяца не завозили.

– Так что, если постирала? – не уступает тетка. – По-вашему, я должна была вернуть грязные, да?

– Уберите с прилавка ваши ношенные вещи и не мешайте мне здесь работать! – требует продавщица. – И как вам это нравится? Чтобы какой-то дурак после нее носил ее стиранные чулки!

Тетка не желает убирать свои чулки и обещает, что будет жаловаться.

– На здоровье! – говорит продавщица и объясняет мне, что за пятнадцать рублей у нее есть только синие трикотажные трусики на двухлетнего ребенка.

Я покупаю их – все-таки лучше, чем ничего.

По дороге мы с мамой заходим в булочную еще раз взвесить ящик – чтобы, не дай бог, не было перевеса. Мама один раз уже взвешивала его – когда он был пустой. Пустой он весил почти три кило и семьсот пятьдесят граммов. Теперь мама уложила в него кулек с мукой, кило сахарного песка, кило манки, кило сечки, полкило фасоли, банку говяжьей тушенки, банку бычков в томате и две пачки сухого киселя, по триста граммов каждая. До десяти килограммов, которые разрешается посылать, осталось еще пятьдесят граммов, поэтому она и послала меня купить что-нибудь легонькое для ребенка.

Это Макар Федорович, столяр из домоуправления, сколотил ящик по маминому заказу. Мы специально ездили к нему домой в район Новослободской. У них очень странная комната: широкая, с двумя окнами, но с высокой ступенькой от стены до стены. Ступенька мешает расставлять мебель, потому что невозможно, чтобы один край кровати был выше, а другой ниже.

Мама стала говорить, что это ничего, не страшно, семья, насколько она понимает, не такая уж большая, можно как-то устроиться, и Макар Федорович согласился: да, не очень большая, сам, жена да сын. Мама поинтересовалась, сколько же лет сыну, и Макар

Федорович ответил: двадцать шесть. Мама сказала: ну, вам теперь только жить и радоваться – сын взрослый, самостоятельный. А Макар Федорович вздохнул и покачал головой: взрослый – это верно, да шибко выпивает. «Я за цельную жизнь столько вина не выпил, сколько он за один нынешний год». Тогда мама запричитала: боже мой, боже мой, какое несчастье! Чтобы они все сдохли, пьяницы проклятые!.. Будь моя воля, я бы приказала всех их регулярно бить кнутом на городской площади!

Дядя Таля и тетя Аня не знали, что мы приедем. Мама, конечно, могла бы позвонить тете Ане на работу и сообщить, но почему-то не сделала этого. Хорошо, что хоть дядя Таля оказался дома. Он теперь почти всегда дома, никуда не выходит – плохо себя чувствует. Ему даже говорить трудно, так сильно он кашляет. А тетя Аня еще не вернулась с работы, так что нам пришлось сидеть и ждать ее. Без нее невозможно ничего сделать, из Москвы продуктовые посылки не разрешают отправлять, только из области, и нужно, чтобы в паспорте была прописка. Тетя Аня должна пойти с нами на почту, показать паспорт и отправить посылку от своего имени.

– Ай, Ниночка, зачем ты устраиваешь эту мороку? – ворчит она. – Перевела бы ей деньги, и пусть себе покупает, что хочет.

– О чем ты говоришь! – не соглашается мама. – В том-то и дело, что там ничего невозможно достать. Москву еще кое-как обеспечивают, а глубинка форменным образом голодает. На рынке все втридорога...

– А так ты заплатила за никому не нужный ящик, – напоминает тетя Аня.

Я рада, что она так говорит: не только никому не нужный, но и жутко тяжелый. Веревка режет руки.

– Почему – никому не нужный? – возражает мама. – Пригодится... В крайнем случае пойдет на растопку.

– И много ли твоя посылка их спасет? – продолжает тетя Аня. – За пару дней все подчистят, и опять зубы на полку.

– Ничего, пускай расходует поэкономнее, – ворчит мама.

– Да уж как ни экономь, а из одного килограмма два не сделаешь, – вздыхает тетя Аня.

– Извини, Анечка, – говорит мама, – я понимаю твое состояние. Я и сама измотана до предела, буквально с ног валюсь, но что же делать? Ты почитай ее письмо. Несчастье за несчастьем... Того мужа на фронте потеряла, этот с инфарктом... Идиотка, конечно, – ничего лучшего не придумала: в сорок лет обзаводиться ребенком! Но что сделано, то сделано, обратно не поворотишь... Я надеялась, что не придется тебя беспокоить, думала, Ольга дома, сходит с нами...

– Ольга к нам теперь и не заглядывает, – хмыкает тетя Аня. – Незачем. Уборная так и так во дворе. Злится, что не прописываю ее муженька. Пускай спасибо скажет, что в сарай пустила. Да и вообще... На семи метрах с туберкулезным... В открытой форме... Жизнь называется!.. Удивляюсь, как я сама до сих пор не заразилась. Он ведь, Ниночка, совсем плох – недолго уже протянет.

– Типун тебе на язык! – пугается мама. – Как ты можешь так хладнокровно рассуждать? Все-таки медицина с каждым годом открывает что-то новое. Нельзя терять надежды. Случаются чудеса. Боже мой, такой молодой! На семь лет младше меня...

Я вхожу в класс, девочки тут же окружают меня, как будто только и ждали, пока я приду.

– Уроки сделала? По алгебре сделала? – спрашивают со всех сторон.

– Нет, не успела. Мы с мамой в Тушино ездили, посылку отправляли...

– На, садись, спиши! – тянутся ко мне сразу десять рук с тетрадками. – Давай, быстро – пока она не пришла!

– Что вы, девочки, зачем? – теряюсь я. – Не надо...

– Давай, быстро! – и чуть ли не силой усаживают меня за парту. – Пиши! Не бойся – тут правильно.

Я не могу писать – я чувствую, что сейчас заплачу. Почему им так уж важно, сделала я уроки или не сделала? Бояться, что опять получу двойку? Неужели они так любят меня? Разве они сами не получают двоек? Чем я лучше?.. Я не подозревала, даже предположить не могла, что они так любят меня...

Двенадцать часов, а папы все нет. Уже пробили куранты на Красной площади, а его нет.

– Опять закатился, негодяй, – говорит мама. – Иди, отправляйся, вытаскивай!

Я отправляюсь. Падает мелкий редкий снежок, устилает тротуар и мостовую. Каждый шаг отпечатывается на снегу. Интересно, если бы вдруг выступили все мои следы, окрасились, допустим, красным цветом – все следы за всю жизнь. И в Москве, и в Красноуфимске, и в Переделкино... Сколько бы получилось тропинок и дорожек... А от нас до Николая Петровича дорожка была бы самая широкая, самая красная...

– Светка? – удивляется Николай Петрович. Он всегда удивляется, когда видит меня. – Ну, давай заходи, милая, заходи! Только ба-ти твоего тут нет. И не было сегодня.

Песик Барбоска прыгает у моих ног, радуется, что кто-то пришел. Яша нашел его на улице очень несчастного, больного, ободранного и принес домой. А теперь он стал веселый и славный лохматый пёс – весь черный, только на одном ухе белое пятно. И на лапе.

– Ты уверена, что его там нет? – сомневается мама. – Как следует проверила? Может, спрятался, мерзавец? Хотя где там спрячешься?.. Ни мебели, ни штор, ничего – хуже, чем в хлеву. Разве что в сундуке... Или в уборную юркнул. Нет, в уборную нужно пройти через прихожую, ты бы заметила. Интересно, куда же его черти уволокли?..

– Мой брат, – говорит Анна Моисеевна, – еще прежде, чем он пошел в университет и сделался профессор, успел немного поучиться в ешиботе. Знаете, тогда все еврейские юноши учились в ешиботе. Так я тоже училась рядом с ним. Сяду себе сбоку и слушаю – ушки на макушке. Пять лет почти каждый день. Не потому, что я была такая суффражистка, но я не хотела, чтобы братья были умнее меня. У меня ведь, вы знаете, был еще один брат – этот на два года младше, а тот на два года старше. Я между ними. Я была настоящая Брурия – слышали про нее? – жена раби Меира. Ученая женщина. Между прочим, одного моего мужа таки да звали Меир. Но это уже потом, а тогда я была еще девочка. И тот мой брат,

старший, сразу бросил ешибот и ушел делать революцию. Так вы знаете? – в результате он погиб на Гражданской войне.

– Ах, какое несчастье, – сочувствует мама, – сколько бессмысленно загубленных жизней!.. К чему эти подвиги? Проклятый героизм, дурацкое молодечество! Ни о себе не думают, ни о близких...

– Нет, вы знаете, хорошо, что погиб, – не соглашается Анна Моисеевна, – если бы не погиб, то потом его ликвидировали бы, как всех остальных. Ему нужны были эти мучения? Ха! Тухачевский, Якир, Фельдман – я могу вам перечислять до завтрашнего дня. Горячие головы – рвались в великие полководцы. Он тоже к этому двигался – стать большим командиром. Все хотят быть Александры Македонские. Много Александров Македонских не надо, достаточно одного. Ничего, погиб, и все. По крайней мере, мы не стали членами семьи врага народа. Зачем я вам это рассказываю? Потому что когда я пошла в университет, я была уже лучше других. Я знала всю эту древнюю историю с нашей, с еврейской стороны. И после того как я знала наш древнееврейский язык, мне раз плюнуть – тьфу! – было освоить греческий и латинский...

– Разве между этими языками есть сходство? – сомневается мама.

– Сходство не нужно, нужно иметь голову, – Анна Моисеевна стучит костяшками пальцев по своей лысеющей голове, вздыхает и долго еще хлопает бледными выпученными глазами. Наверно, вспоминает брата.

Уроки кончились, все девочки ушли, а я сижу за партой и никак не могу встать, даже портфель не складываю. Сидеть бы вот так в пустом классе и сидеть, и чтобы никто меня не видел и не трогал... Ика ушла – мать велела ей стрелой нестись домой, потому что не с кем оставить Ирку. Она сегодня работает. Ипподром только начали восстанавливать после пожара, а киоск «Пиво – воды» сразу восстановили. На самом деле нужно было написать не «Пиво – воды», а «Пиво – водка».

Папа вчера вернулся домой под утро и очень пьяный, значит, и сегодня повторится то же самое. Раньше он пил один раз в месяц, и когда этот день проходил, целый месяц потом можно было жить спокойно. А теперь он начал пить по два дня подряд. И если это случилось вчера, значит... Я не могу, не могу больше!..

Я выползаю из-за парты и подхожу к окну. Ничего там нет за окном, все серое, тусклое. Я, наверно, заболела. Я не могу больше его ждать! Лежать, прислушиваться к каждому звуку, трястись, что он вообще не вернется... Мама думает, что если она будет стелать и плакать, взывать к его былым чувствам и обзывать всякими словами, он вдруг опомнится и бросит пить. Он не бросит. Он не может бросить.

Дверь класса открывается, заходит Анастасия Георгиевна. Что она тут забыла, почему не уходит домой? Только ее мне не хватало!

– Куда эт ты глядишь? – интересуется она. – Чего не идешь домой? Давай, собирайся живо!

Ни живо и никак – я не могу, ничего не могу, оставьте меня в покое!

– Ну что стоишь, как статуя? – возмущается она. – Кому говорю: ступай домой!

Я молчу. Я молчу, но из горла у меня начинают вдруг вырываться какие-то ужасные звуки – хрипы, всхлипы, рыдания. Я не хочу, это само, само!

– Ты чего? Чего воешь? – пугается Анастасия Георгиевна. – Обидел, что ли, кто? Что случилось? Говори!

Я не хочу говорить, что я могу сказать?

– Какое такое горе? – ухмыляется она. – Надругался, что ли, кто? Может, какой ремесленник ссильничал? Понесла, что ли?

Я не понимаю, о чем она говорит. Не понимаю и не собираюсь понимать. Мне все равно, что она говорит. Что мне делать?! Она теперь расскажет всем, что со мной было...

– Нет, не может быть, – говорит она, – у тебя небось и кровей-то еще не случилось. Ну, говори, что приключилось? Чего орешь? Отвечай! Да что ж это? Вот еще на мою голову! Мать, что ли, позвать? А как? – все ушли...

Я хватаюсь руками за подоконник – действительно, что это, что со мной? Ноги подгибаются, я съезжаю на пол. Что это на меня накатило? Я не хочу, чтобы она это видела! Что мне делать?..

Я сижу на полу, упершись виском в батарею, мама сидит за учительским столом, обмахивается тетрадкой и тоненьким-тоненьким голоском жалуется на меня Анастасии Георгиевне. Анастасия Георгиевна стоит перед ней со своим чемоданчиком и не знает, как реагировать. Что это, зачем это все?

Я лежу на папиной кровати поверх покрывала прямо в грязных ботинках и в шубе. Мама сидит на стуле возле стола. Значит, я все-таки сложила портфель, когда же я успела? Мне холодно, меня всю колотит, почему меня так колотит? Я не хочу... Вообще ничего не хочу...

– Детей можно рожать, нельзя рожать евреев! – говорит Анна Моисеевна. – Представляете, если бы я родила ребенка? – вы думаете, он сказал бы мне спасибо, что я родила еврея?

Мама не вспоминает про то, что было. Только горестно поджимает губы и вздыхает. Папа тоже ничего не говорит, но он, наверно, и не знает ничего, его ведь не было дома. Я не помню, когда он вернулся. Но какая разница, когда? – главное, жив. Волосы на голове стоят дыбом – но они у него всегда стоят дыбом, когда он слишком много выпьет. Подумаешь – волосы!..

Мама нашла парикмахершу, которая будет приходить к нам каждый месяц красить ей голову. Раньше она красила сама, но парикмахерша будет красить по-научному.

– Ах, что вы – у вас прекрасные волосы, – говорит парикмахерша, – грех жаловаться.

– Были прекрасные – лет двадцать назад, – вздыхает мама. – Я вам как-нибудь при случае покажу свои косы. Много пропало, куда более ценные вещи, а косы остались – по сей день хранятся в сундуке. Несколько раз стриглась, сдуру, конечно, знаете, после революции... И во время НЭПа. Поветрие такое было – короткая стрижка. Всех под одну гребенку. Но потом опять отрастали, в руку толщиной, ей-богу. Не подумайте, что хвастаюсь, но вообще, я вам скажу, это большая редкость – чтобы волосы вились и при этом были такие густые и длинные.

– Они у вас и сейчас вьются, – замечает парикмахерша, аккуратно раздвигая остреньким кончиком расчески мамини жиденькие

слипшиеся прядки и проводя по ним ватным тампоном со смесью хны и басмы, – я даже подумала: завивка.

– Нет, никогда не нуждалась ни в каких завивках – что скрывать, роскошные были волосы. И цвет такой не совсем обычный, с бронзовым отливом... Если вам случалось видеть картины Боттичелли – «Рождение Венеры», «Весна» и «Три Грации»... Я имею в виду ту, что справа... Многие находили сходство. Как ни пытаюсь теперь добиться такого оттенка, не удается – то слишком рыжие получаются, то слишком темные. Никак не могу нащупать верную пропорцию. Да, много чего было, да сплыло...

– Ах, что вы – для своего возраста вы отлично выглядите: кожа белая, гладкая, ни одной морщинки, – хвалит парикмахерша. – И глаза у вас потрясающие – чистый изумруд.

– Кожа – да, кожа пока еще приличная, – соглашается мама. – Стараюсь по мере сил поддерживать... Уже лет пять, с тех пор как появились хоть какие-то продукты, регулярно приготавливаю питательный лосьон – одна знакомая дала рецепт. Если хотите, я вам перепису.

– Спасибо, конечно, хочу, – благодарит парикмахерша. – Это так важно: пользоваться правильной здоровой косметикой.

– Да, Платон сказал: «Женщина без косметики – что пища без соли». Кожа, вы правы, еще ничего... Если бы только не эти отвратительные пятна на шее... Выступили во время беременности, и никакая холера их не берет! У других исчезают впоследствии, а у меня всё, как приклеились.

– Существуют, говорят, какие-то мази, – припоминает парикмахерша.

– Нет, что вы, упаси бог! Это все с цинком или ртутью – страшная отравка! К таким средствам я не стану прибегать.

– Да? – смущается парикмахерша. – Ну, вы лучше знаете...

– Вы никогда не слышали эту историю – про сеньору Тоффану? – спрашивает мама.

– Нет, – признается парикмахерша, – а что за история?

– Что вы – как можно не знать! Сеньора Тоффана, одна из самых известных отравительниц. Жила в семнадцатом веке в Палермо. Составила рецепт отбеливающей примочки, так и называлась: Аква Тоффана. Добавляла в нее крысиный яд. Говорят, предупреждала покупательниц, что пользование небезопасно. Однако как бы между прочим намекала, что может служить надежным средством от ревнивых или неверных мужей. В конечном счете отравила на тот свет более шестисот благородных супругов. Правда, кончилось все печально: осудили и казнили. Не помню уже – то ли сожгли, то ли обезглавили.

– Да, – замечает парикмахерша, обматывая мамину голову клеенкой, – вот и женись после этого...

– А с другой стороны, вы знаете, – размышляет мама, – можно понять: когда молоденькую девушку отдают замуж за старика, разумеется, хочется избавиться. Это теперь каждый мало-мальски стоящий мужчина на счету, хоть урод, хоть калека, хоть старик, лишь бы хоть как-то оправдывал надежды, а раньше с легкостью расправлялись. Ради такой заманчивой перспективы – остаться богатой вдовушкой – многие готовы были рискнуть.

– Ужасно! – сокрушается парикмахерша. – Дикость какая-то. Ну вот, готово. Часок подержать, потом вымоете теплой водой и расчешете. Если хотите, я забегу, уложу.

– Даже не знаю, нужно ли это, – сомневается мама. – Укладывай, не укладывай, молодости не вернешь...

Мы лежим в шкафу. Новенький шкаф, только что с фабрики, пустой, и внутри в нем такой замечательный запах.

В третьей четверти, сразу после зимних каникул, нас перевели в химический кабинет. Он почти такой же, как физический, и столы в нем такие же, тоже стоят в два ряда, но ступенек нет, пол ровный. За одним столом со мной теперь сидят Ира Грошева, Таня Карпова и Вера Мясникова. Вера так же, как Таня, пришла к нам только в этом году. Ее отец – заместитель министра лесной промышленности, они недавно получили двухкомнатную квартиру в новом доме в самом конце Беговой улицы, напротив гастронома, – там выстроили несколько трехэтажных домов. Близко от Николая Петровича. Я несколько раз была у Веры дома, нас выбрали, чтобы мы выпускали стенгазету. Анастасия Георгиевна сказала, чтобы выбрали нас, если мы такие шибко грамотные... Нас и выбрали.

Квартира у Веры свеженькая, чистенькая и пахнет известкой. В одной комнате, той, что побольше, живут папа и мама, а в другой, поменьше, Вера с сестренкой Наденькой и бабушкой. Верина мама сказала, чтобы мы со своей стенгазетой устраивались на кухне, кухня у них большая, есть даже обеденный стол. В первый вечер мы нарисовали заголовки, а потом стали постепенно переписывать и приклеивать статьи. Вера говорит, что если у них родится еще одна девочка, ее назовут Любой. Но кровать для Любы придется поставить у родителей, потому что в маленькой комнате уже нет места.

Вера хочет дружить с нами – со мной и с Икой, поэтому она согласилась остаться после уроков – играть в прятки. Ира Грошева тоже вначале хотела остаться, но потом все-таки ушла. Очень послушная девочка, всегда все делает как положено. А Таня Карпова ни за что не станет терять время на сидение в шкафу – в шкафу темно и книжку не считаешь. Мы уже пятый месяц учимся вместе, но я до сих пор ничего про нее не знаю: ни откуда она взялась, ни где жила раньше – спросить ее ни о чем невозможно, она все время читает. Тихоня и все время читает.

Шкаф большой, с четырьмя широкими дверцами. Но самое замечательное, что внутри есть полки, а перегородок никаких нет, какую дверцу ни откроешь, можно пролезть в любой уголок. Когда дверцы закрыты, уже невозможно перескочить с полки на полку, не получается. Мы договорились, что один кто-нибудь будет водить, а остальные прятаться. Тот, кто водит, должен угадать, кто на какой полке лежит.

Ира Грошева ушла, зато осталась Наташа Горбатова – ее-то дома уж точно никто не ждет.

Играть нам скоро надоедает, мы все забираемся в шкаф, лежим, каждая на своей полке, и потихонечку разговариваем. Как будто в поезде дальнего следования. Как будто едем куда-то далеко-далеко...

– Лучше бы твоего отца сделали замминистром мясной промышленности, – размышляет на верхней полке Ика.

– Почему? – спрашивает снизу Вера.

– Если уж он Мясников... Мяска было бы от пуза... – вздыхает Ика. – Колбасы всякие... А от леса какая польза? Зайцев, что ли, стрелять?

– Почему же? Бревна, доски – можно дачу построить, – возражает надо мной Наташа.

– Дача у нас есть – правительственная, – говорит Вера. – А мясной промышленности его не могут сделать, он Лесной институт окончил.

– Лесной тоже хорошо, – говорю я просто так, чтобы Вера не расстраивалась.

В шкафу тепло, уютно, душисто... Вот бы остаться тут насовсем. Лежать и лежать, вообще никуда не уходить... А что? Утром проснемся, девочек никого еще нет, а мы уже тут...

Дверь в кабинет с треском открывается, наверно, нянька пришла убирать. Точно – гремит ведром, шаркает половой щеткой. Мы лежим и не дышим, ждем, пока она удалится.

И тут Ика как назло чихает.

– Ой! – вскрикивает нянька. – Батюшки-светы, кто ж это тут? – подбегает к шкафу и распахивает дверцу. – Хулиганки, бесстыдницы, напугали – чуть кондратий меня не хватил! Я уж думала, бандит какой проник...

Мы щуримся от света и пытаемся успокоить ее.

– Извините, пожалуйста, мы не нарочно, – говорит Наташа, свешивая наружу ноги.

– Не нарочно? Это как же? По нечаянности в шкаф залезла? Еще обманывают! Дурее себя ищут. Марь Иванна! Марь Иванна! – вопит она, выскакивая из класса. – Глядите, чего делают!

Вряд ли Марья Ивановна услышит ее у себя в кабинете на первом этаже.

– Ну почему они все такие злющие? – огорчается Наташа.

Мы выкатываемся из шкафа, хватаем портфели и пытаемся удрать – как-никак мы скачем по лестнице быстрее, чем нянька. Но она перевешивается через перила и кричит:

– Маш, а Маш! Двери запирай! Не выпускай их, бандиток этих!

Тетя Маша тоже нянечка, только она дежурит внизу, в раздевалке, отвечает за пальто и калоши.

– В шкафу спрятались, в химическом. Засаду устроили. Верно, посмеяться надо мной намерились. Я вошла убираться, а они там. Притаились и сидят. Чуть родимчик со мной не случился, ей-богу! – докладывает нянька Марье Ивановне.

– В шкафу? – рычит Марья Ивановна. – В каком шкафу?!

– А в новом. Который третёва дни составили.

– Засаду в шкафу? – Марья Ивановна пошире раскрывает заплавленные жиром глазки. – Да вы знаете, как это называется? Понимаете, что вам за это будет?! Фамилии! Послать за родителями! Немедленно! Телефоны есть?

У нас троих – у меня, у Веры и у Наташи – телефоны есть. У Ики нет. Только Марья Ивановна напрасно думает, что Борис Горбатов явится объясняться с ней из-за Наташи, ни за что не явится. Самое большее, пошлет экономку – все хозяйство у них ведет экономка, пожилая солидная женщина. Да и то вряд ли... Пустой номер...

– Новенькая, что ли? – приглядывается Марья Ивановна к Вере.

– Новенькая... – признается Вера.

– Между прочим, ее отец – заместитель министра лесной промышленности, – сообщает Наташа очень вежливо.

– Вот как... Лесной... Тайга... Лесозаготовки... – Марья Ивановна умолкает, как будто пытается что-то припомнить, и говорит уже потише. – А твой отец кто?

– Мой отец писатель Горбатов. Лауреат Сталинской премии.

– Знаю, что лауреат... – бурчит Марья Ивановна. – «Непокоренные»... Марш отсюда обе! И чтобы не повторялось! Понятно? Страмница... Распустились, позорницы!..

Наташа и Вера уходят, мы с Икой остаемся. Марья Ивановна велит тете Маше послать кого-нибудь за Александрой Филипповной.

– Она на работе, – предупреждает Ика.

– На работе? – рычит Марья Ивановна. – Это мы еще проверим! – требует у Ики дневник и скоренько что-то строчит в нем. – Убирайся! Завтра без матери в школу не приходи!

Ика вздыхает, смотрит на меня печально и уходит. Я остаюсь одна и жду, пока появится мама. Надо же: и телефон у нас есть, и мама моя не работает...

– Боже мой, боже мой! – начинает мама с порога. – Ну что еще? Как будто без этого мало несчастий!..

– Страмница, хулиганка! Дрянь позорная! – заходится Марья Ивановна.

– Что? Что еще она натворила? – добивается мама.

Но Марья Ивановна не собирается объяснять, в чем заключаются мои прегрешения.

– В ремесленное! В колонию! – надрывается она.

Может, вообще не помнит, что произошло и о чем идет речь, главное, есть причина поорать – неважно на кого, кто попался под руку, на того и орет – всегда одни и те же слова, выкрикивает весь набор своей ругани и начинает сначала. Можно подумать, что в ней упрятан такой патефончик – ставят пластинку, и будет крутиться, пока не кончится завод.

– Бандитки, хулиганки, сгною, в пыль сотру, вы у меня попляшете! Кровавыми слезами заплачете!

Наверно, ей представляется, что тут целая банда головорезов. А тут всего-навсего одна я.

– Я хочу в колонию, – говорю я, когда она слегка выдыхается.

– Хочешь?! – Марья Ивановна надувается, как огромная лягушка, вот-вот лопнет от возмущения. Даже пытается привстать на стуле, но шлепается обратно.

– Хочу – как у Макаренко.

– Как у Макаренко? Как у Макаренко – нету! Как у Макаренко – в книжках! Вы еще не нюхали! Видали такую умную – как у Макаренко!.. Колония – это колония! Голодом, понимаешь, морят и каждый день бьют – вот что такое колония! Сдохнешь, враз ноги протянешь! Цинга, туберкулез, при попытке к бегству – расстрел!..

– Не говорите, – подхватывает мама, – потчуют их всякими идиотскими выдумками, морочат неокрепшие головы дурацкими химерами, неудивительно, что...

Но Марья Ивановна не желает слушать ее, ей нравится выступать самой.

– В яму бросят и снегом закидают! Без гроба, без креста!

Откуда она все это знает? Может, она сама сидела в колонии?

– Вон! Не здесь, не в моей школе!.. Страмница! Исключить! Немедленно! Насовсем! С завтрашнего дня! В ремесленное! – бушует она.

Ремесленное у нас рядом, через дорогу, возле фабрики-кухни, кирпичное здание между двумя проходными. Девчонок я там не замечала, похоже, что туда только мальчишек берут. Ремесленники все деревенские, теперь, после Алешино, я понимаю – матери отправляют их в город, чтобы спасти от голода, чтобы не пухли, как было написано той стенгазете, которая висит в сельсовете. Но им и в Москве не намного лучше. Москвичи их ненавидят, говорят, что они бандиты. Мама тоже говорит, что они бандиты. Может, они и бандиты, но что же еще им остается? Если у них никого нету и они никому не нужны. Похоже, что теперь их вообще не выпускают на улицу, а раньше они подкарауливали нас, когда мы шли в школу, пытались отнять у нас завтраки. Я ужасно боялась их и просила папу, чтобы он провожал меня по утрам. А нужно было не бояться, нужно было отдавать им эти несчастные завтраки, и все. Не ждать, чтобы они их выпрашивали или отбирали – сразу отдавать. Обошлась бы как-нибудь, наверняка обошлась бы...

В Алешино люди пухнут с голоду, а в Дубултах мама насильно заставляла меня выпивать сметану, которую я ненавижу, не могу пить – у меня от нее болит в боку. Как же, если сметана останется на столе, то достанется какой-нибудь официантке или уборщице. Сметану невозможно сложить в кувшин и увезти с собой в Москву.

– Как миленькая сдохнешь! – грозит Марья Ивановна.

– Я хочу сдохнуть! – говорю я. Почти кричу – пускай лопнет от злости.

– Хочешь сдохнуть?! Страмница! Наглая! Хабалка! Еще будет мне тут отвечать!

– Да, хочу. Сдохнуть можно только один раз, а жить тут приходится каждый день. Я не хочу жить. Вообще не хочу! И раньше не хотела, а теперь тем более не хочу.

– Что?! – вопит Марья Ивановна. – Не хочешь жить? Позорница! Молчать! Еще рот мне тут разевает! Не рассуждать! Я тебе покажу! Ты еще не знаешь, что такое сдохнуть! Ты еще не пробовала сдохнуть!

Можно подумать, что она пробовала.

– Ах, не слушайте вы ее! – стонет мама. – Пустое фрондерство, дешевая демагогия, отвратительное фиглярство. Начиталась дурацких книг. Наслушалась своего дорогого папашу...

Дорогого папашу? Интересно, кто из них двоих беспрерывно причитает: «Хоть бы уже сдохнуть скорее!..»?

– В психушку! В изолятор! – вопит Марья Ивановна.

– Мальчик веселый из Карабаха, – поет Рита Шамайская, –

Так называют люди меня!..

Там, где тропинка узкая вьётся,

Скачет отважный, смелый джигит,

Конь быстроногий не спотыкнётся,

Выстрел услышит, не задрожит.

Каждый наездник, каждый рубака
Скажет «Спасибо!» мне за коня,
Мальчик весёлый из Карабаха,
Так называют люди меня!

Пейте прохладную,
С гор водопадную,
Вот вам, Красавчики, чистая вода,
Ах, горная вода, ах, светлая вода!

Надо же – столько лет учимся вместе и не знали, что она так чудесно поет! Замечательно! Такой звонкий голосок – настоящий волшебный колокольчик. Мне кажется, Рита стоит не на сцене нашего маленького актового зала, а на крутом склоне величественного Кавказа, с которого несется этот дивный хрустальный поток. Несется, скачет по камням, рассыпается солнечными брызгами...

Хочется пить эту воду, ловить брызги губами, стоять под водопадом, купаться в его ледяных обжигающих струях! Высокие безлюдные горы, сияющие снега, голубое небо, и между искрющимися горными пиками и бездонным голубым небом Рита, наша Рита!..

Э-э-э! Эй-э-э!
Пейте, кони мои!
Пейте, кони мои!

– Бис, браво! – кричим мы. Нам хочется самим взбежать, взлететь на эти вершины. – Еще, еще! Бис, браво! Еще!

– Мальчик веселый из Карабаха,
Так называют люди меня! –

поет она снова.

Это она – она! – мальчик веселый из Карабаха! Светлая, звонкая, прекрасная!.. Как мы могли не знать?.. В школе не первый раз проводятся вечера Первого мая и всяких других праздников, почему же она никогда раньше не пела?

– Бис, браво!.. Браво! Рита!.. Еще раз, еще! Рита! Ри-та! Ри-та! Ри-та!!! – неистовствует зал.

Анастасия Георгиевна взбирается на сцену, машет руками, пытается утихомирить нас. Где уж ей! Не надо было набивать в такой маленький зал столько народу – чуть ли не все шестые классы. Анастасия Георгиевна кричит что-то Рите в ухо – я не слышу, но догадываюсь: «Пой еще! Пой!» – кричит она. Хитрая – если Рита запоет, мы замолчим.

– Мальчик веселый из Карабаха...

Все девочки, весь зал вскакивает на ноги –
– Ри-та! Ри-та! Ри-та!!!

Мы не знали, что за чудо живет с нами рядом, какое сокровище нам досталось, но теперь мы уже не отходим от нее, мы хотим, чтобы она все время нам пела.

– Ну, пожалуйста, пожалуйста!

Рита стоит у раскрытого окна – такая нежная, милая, хорошенькая, ветерок играет ее светлыми кудряшками, а за окном весна, солнышко, лопаются душистые почки на деревьях. Нет, все-таки в жизни бывает и хорошее, даже по-настоящему прекрасное – не только плохое.

– Шли мы раз на дело, выпить захотелось, –
запеваает Рита, –

Мы зашли в шикарный ресторан.
Там большая зала, в ней танцует пара,
Мурка и какой-то лейтенант.

Я к ней подбегаю, за руку хватаю:
«Мурка, в чем же дело? Мне с тобою надо говорить»,
А она смеется, крепко к парню жметя,
«Не о чем, – сказала, – говорить».

Все-таки «Мальчик веселый из Карабаха» подходит ей больше,
чем «Мурка». Так мне кажется. Но все равно, пусть поет, пусть поет
что хочет, только пусть поет.

Мурка, в чем же дело? Что ты не имела?
Или не хватало денег, барахла?
Ну что ж тебя заставило повернуть налево
И пойти работать в Губчека?

Весь класс тут, некоторые девочки взобрались на парты, чтобы
лучше видеть и слышать.

– Ну что ж тебя заставило повернуть налево
И пойти работать в Губчека! –

подпеваем мы.

Папа тоже иногда поет «Мурку», только по-другому:

Разве тебе плохо было между нами,
Разве не хватало форсов, барахла?
Что ж тебя заставило связаться с мусорами
И пойти работать в Губчека?

Дверь открывается, и в класс вкатывается Клякля, Анна Яков-
левна Шклярская – наша новая учительница английского. Все хоро-
шие учителя уходят: Нина Константиновна ушла, и Марина Алек-
сандровна, которую мы так любили, тоже ушла, а приходят такие,
как Клякля. Клякля уж точно никуда не уйдет.

Поначалу мы как будто не замечаем ее – пускай себе входит.
Рита продолжает петь, Клякля останавливается.

– Кто это тут поет в школе такую скверную песню? – спрашива-
ет она.

Девочки одна за другой спрыгивают с парт, Рита перестает петь,
кто-то хихикает потихоньку.

– Это я пою, – говорю я.

– Ты? – не верит Клякля. – Что-то я раньше не слышала, чтобы
ты пела.

– Ну вот, теперь вы слышите.

Девочки смеются.

– Ты знаешь такие скверные песни? – допытывается Клякля.

– Знаю, – говорю я.

– Тогда спой мне еще раз. Мне интересно, что ты там знаешь. Не
думай, я вижу, что ты врешь.

– Раньше ты ходила в новеньких сапожках,
В новеньких сапожках на большой, –

пою я, –

А теперь ты ходишь в рваненьких галошках,
Потому что стала не блатной!

Клякля свешивает голову набок – она всегда свешивает ее на-
бок, от этого на шее у нее уже образовался целый мешок лишней

кожи. С одной стороны шея гладкая, а с другой отвисает чуть ли не до самого плеча. Вообще вся она похожа на большой мешок с картошкой, перетянутый посредине веревкой. Ну, не веревкой, поясом. Из-под юбки торчат две кривые ноги, обутые в скособоченные туфли. Хоть бы набойки сделала, что ли, – каблуки стертые до самой подошвы.

– И откуда же ты знаешь такую гадкую песню? – интересуется Клякля. – Кто тебя научил?

– Папа, – говорю я.

Девочки покатываются со смеху.

– Ты хочешь сказать, что твой папа поет такие песни?

– Мой папа поет много разных песен, – говорю я и нарочно сажусь на крышку парты верхом.

– Ты вообще не можешь петь никаких песен, – заявляет Клякля, – у тебя нет слуха. Тебе на ухо наступил медведь.

– Обижаете, гражданин начальник, – хмыкает за моей спиной Варя Батищева.

– Ты очень распушенная и безобразная девочка, – продолжает Клякля. – Я поговорю с твоей мамой.

– Поговорите.

Последнее слово должно остаться за мной, а не за ней. Когда Александра Филипповна ругает Ику – а она почти всегда ее ругает, – больше всего ее возмущает, что Ика ей отвечает. «Оставь матери последнее слово!» – кричит Александра Филипповна, но Ика ни за что не оставляет – хоть ты ее убей.

– Раньше чем я пошла за директором, – пугает Клякля, – садитесь за парты, и мы начинаем урок. В английском языке так же, как в русском, есть разные времена глаголов, – сообщает она. – Только их больше. Настоящее время называется *презент*, это вы знаете. Например, *ай ду*. Означает: я делаю. Всегда делаю, постоянно. Одно и то же. *Презент индефинит*.

– Ай-ду-ду, ду-ду-ду! – затягивает Света Васильева, – означает ерунду... Ерунду-белиберду! Лева-права не найду...

Клякля хмурится, склоняет голову набок и внимательно оглядывает класс. Но не может угадать, кто ее дразнит. Глуховата. Может, поэтому она и свешивает все время голову на сторону?

– Свиридова! Иди и придумай нам предложение с *презент индефинит*.

Шура Свиридова выходит к доске и в ужасе смотрит на нас: спасайте!

– Ай гоу! – подсказывают из класса.

– Ай гоу, – бормочет Шура.

– Правильно, – соглашается Клякля. – Но куда ты идешь?

Шура шмыгает носом.

– В школу!

– «В школу» меня не интересует – меня интересует по-английски! – сердится Клякля.

– Ту скул! – шепчут с разных сторон.

– Ту скул! – повторяет Шура.

– Все предложение вместе! – требует Клякля.

– Ай гоу ту скул, – произносит Шура неуверенно.

– Хорошо.

Клякля поворачивается к доске и пишет: *Present Indefinite. I go to school every day* – я иду в школу каждый день.

– Я хожу в школу каждый день, – поправляет Света Васильева.

– Пускай будет «хожу», если тут есть кто-то такой умный, – ворчит Клякля и продолжает писать.

Шура приседает за ее спиной и подмигивает нам: глядите! Изображает, будто вколачивает Клякле в зад железяку, которой заводят моторы автомобилей. Зад у Клякли широкий и плоский. Вколачивает и как будто старается провернуть. Класс грохает от восторга.

Клякля перестает писать и оборачивается. Шура как ни в чем не бывало стоит возле учительского стола.

– Интересно, что тут происходит такое замечательное? – спрашивает Клякля. – Почему вы так смеетесь? Скажите, я тоже хочу посмеяться, – и, не дождавшись ответа, возвращается к недописанному предложению.

Шура снова наклоняется и опять очень похоже показывает, как она с великой натугой прокручивает железяку у Клякли в зад – раз, другой и третий, – наваливается всем телом и проворачивает. Класс изнемогает от хохота, девочки чуть не падают с парт. Клякля со стуком бросает мел в ложбинку у нижнего края доски, оборачивается к нам, свешивает голову набок.

– Нет, вы скажите мне, что тут так слишком смешно?!

На глазах у нас выступают слезы, мы еле дышим.

– Если вы не говорите, я иду к Марье Ивановне сообщить, что вы сорвали мне урок! – предупреждает Клякля.

– Ой, не могу! Ой, батюшки!.. – стонут девочки.

– Сейчас ты мне скажешь, как будет: «Сегодня я ем суп!» – набрасывается Клякля на Шуру.

Всему классу она ничего не может сделать, но Шуре она может поставить двойку.

– Тудэй ай ит суп! – отвечает Шура вдруг бодро, без всяких подсказок. – Ай ит суп зври дэй!

Клякля, потрясенная ее ответом, берет со стола журнал и, не простившись с нами, удаляется из класса.

– Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая! – запевают несколько голосов еще до того, как за ней закрывается дверь. –

Здравствуй, а быть может, и прощай!

Ты зашухарила всю нашу малину,

Так теперь маслину получай!..

Мама не позволяет выключать радио. Во-первых, ей необходимо прослушать прогноз погоды на завтра. Без прогноза она как без рук. А во-вторых... Во-вторых, мне кажется, ей в самом деле недостаточно всех тех несчастий, которые уже есть, она надеется, что среди ночи объявят что-то по-настоящему катастрофическое: например, что Америка наконец-то объявила нам атомную войну или про падение Тунгусского метеорита на Фундуклеевскую гимназию.

Мы лежим в своих постелях: папа и мама в своих кроватях в противоположных углах комнаты, а я посередине, возле стола, на раскладушке, – лежим, но не спим. Я точно знаю, что мама не спит. Обычно она мгновенно засыпает – только уронит голову на

подушку, и тут же начинает громко храпеть, но сейчас она лежит тихо. Папа тоже не спит, понемножку ворочается и сопит носом.

Так прошел весь вечер, и наступила ночь, – читает по радио замечательно красивым голосом актер Качалов. – Доктор ушел спать. Тетушки улеглись. Нехлюдов знал, что Матрена Павловна теперь в спальне у теток и Катюша в девичьей – одна.

Нехлюдов сошел с крыльца и, шагая через лужи по оледеневшему снегу, обошел к окну девичьей. Сердце его колотилось в груди так, что он слышал его; дыхание то останавливалось, то вырывалось тяжелым вздохом. В девичьей горела маленькая лампа. Катюша одна сидела у стола, задумавшись, и смотрела перед собой.

Он стоял, глядя на задумчивое, мучимое внутренней работой лицо Катюши, и ему было жалко ее, но, странное дело, эта жалость только усиливала вожеление к ней.

Вожеление обладало им всем.

Он стукнул в окно. Она, как бы от электрического удара, вздрогнула всем телом, и ужас изобразился на ее лице. Потом вскочила, подошла к окну и придвинула свое лицо к стеклу. Выражение ужаса не оставило ее лица и тогда, когда, приложив обе ладони, как шоры, к глазам, она узнала его. Лицо ее было необыкновенно серьезно, – он никогда не видал его таким. Она улыбнулась, только когда он улыбнулся, улыбнулась, только как бы покоряясь ему, но в душе ее не было улыбки, – был страх. Он сделал ей знак рукою, вызывая ее на двор к себе. Но она помахала головой, что нет, не выйдет, и осталась стоять у окна. Он приблизил еще раз лицо к стеклу и хотел крикнуть ей, чтобы она вышла, но в это время она обернулась к двери, – очевидно, ее позвал кто-то.

Нехлюдов отошел от окна.

Похоже на тот рассказ про Верочку, который мы читали всем классом на уроке ботаники... Неужели это всегда бывает так?

Пройдя раза два взад и вперед за углом дома и попав несколько раз ногою в лужу, Нехлюдов опять подошел к окну девичьей. Лампа все еще горела, и Катюша опять сидела одна у стола, как будто была в нерешительности. Только что он подошел к окну, она взглянула в него. Он стукнул. И, не рассматривая, кто стукнул, она тотчас же выбежала из девичьей, и он слышал, как отлипла и потом скрипнула выходная дверь. Он ждал ее уже у сеней и тотчас же молча обнял ее. Она прижалась к нему, подняла голову и губами встретила его поцелуй. Они стояли за углом сеней на стаявшем сухом месте, и он весь был полон мучительным, неудовлетворенным желанием. Вдруг опять так же чмокнула и с тем же скрипом скрипнула выходная дверь, и послышался сердитый голос Матрены Павловны:

– Катюша!

Она вырвалась от него и вернулась в девичью. Он слышал, как захлопнулся крючок. Вслед за этим все затихло, красный глаз в окне исчез, остался один туман и возня на реке.

Когда опять все затихло и послышался опять спокойный храп, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и подошел к самой ее двери. Ничего не слышно было. Она, очевидно, не спала, потому что не слышно было

ее дыханья. Но как только он прошептал: «Катюша!» – она вскочила, подошла к двери и сердито, как ему показалось, стала уговаривать его уйти.

– На что похоже? Ну, можно ли? Услышат тетеньки, – говорили ее уста, а все существо говорило: «Я вся твоя».

И это только понимал Нехлюдов.

– Ну, на минутку отвори. Умоляю тебя, – говорил он бессмысленные слова.

Она затихла, потом он услышал шорох руки, ищущей крючок. Крючок щелкнул, и он проник в отвернутую дверь.

Он схватил ее, как она была в жесткой суровой рубашке с обнаженными руками, поднял ее и понес.

– Ах! Что вы? – шептала она.

Но он не обращал внимания на ее слова, неся ее к себе.

– Ах, не надо, пустите, – говорила она, а сама прижималась к нему.

Когда она, дрожащая и молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он вышел на крыльцо и остановился, стараясь сообразить значение всего того, что произошло.

«В жесткой суровой рубашке с обнаженными руками...» Но почему же – зачем она согласилась?!

– Павел, ты помнишь? – говорит вдруг мама. – Когда-то мы читали это у тебя в мансарде.

Папа молчит.

Мы не едем в этом году в Дубулты – папе сказали, что мы уже два года подряд получали путевки на Рижское взморье, теперь должен поехать кто-то другой – желающих в летний сезон много, и мест не хватает. Папа, конечно, не стал спорить, тем более что ему предложили на выбор два других дома творчества: или на озере Севан в Армении, или «Ирпень», расположенный на одноименной реке неподалеку от Киева. Про Армению и озеро Севан мама не захотела даже слушать, а на Ирпень согласилась. Сказала, что Ирпень сам по себе ее абсолютно не интересует, дрянная речонка и захудалый дачный поселок, и никакой пользы для ее гипертонии там, конечно, не предвидится, но зато можно заехать на несколько дней в Киев, погостить у Лидочки и посетить дорогие сердцу места.

– Угу, – папа то ли вздыхает, то ли зевает. – Захудалый, но прославленный.

Ирпень это память о людях и лете,

О воле, о бегстве из-под кабалы,

О хвое на зное, о сером левкое

И смене безветрия, вёдра и мглы...

Я не знаю, чьи это стихи, но не может быть, чтобы так красиво писали о какой-то дрянной речке. Наверно, это замечательное место. Хорошо, что мы поедем туда.

– Между прочим, мой дорогой Кисик, – вспоминает папа, – в результате битвы на реке Ирпень Киев и сопредельные ему земли подпали под власть твоего обожаемого Великого княжества Литовского.

– Не выдумывай! – сердится мама. – Что за бред? С какой стати я должна обожать Литовское княжество? Вильно – польский

город, литовское княжество тут совершенно ни при чем. Литовцы испокон веков были извозчиками и дворниками.

– Как? – удивляется папа. – Насколько я мог наблюдать, в Дубултах ты завязала самую нежную дружбу с Витаутасом Сириос-Гирой и его женой Яниной.

– Янина не литовка, а полька, – уточняет мама, – а Сириос-Гира вполне интеллигентный человек.

– То есть, если я правильно понял, в силу этого уже не вполне литовец.

– Оставь меня в покое со своими литовцами и дурацкими битвами! – возмущается мама.

От Лидочки пришло письмо. «Дорогая Ниночка! – пишет мамина лучшая подруга. – Поверь, я рада за тебя, что ты имеешь возможность выезжать на курорты. Мы о подобной роскоши давно уже не мечтаем, даже слово это забыли и вообще не стремимся. Сегодня нужно благодарить Бога, если располагаешь хотя бы самыми необходимыми средствами для скромного и непритязательного существования. Смею напомнить тебе, что с моего отъезда в Киев в 41-м году, то есть с нашей последней встречи, минуло более десяти лет, и мы уже далеко не те. Сегодня мы шесть нищих беспомощных стариков».

– У-гу... – тянет папа, – старшему из этих стариков, если не ошибаюсь, еще нет и пятидесяти.

– Не мели ерунды! – сердится мама. – Как это нет и пятидесяти? Владимир Павлович тысяча восемьсот девяносто восьмого года рождения.

– Ага, значит, пятьдесят четыре. Прошу прощения за неточность.

«О себе могу сказать, – пишет Лидочка, – что любой шаг, любое движение требуют напряжения всех ресурсов изможденного и подорванного непосильными испытаниями организма. Мусенька так слаба, что не хочется даже описывать. Валериан Афанасьевич и Григорий Михайлович честно трудятся за свои крохотные жалованья, которых едва хватает на хлеб насущный. Покорно и безропотно тянут ляжку. Ни Тоша, ни Муся, как тебе известно, никогда не были мастерицами организовать быт, так что все хозяйственные заботы ложатся на мои плечи, а обслужить шесть человек в нынешних условиях, поверь, непросто. Ад кромешный. Я по-прежнему пытаюсь шить по заказам, ни одна копейка не бывает лишней. Владимир Павлович так и не оправился после всех ужасов фронта и плена, сдал окончательно и еле волочит ноги. Как умеем, поддерживаем друг друга. Прости меня, но о том, чтобы повидаться с тобой во время твоего пребывания в Киеве, не смею и помыслить, ты же знаешь, я уже десять лет не выхожу из дому. Наблюдать эту хваленую действительность мне не по силам, предпочитаю жить отшельницей. К тому же в начале июня мы каждый год выезжаем на дачу, это наша единственная радость, единственное отдохновение. Зимой разыгрываются все хвори, сущая беда, лето все-таки приносит хоть недолгое относительное облегчение. Так и влачим печальное наше житье-бытье».

– Мерзкая ханжа! – постановляет папа. – Десять лет не выходит из дому и при этом каждый год выезжает на дачу.

Мама молчит.

На глазах у нее выступают слезы – то ли ей жалко несчастную хворую Лидочку, то ли обидно, что та отказывается от возможности повидаться с ней.

– Не думаю, что я так уж сильно обременила бы ее своим посещением, – бормочет она дрожащим голосом.

– Н-да... Если ей столь сложно прибыть на свидание в Киев, могла бы, по крайней мере, пригласить тебя на эту самую дачу, – подливает папа горечи в мамино отчаянье.

– Не хочу судить опрометчиво... – мама всхлипывает. – Действительно, бывает такое невыносимое состояние, когда и самый близкий человек в тягость...

– Не видит для себя никакой выгоды в твоём визите.

– При чем тут выгода? Какая тут может быть выгода? Хотелось в последний раз свидеться со старым другом... Столько лет мечтала об этом. Что ж, значит, не судьба...

– Нинусенька, я давно пытаюсь открыть тебе глаза на эту подлую, лживую, двуличную тварь, которую ты возвела в ранг своей главной наставницы. Самое смешное, что ты вбила себе в голову, будто она разделяет твои нежные чувства.

– Не смей, не смей! – взвизывает мама. – Не желаю слышать подобных высказываний в адрес близкого мне человека! Мы не можем знать всех обстоятельств.

– Всех не можем, – подтверждает папа, – но одно несомненно: твоя несравненная Лидочка оскорблена и уязвлена до глубины души – как это ты едешь на курорт, в то время как она этой возможности лишена. Ты, мой милый Кисик, сотворила себе кумир из пошлой, низкой, завистливой бабы!

– Прекрати! Приписываешь человеку несуществующие пороки. Дело вовсе не в этом, никакие курорты тут ни при чем. Нужно войти в ее положение... В сущности, я сама виновата. Она не может простить мне моего легкомыслия... Я это давно знаю. Боже, как она заклинала меня не совершать этого безумия! Специально примчалась в Москву, рыдала у меня на груди, убеждала, умоляла, пыталась остановить, удержать! Представляю себе, каково ей будет, если я явлюсь к ней с этим самым ребенком...

– Подлая иезуитка! Тонкие изуверские переживания. Редкостная мерзавка!

– Не вижу иной причины...

– Проклятая человеконенавистница!

– Вот тут ты уж наверняка ошибаешься, – защищает мама Лидочку. – Всю жизнь только и делает, что приносит себя в жертву. Вышла замуж за нелюбимого человека, лишь бы оградить близких от неизбежных нареканий и унижений...

– Чем же, позволь поинтересоваться, этот нелюбимый человек благодетельствовал ее близких?

– Ничем не благодетельствовал. Чем он мог благодетельствовать? Просто она воспитана в таких правилах, которые не позволили ей стать обузой для мужа.

– Невозможно не согласиться – благородный жест. По крайней мере одному дураку повезло – спасся от этой фарисейки, воспитанной в мерзких правилах показных приличий.

– Да, да, благородный жест! – рыдает мама. – Тебе этого не понять. Когда она вернулась в Киев и узнала, что мать в ее отсутствие спустила на рынке все ее приданое, тотчас отказала жениху, не желая повиснуть камнем у него на шее. Толкнуть ни о чем не подозревающего человека в пропасть нищеты. Не хотела опозорить родителей, не сумевших обеспечить ее даже самым необходимым.

– Разумеется, не знала, как отомстить мамаше за то, что та, спасая себя и младших дочерей от голода, распродала драгоценное приданое! Которое, следует заметить, сама и собрала для ненаглядной дочери. Серебряные ножи и вилки! Нельзя, недопустимо выйти замуж без смехотворного, в сущности, ничего не стоящего и никому не нужного металлолома! Истинное величие духа! Убивалась по поводу своего рухнувшего мещанского благополучия. Жаль, что в отчаянье не покончила с собой – избавила бы человечество от собственной персоны. Расчетливая корыстная гадина! Змея подкожная.

– Боже мой, какая дикая черствость, какое бездушие! – рыдает мама. – Все обогать, облить грязью! Любой, самый светлый и самоотверженный поступок истолковать превратно. Вот именно, что никогда ни единым словом не попрекнула мать. И жениху так и не открыла истинной причины – не желала от него ответной жертвы. Собственным тяжким трудом, в течение четырех лет собирала новое приданое и только тогда позволила себе пойти под венец с человеком, прямо скажем, весьма незавидных достоинств.

– С убогим, ни к чему не годным идиотом! Лишь бы досадить матери. Осчастливила и себя, и близких! Между прочим, тяжкий труд по составлению нового приданого включал в себя пошив пододеяльника, за который она содрала с тебя, своей лучшей подруги, сумму, в пять раз превышающую стоимость полного комплекта самого тонкого и изысканного постельного белья. Бесстыжая выжига и пройдоха! Подлая ехидна!

– Можешь говорить все что угодно, – объявляет мама.

Мне все-таки жалко ее, я понимаю теперь, что это значит: как в воду опущенный. Именно так она и выглядит: как будто ее окунули в холодную и к тому же не слишком чистую воду. Волосы прилипли ко лбу, по опавшим бледным щекам размазаны слезы вперемешку с питательным лосьоном.

– Мерзкая, злобная, завистливая, лицемерная тварь! К тому же наглая и бестактная! – чеканит папа.

Он очень не любит дорогую Лидочку.

Мы не едем в Ирпень. Если Лидочка не может с ней встретиться, мама вообще нечего не забыла в этой дыре.

– Почему же, Нинусенька? – уговаривает папа. – Чудесная природа, прекрасный дом творчества – выдающиеся письменники: Павло Тычина, Володимир Сосюра, Иван Кочерга... Могла бы погулять по Киеву, побродить по местам юности. Визьмэм добру кырпычину та убьем Павла Тычину.

– Прекрати издеваться надо мной! – злится мама.

– Должен заметить, ты ставишь меня в чрезвычайно неловкое положение – вынуждаешь в последний момент отказываться от уже выкупленных путевок.

– Разумеется – неловкое положение! – фыркает мама. – Налакаться по любому поводу, как свинье, ему ловко, а отказаться от никчемных путевок неловко. И еще позволяет себе рассуждать о ханжеских правилах мещанского приличия!

– Как тебе угодно, Нинусенька... – папа усаживается за пишущую машинку, но ничего не печатает, а, откинув назад голову, долго-долго смотрит в окно.

Сам он, оказывается, с самого начала не собирался никуда ехать – ему невозможно покинуть Москву: оба его сослуживца, Петр Александрович Сажин и Павел Филиппович Нилин, уходят в отпуск, хоть кто-то должен остаться на работе.

– Пытался загнать меня в этот чертов Ирпень, чтобы загулять тут на свободе с любезными проходимцами-друзьями! – возмущается мама.

Папа вздыхает и молчит, а когда она выходит из комнаты, читает:

И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог...

...Все девочки разъехались – кто в пионерский лагерь, кто в деревню. У многих, не только у заводских, но и у тех, что живут на Слободке, в деревне имеются бабушки или тетки. Марья Трофимовна однажды спросила, кто из нас родился в Москве. Оказалось, что почти все. Тогда она спросила, у кого родители родились в Москве, и тут выяснилось, что у одной только Иры Грошевой мама родилась на Слободке. Но тогда даже и Слободка еще не считалась Москвой.

Не знаю, зачем Марье Трофимовне потребовались эти сведения. Сама она родилась на Украине, наверно, поэтому она так любит Гоголя. На уроках внеклассного чтения читала нам «Вечера на хуторе близ Диканьки» и заставляла заучивать наизусть: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге...»

Если бы мама все-таки согласилась поехать в Ирпень, я бы тоже узнала, как упоителен и роскошен летний день в Малороссии. Но лучше не думать об этом.

Света Васильева и Вера Мясникова выехали на свои правительственные дачи, Алла Вольфсон тоже уехала на дачу – не правительственную, обыкновенную. Но самое главное, Ика три дня назад уехала к бабушке в деревню. Только я осталась в пустом, пыльном городе. Наверно, никогда еще Москва не была такой серой, душной и скучной. В пионерский лагерь меня не взяли, сказали, что вышло новое постановление: тринадцатилетних не брать, потому что с ними беды не оберешься. Вранье, конечно, – других девочек из нашего отряда, моих ровесниц и даже старше, взяли, это я точно знаю. Олю Ожанову, например, взяли, а меня нет. Это Вера Алексеевна не захотела меня.

– Ничего страшного, – говорит мама. – Почитай книжку.

Раньше всегда возмущалась, что я вместо того, чтобы заниматься делом, хватаюсь за книги, а тут вдруг: «Почитай книжку»...

Ладно, буду читать «Воскресенье», интересно все-таки узнать, что там случилось дальше.

Я придвигаюсь поближе к окну – мамы цветы загораживают весь свет, в комнате у нас постоянная темень, а сегодня еще льет дождь, небо затянули черные тучи. Зажигать лампочку днем мама не позволяет, говорит, что смешение дневного и электрического света вредно для глаз. Папа не слушает ее и зажигает свою настольную лампу, но сегодня он уехал в какую-то редакцию. Я ненавижу мамы цветы. Тем более что она заставляет меня протирать им листочки. Можно отнести их в ванную и в одну минуту обдать струей воды из душа, будет даже чище и красивей, но мама и слышать об этом не желает, ей требуется, чтобы я протирала каждый листик по отдельности.

Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью...

Надо же – мама тоже окончила гимназию с золотой медалью. Не исключено, что и дорогая Лидочка тоже.

...и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву...

В университете мама не училась.

...и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно.

Глуп чрезвычайно – замечательно сказано... Когда папа вернется, спрошу у него, что такое «сервитут».

Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал.

Кто-то звонит в дверь – два звонка, к нам, но мне очень не хочется идти открывать, авось кто-нибудь из соседей окажется рядом и откроет. Кажется, уже открывают...

Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины: швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости так же начинали.

Дверь в комнату распахивается, на пороге появляется Ика, вся мокрая и какая-то пришибленная.

– Ика! – я бросаю книгу. – Откуда ты взялась? Ты же уехала...

– Вернулась, – вздыхает Ика.

– Почему?

Какая разница – почему! Главное, что вернулась. Вернулась, вернулась, вернулась!

– Пусти, ты что? – вырывается она из моих объятий. – Дождь – не видишь? – пальто все мокрое...

– Так что, что дождь?

– Застряли мы. Как на проселок свернули, так и увязли. По самые оси. Чего уж не делали, только хуже буксует. Сутки под ливнем мокли. Отец в колхоз пошел, а что в колхозе, чем они помогут? На МТС послали, хорошо хоть там трактор нашелся. Полтыщи трактористу выложили, лишь бы вытащил и обратно до шоссе доволоч.

Оказывается, Григорий Анисимович договорился у себя на заводе, чтобы ему выделили на три дня грузовичок – к матери с сестрой в деревню съездить. Ику к бабке отвезти, кой-какие вещички им подкинуть. Про продукты, вестимо дело, не распространялся, но кто ж в деревню без продуктов двинется? – это ежу понятно. Сто килограммов везли, если не больше: и сахару, и муки, и крупы, и гороха, и фасоли.

– Откуда же вы столько набрали? – поражаюсь я. – Сахару полкило в одни руки отпускают. А муку и вовсе только к праздникам по килограмму на человека выдают. Да еще всю ночь за ней стоять надо.

– Мать расстаралась, не поленилась, – смеется Ика. – Ясно дело, из-под прилавка. Тому лишнюю трешку сунула, тому десятку. Дядя Вася кой-чего раздобыл. А все псу под хвост пошло...

– Почему?

– Почему! Намокло! Не понимаешь? Отец брезентом кузов затянул, а как ливень хлынул, так и брезент не помог. Тут в Москве дождь знатный, а там еще хуже – тьма непроглядная. Весь кузов как корыто сделался. Все поплыло.

Это я представляю себе – когда мы ехали на дачу к Авровым, тоже насквозь промокли.

– Думали, на целый год им хватит, а теперь только выкинуть осталось, – Ика всхлипывает, вытирает глаза рукавом. – Сахар весь поплыл, мыло тоже – двадцать кусков хозяйственного да десять туалетного. Одни обмылки остались.

– Ну уж – обмылки! – не верю я. – Мыло так быстро не тает. Можно просушить.

– Не веришь? Ладно, хозяйственное еще куда ни шло, а туалетное все расплылось – один кисель... Мука в ком слиплась... Мешок целый.

– Ну что ты, не плачь! – утешаю я.

– Не плачь! Столько добра задаром загло... Не поймешь, где мыло, где масло. Все потекло.

– Погоди – может, просохнет еще... Что ты разревелась, как телка? Не плачь, тетя Шура еще достанет. Посылками перешлете.

– Посылками такие количества невозможно.

– Не сразу, постепенно.

– И постепенно нельзя. В деревне каждый на виду. Если столько посылок получат, скажут: забогатели, опять раскулачат.

– А что – уже раскулачивали? – удивляюсь я.

– А то!

– Они такие богатые были?

– Не то чтобы богатые, но двух коров держали. Северные деревни – они не шибко зажиточные. У кого две коровы, уже кулаки считались. А они как на грех еще лошадь купили. С соседом напополам.

– Как это – напололам? На мясо, что ли?

– Не, одну на два хозяйства. Лошадь вообще-то немолодая была, зато уж как берегли ее, поддерживали, овсом кормили, сами недоедали, лишь бы она сыта была. А вышло, за одну лошадь два семейства угробились, – Ика садится на стул, вздыхает. – Переломили людям жизнь, на убыль народ пошел... За что? Можно подумать, отняли что у кого или украли... Своим горбом заработали.

Я не знаю, что сказать. В школе мы учили, что кулаки были мироеды и эксплуататоры. Понятно, что Ике жалко своих бабушку с дедушкой, но, может, и правда мироеды?.. Неизвестно, чему верить. У Авровых тоже две коровы: Дочка и Субботка.

– Как они теперь, бедные?.. Совсем изголодают... – всхлипывает Ика.

– А батраков держали? – спрашиваю я на всякий случай.

– Каких батраков! Зачем? Семь человек детей. Все сызмальства работали. Отец мой старший был, наравне с дедом трудился. Все отняли. Дармоедам за так досталось, а хозяев в грязь втоптали. Одним только пьяницам да бездельникам почет. Если голодранцы, значит, ни в чем не виноватые. Которые не пахали, не сеяли, по кабакам шлялись, их главными и поставили. Кто больше всех озоровал, в руководство и вышел. Не унижались работой – ни лопаты, ни топора отродясь в руках не держали, а тут дорвались поизгильяться над тружениками.

Не может она этого знать... Это все случилось до ее рождения. Повторяет бабушкины слова. Надо еще разобраться, как оно там на самом деле было.

– Мать газеты расстелила, всю комнату горохом с фасолью засыпала, – рассказывает Ика. – Просушивает. А ничего не сохнет – на улице дождь и в комнате сырость. Ногу приткнуть некуда. Того гляди, со всего дома мыши пировать сбегутся. Вот будет потеха! Кошку придется завести, – смеется она.

То плачет, то смеется.

Жалко, конечно, что столько продуктов зазря пропало, но все-таки я очень, очень рада, что она вернулась!

Мама говорит, что если уж мы этим летом никуда не поехали, то нужно хотя бы выбраться за город, подышать свежим воздухом. Мне совершенно не интересно дышать свежим воздухом, уж если ехать, то к Авровым, к Альме, отвезти ей что-нибудь вкусненькое. Милая моя собака, я ее три года не видела. Как бы было замечательно обнять ее, прижаться к теплому брюху, гладить, целовать, сказать ей, какая она хорошая. Она будет очень, очень рада.

– Да, только этого не хватает, – возмущается мама, – тащиться за тридевять земель, чтобы любезничать с поганой собакой!

В результате мы едем неизвестно куда и неизвестно зачем. По той же самой Киевской дороге, но только не в Мичуринец. Мама еще не решила, где мы сойдем. Где именно должна состояться наша прогулка.

– В таком случае, Нинусенька, – говорит папа, – я покупаю билеты до Зосимовой Пустыни.

– Почему до Зосимовой Пустыни?

– Потому что до Тихоновой Пустыни слишком далеко, и поезд ходит туда раз в сутки в пять часов утра.

– Да, но почему непременно до какой-то пустыни? – недоумевает мама.

– Потому что невозможно, мой милый Кисик, купить билеты до станции Неведаю-Незнаю.

– Хорошо, покупай до Внуково, – злится мама. – Вечно какие-то дурацкие выверты.

Вагон полупустой, дачники уже проехали с утра пораньше, а с работы люди еще не начали возвращаться. Я плюхаюсь на свободную лавку и отворачиваюсь к окну. Мама садится напротив, папа рядом со мной.

Москва Сортировочная забита теми же старыми облезлыми вагончиками, превращенными в жилье.

Их стало еще больше, только дым из труб не идет – лето, тепло.

Матвеевская, Очаково... «Времен Очаковских и покоренья Крыма...» Грибоедов писал не про это Очаково – про город Очаков на берегу Черного моря. Крепость Очаков, за которую русские сражались с турками.

– Павел, мне необходимо посоветоваться с тобой, – говорит мама. – Продащица в «Тканях» вчера сообщила – по секрету, разумеется, – что им завезли штуку шевиота. Можно догадаться, что не одну, по меньшей мере две, поскольку она упомянула и серый, и темно-синий. Вряд ли одна и та же штука может быть и серой, и темно-синей.

– Справедливое соображение, – кивает папа.

Он листает свежий номер журнала «Огонек», который только что купил в киоске вместе с папиросами. Я знаю – он еще в мае послал в «Огонек» рассказ про зазнавшуюся ткачиху-стахановку и ее несчастного мужа и ждет, когда же рассказ напечатают. А его все не печатают и не печатают.

– В продаже, разумеется, не будет, – говорит мама. – Но что меня смущает – объявила без обвиняков, что придется дать на лапу. Будто бы не ей, а заведующей.

– Угу, – сопит папа. – Субординация...

– Как ты полагаешь – соглашаться или не стоит?

– Не решаюсь, Нинусенька, давать тебе советов в столь деликатном вопросе, – папа вздыхает и опускает раскрытый журнал на колени.

Мне его жалко. И в этом номере его рассказа нет.

– Не валяй дурака! – сердится мама. – Что за мерзкая манера – прятаться за витиеватыми формулировками.

– Я не прячусь, Нинусенька, но, извини меня, не намерен вникать в твои сомнительные и архизапутанные отношения с продавщицами, занимающимися уголовно наказуемой коммерцией.

Мама пропускает его замечание мимо ушей.

– Раньше, если поступало что-то интересное, говорила: зайдите перед закрытием. И все. Разумеется, я со своей стороны старалась по мере сил отблагодарить, так сказать, для поддержания доброго знакомства. Но чтобы так напрямик заговорить о какой-то конкретной сумме... Честно говоря, для меня это явилось полной неожиданностью. Но с другой стороны, если отказаться, она

больше никогда ничего не предложит... Просто ума не приложу, как поступить...

– Да, – говорит папа, – сложнейшая, прямо-таки неразрешимая дилемма.

– К тому же она забывает, что я только на прошлой неделе дала ей адрес сапожника, у которого можно заказать хорошие кожаные ботинки, – как-никак это тоже чего-то стоит.

Папа широко зевает.

Бесконечно богата наша действительность, – читаю я в лежащем у него на коленях журнале, –

и долг художников – добиваться высокохудожественного, всестороннего ее отражения в произведениях искусства, достойных Сталинской эпохи.

– Павел! Почему ты молчишь? – возмущается мама. – Нужно же что-то решить.

– По-моему, Нинусенька, я тебе уже все сказал, – отвечает папа.

– Что ты сказал? Ты вообще ничего не сказал.

– Нинусенька, если тебе так уж приспичило сидеть с этой прохиндейкой в одной кутузке... Что ж, ради такой высокой цели стоит, конечно, рискнуть ста рублями.

– Какие сто рублей, о чем ты говоришь! – пугается мама. – Не преувеличивай, больше тридцатки я ни в коем случае не собираюсь давать.

– Что ж, угодить в общество взяточников и расхитителей социалистической собственности за тридцатку даже почетнее, – кивает папа.

– При чем тут взяточники? Ты сам прекрасно знаешь: за красивые глаза никто ничего делать не станет.

Я потихоньку протягиваю руку и перелистываю страницу в журнале.

История одного заговора против России, – написано крупными красивыми буквами. –

Железная дорога Аляска – Сибирь. Синдикат Транс-Аляска – Сибирь.

Про Аляску мы учили: царское правительство продало ее американцам за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Но что такое «синдикат»? Кажется, несколько предприятий вместе.

Все эти громкие названия мало что говорят нам, людям второй половины XX века, –

читаю я. –

Молодое поколение и даже ровесники нашего века, за редким исключением, ничего не знают об одной из самых наглых международных авантур американских империалистов. ...Хозяиничали не только на Аляске, тогда уже принадлежавшей Америке, но и Чукотке, т. е. русской территории. Контрабандисты, спаивая чукчей, за бесценок скупали и увозили в Америку пушнину.

Бедные зверюшки – гибли ради того, чтобы их шкурки отправляли в Америку. А где же, спрашивается, были пограничники с верными собаками? Граница должна быть на замке.

– Хорошего шевиота, разумеется, сегодня днем с огнем не сыщешь, – рассуждает мама. – Но ты прав: от всего этого как-то скверно пахнет... Какой-то нехороший душок...

...обнародовал свой сенсационный проект «Магистрала Париж – Нью-Йорк с железнодорожным тоннелем под Беринговым проливом». Соединить две линии: аляскинскую и сибирскую, 60-километровым туннелем, проложенным подо дном морским. Эта задача в те годы была по силам лишь героям фантастических романов.

– Как же они могли строить туннель под Беринговым проливом, если Аляска была уже продана Америке, а Сибирь принадлежала России? – спрашиваю я.

– Ну, маленький... – папа заглядывает в журнал. – Очевидно, предчувствовали приближение мировой революции. Мировая революция отменит все границы. После свершения мировой революции весь земной шар станет единой страной Советов. И тогда можно будет проложить туннель под любым проливом, в том числе и под Беринговым.

– Да, только этого не хватает! – хмыкает мама. – Подземный ход от Маниловки до Петербурга! Мелешь всякий вздор вместо того, чтобы подсказать что-нибудь путное.

Тоннель под Беринговым проливом – это не вздор, это очень важная вещь. Поважнее ее шевиота. Особенно если по нему будут ходить поезда.

– Царские сатрапы, – объясняет папа, – умышленно продали по дешевке Аляску Америке, чтобы столкнуть ее интересы с интересами Великобритании и с помощью этого ловкого маневра добиться возвращения потерянных в Крымской войне русских позиций на Черном море.

Надо же – возвращения русских позиций... Оказывается, история Аляски тоже связана с Крымом. С Крымом и с Очаковым... Удивительно – все на свете каким-то необыкновенным образом связано друг с другом.

– Не знаю, может, посоветоваться с Анной Моисеевной?.. – размышляет мама. – У нее имеется здравый подход к таким вещам.

– Чрезвычайно ценная мысль, – одобряет папа, – посвятить в ваш плутовской роман еще и эту сумасшедшую жабу. Чтобы она тотчас предала его широкой общественной огласке.

– Прекрати, что за страсть обязательно наговорить гадостей про любого знакомого! – возмущается мама.

– Я не говорю гадостей, я делаю комплимент милейшей Анне Моисеевне, – вздыхает папа. – Очаровательная пожилая жаба.

– Ты прекрасно знаешь, что, если не подмазать, вообще ничего не получишь.

– Нинусенька, ты вправе поступать как считаешь нужным, – папа складывает журнал и подымается со скамьи, – но позволь все-таки сообщить тебе, что мы подъезжаем к станции Внуково.

Мы сходим с поезда и направляемся в сторону леса. Папа не спеша вышагивает по тропинке, высоко подымая ноги в парусиновых туфлях, которые он вымыл вчера мочалкой и натер зубным порошком. На нем летние светло-серые брюки и чесучовый пиджак, на голове соломенная шляпа. Мама семенит за ним следом в кремовых туфлях на каблучке и новом шелковом платье. Вообще-то красивый материал: голубые цветочки по бледно-зеленому по-

лю. На юбке, сбоку и сзади, два ряда пышных воланчиков. Это Лера Сергеевна ей посоветовала, сказала, что воланчики будут скрадывать живот. Мама оскальзывается на влажной траве, проваливается то одним, то другим каблук в крохотные ямки, наверно, норки, которые прорыли какие-нибудь кроты, взмахивает в испуге ридикюлем и призывает:

– Светлана, иди поддержи меня! Павел! Не торопись! Ты же знаешь, я не могу идти так быстро.

Когда мы жили у Авровых, в Дом творчества приходилось ходить опушкой леса – туда с пустыми судками, а обратно с обедом. Но там лес был веселый, солнечный, кусты увиты диким горохом с нежными кудрявыми усиками. И папа всегда что-нибудь рассказывал. При маме он не будет рассказывать. Куда мы тащимся, зачем? Вокруг мрачно и пусто: ни ягод, ни грибов, только кое-где торчат тощие бледные цветочки и папоротники.

Ужасно: быть так близко от Альмы и не увидеть ее. Может, убежать от них? Сколько тут до Мичуринца? Километра три. За полчаса вполне можно добежать. Полчаса туда, полчаса обратно. Скажу, что заблудилась в лесу. Да, но мама, конечно, знает, что я побывала у Авровых. Устроит скандал и истерику. Начнет хвататься за сердце и падать в обморок. Чтобы ее пожалели. Чтобы все видели, какая я злодейка и какая она несчастная страдающая мать. Надо мной можно издеваться, я вообще не человек, мне не положено кого-то любить, чего-то хотеть. Я обязана исполнять ее желания и оберегать ее спокойствие. Неужели это никогда не кончится?

А может, убежать и вообще не возвращаться? Зайти потихоньку за деревья и исчезнуть. Сбежать к Авровым, увидеть Альму, а потом вернуться в лес, в самую чащу, и заблудиться навсегда. Как Мцыри. «Я знал одной лишь думы власть, одну – но пламенную страсть...» Да, но тогда и Альма останется у Авровых навсегда. А так, может быть, я все-таки вырасту и заберу ее. И мы будем наконец жить вместе.

А что если я буду терпеть, терпеть, надеяться, а потом вдруг умру? Даже не узнаю, построили ли тоннель под Беринговым проливом... «Анна, Анна, сладко ль спать в могиле? Сладко ль видеть неземные сны?..» Красивые строчки, только в могиле не может быть никаких снов, сны видят живые люди, а мертвые ничего не слышат и не видят.

– Светлана, посмотри, какая прелесть! – верещит где-то сбоку мама. Склонилась над каким-то цветочком.

Нет, уж этого точно не будет – чтобы я смотрела на ее прелесть. Эта поездка тоже организована, чтобы помучить меня. Поиздеваться, подразнить близостью к Альме. Держать и не пущать. «К свободной жизни их вражда непримирима». Не к свободной жизни, к любому шагу. Нужно беспрекословно подчиняться, никаких просьб, никаких желаний. Не смей, не вздумай! И ведь действительно не смею – тащусь за ней, как коза на веревке. Это самое гадкое – ничего не смею... Мцыри по крайней мере убежал, а я все время чего-то боюсь. Чего мне бояться? Разве может быть что-то хуже? Она уже вколотила в меня эту робость, покорность. Таких две жизни за одну... Не надо ни одной! Я ненавижу себя. Ненавижу, и все-таки живу... Непонятно, зачем.

Август. Такое длинное лето, никак не кончается. Мы с Икой иногда ходим в парк, который возле стадиона «Динамо». Там тихо, никого нет, можно валяться на траве и глядеть в небо. Жалко, что папа не разрешает выносить из дому книги, наверно, боится, что мы их потеряем или испачкаем, а дома у нас не очень-то почитаешь: мама тут же заставляет что-нибудь делать, то носки штопать, то картошку чистить, то пыль протирать. Хорошо хоть Ика выручает меня: приходит, садится на стул и сидит. Мама не решается выставить ее – неудобно перед Александрой Филипповой, – но долго терпеть ее тоже не хочет. Кончается тем, что сама гонит нас:

– Идите, девочки, идите! Нечего тут целый день глаза мозолить. Погода хорошая, идите погуляйте.

Мы заходим в пустой школьный двор, садимся на ступени второго, всегда запертого, подъезда и молчим. Говорить не о чем, все и так понятно.

Из-за того что эти двери никогда не открываются, под ними набилась земля и проклюнулась невысокая зелененькая травка.

– Гляди, кто приехал! – подталкивает меня Ика.

Во двор медленно, плавно покачиваясь, въезжает длинный черный лимузин.

– Видала? Марья Иванна! С директором!

– Каким директором?

– Каким! Завода нашего.

Как это она умудрилась разглядеть? Невозможно ничего видеть – окошки задернуты белыми занавесками.

– Откуда ты знаешь?

– А кто же? Только у него такой автомобиль. ЗиС-110. Их всего-то раз-два и обчелся. Только для особо важных начальников.

Передняя дверца лимузина распахивается, из нее проворно выскакивает шофер, открывает заднюю дверь и придерживает ее все время, пока наша Марья Иванна с превеликим трудом выползает наружу. На шофера она не глядит, похоже, вообще не замечает его, кое-как распрямляется и принимается карабкаться по ступенькам. Открывает ключом замок. С другой стороны лимузина появляется низенький тощий мужчина и устремляется следом за Марьей Ивановой к дверям. Шофер захлопывает задние дверцы, садится в машину и отъезжает в глубь двора.

Ладно, про директора Ика догадалась по автомобилю, но откуда она знала, что там еще и Марья Иванна?

– А кто же еще? Она его любовница. Все про это знают.

Наша Марья Иванна? Любовница директора завода? Ничего себе!

– Не может быть! – говорю я. – Она такая громадная, а он такой крошечный!

– Мало что крошечный, – хмыкает Ика, – зато директор. Еврей, – прибавляет она, вздохнув.

Еврей, думаю я. Надо же – такой шупленький и такой умный: директор завода... И еще какого завода! А Нина Ильинишна, соседка со второго этажа, как раз недавно рассказывала маме анекдот про лилипута, который женился на великанше. Но зачем они приехали в школу? Что они там забыли?

Теннадий Беззубов
УНЕСИ ВСЁ С СОБОЙ

* * *

Кто верен снам о русском слове,
Считаться русским хочет частью
И стать родным, пусть не по крови,
Но уж хотя бы по несчастью.

Но нет, и в этих снах нечастых
Ему не дарят утешенья,
Ведь мнимое родство несчастных
Есть только плод воображенья...

На даче сушат абрикосы
И подают варенье к чаю.
Набоков задает вопросы,
Но я ему не отвечаю.

Гляжу, как Бунин в шарфе синем
Проходит по террасе скоро,
За ним двойник, известный Сирин,
В очках, похожий на шофёра...

Но это ночь, она для спящих,
Когда душа уже уснула,
А ночь всего лишь чёрный ящик,
В котором спит литература.

* * *

Когда он проснулся, поймав за хвост
Во тьму уползавший текст,
Там значилось: «Девочки лучше, чем Гросс,
Хоть он и из наших мест».

Какие девочки? Что за Гросс?
Он думал над этим полдня,
Хоть знал, что нельзя, но в глазах вопрос
Читала его родня.

А день начинался с привычных нот,
На чём-то дудел сосед,
И фон нарастал, касаясь высот,
Как нарастает свет.

Когда он пошел дополнять миньян,
Молились в соседней роще
Один армянин и трое славян,
Им это давалось проще.

Вот только к кому обращались они,
Взять в толк он никак не мог.
Зато пейзаж, как в лучшие дни,
Подробно лежал у ног.

И он в нём читал, как в чужих сердцах,
Как в карте города Н,
Где ветер вздымает уличный прах
Превыше любых антенн.

* * *

Не удалось отсидеться в библиотеке,
За прочными стенами семейного быта,
Казавшегося возведённым навеки,
Но засвистело, и дверь открыта,

И ветер пошёл выдёргивать по странице
И понёс их по улицам вместе с нами –
Поберегись, как бы не оступиться.
Так по сей день этот полёт и длится,
Перемежаясь снами.

Там, во снах, наши следы вынут, протрут луголью,
Спрыснут бензином да табаком присыплют,
Чтоб думали, что мы шли дорогой другою,
Только бы не нашли, только бы не вернули в Египет.

Ветер, ох, ветер, кто же странички сложит,
Чтобы понять, как бы там всё сложилось,
Чтоб доглядеть кусок, который не прожит,
Только зачем всё это, скажи на милость,

Если ветер всё так же метёт бумагу по плитам,
Свистит, крепчает, не знает горя
И кого-то несёт снова тем же путём забытым
В сторону моря.

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА ИОФФЕ

Одинокая птица стрекочет в железной листве,
Из чего она сделана, не из того же металла?
Вроде той, что сидела на жёрдочке в красной Москве,
О свободе твердила, запретные книжки читала.

И железный язык колебался в пластмассовом рту,
Как в свистке костяном, что на поле сзывает орду,
Воскрешая игру, вызывая обвал водопада.
Я там тоже бывал, может быть, и сейчас попаду
В перекрестие штанг, если только прицелюсь как надо.

Но за рябью экранной уже не понять ничего,
Видно, слёзы восторга, пролитые в шестидесятых,
Испарились, иссохли, оставив тебя одного
Разбираться вовне в русских фразах, в запутанных датах.

Только здесь кипарис, что напротив могильной плиты,
На иврите озвучен, но разве хотелось другого?
Кто теперь разглядит, кто разглядит все смутные эти черты?
Тот, за кем в этом мире и в том остаётся последнее слово.

* * *

На лестнице, где счётчики жужжат
И комары упорно ищут цели,
Стоят разводы цвета акварели,
Как в колбе, где усталый воздух сжат.

Ты можешь задержать его в груди,
И это тоже будет некий опыт –
Остановиться, перейти на шёпот
И загадать, что будет впереди.

Что впереди? Усталость вещества
Предполагает осторожность планов,
Об этом толковал еще Иванов,
Не помнивший славянского родства.

Мы помним всё. Не с Филиппин небось.
В ушах стоит «Прощание славянки»,
И радужные плавают обманки
На лестнице, как дух бензиновый в танке.
Ты в нём сидел? Да нет, не довелось.

* * *

Дом, пристанище детства, обречённый на слом,
И отец, от которого пахло козлом
Или «Шипром». Потом, после бани, иной –
Запах банного мыла висел надо мной.

Просмотри, пролистай этот темный кадастр,
Всё душа соберет, никому не отдаст,
Чтоб под спудом держать, чтоб хранить про запас
Всё, что Он попустил, от чего не упас.

Унеси всё с собой в глухие кусты,
Всё, что было тобой, всё, что значилось «ты»,
Как по лестнице чёрной уносят, таясь,
Нерассыпанный прах, неразъёмную связь.

ARS POETICA

Гениальные строчки приходят сперва,
А потом превращаются просто в слова,
Обманувшие свежестью звука.
Говорят, мы обходимся без волшебства
И поэзия – тоже наука.

Или просто привычка слова тасовать,
Проверяя звучанье опять и опять,
Выжимая педаль до упора,
Плюс умение всё ко всему подогнать,
Чтоб не выпасть из общего хора.

Может, лучше бы выпасть, как в толще вина
Незаметный осадок горчит дотемна
Меж деревьев вечерней расцветки,
И тогда пусть уносит, возносит волна,
Поднимает до верхней отметки.

Михаил Тончарок

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВА

КАК МЫ РОЖАЛИ

– А сегодня у моей дочки день рождения, – сказал я, входя в офис. – Восемь лет.

– С тебя причитается, – сказала секретарша. – Я помню тот день, когда она родилась. Ты был тогда безумен.

Я был безумен, это верно. Я пришел на работу очень рано и ходил из угла в угол. В семь часов Софа позвонила мне и сказала, что едет в больницу, потому что, кажется, началось. Я немножечко заметался. В таких случаях второстепенные, с моей точки зрения, вещи отступают на третий план. Это у меня с детства.

Я вошел к директору (дверь была закрыта), у него сидели важные люди из правительства: пара министров, полдюжины депутатов Кнессета, с десятком культурных меценатов – американских миллионеров. Они собрались с утра пораньше, чтобы обсудить финансовые вливания в наш архив. Пинком распахнув дверь, я сказал:

– Еду в больницу, у меня жена рождает.

Все посмотрели на меня немного удивленно.

– У нас совещание, – не очень врубаясь в то, что я говорил, с неудовольствием произнес министр культуры.

Министры вообще не очень врубаются в ситуацию, которую им доходчиво разъясняют рядовые граждане. Для министров существуют директивы и циркуляры, спускаемые сверху, а слов рядовых граждан они как-то не слышат. Это надо в него выстрелить, чтобы он проникся.

– Какое мне дело до *твоего* совещания, – сказал я (я отбивал правой ногой шейк-твист – это непроизвольное, и тоже с детства), – какое мне дело, если у меня жена рождает.

– Ну подожди, милый, – с чудным англо-южноафриканским акцентом сказала замдиректора по науке, – так чего ты хочешь? Мы все очень рады, но чего ты влез в...

– Вот дура, – сказал я по-русски, ни к кому особенно не обращаясь, – у меня жена рождает.

– Поздравляю, – величественно сказал миллиардер из Техаса, – однако, господин директор, какие у вас непосредственные сотрудники!..

– В них бурлит кровь царей, – громко объяснил депутат Кнессета от правящей партии своему соседу, депутату от партии оппозиции, наклонившись к его уху (тот держал ладонь лодочкой, ему было тогда восемьдесят семь лет, упокой, Господи, его грешную душу, он когда-то был партизаном, а потом стал казнокрадом, это выяснилось впоследствии, этим кончается большинство депутатов, тогда мы этого не представляли себе в полном объеме).

– Что? – громко переспросил депутат.

– Кровь царей!!! – заорали ему в уши с двух сторон представители сообщества культурных миллионеров.

– А-а, – сказал он и ласково покивал министру финансов, – у меня дочка тоже на бирже играет, да...

– У меня жена рождает! – заявил я, вклиниваясь в наступившую паузу.

– Ты кончай препираться, а бери такси и езжай в приемный покой, – сказала пресс-секретарь правительства, приглашенная на совещание, чтобы потом осветить его в газетах и на радио. – Чего ты влез, видишь – у нас решается, даст ли господин Хапкинс пять миллионов, а тут ты влез...

– Какого, однако, экспрессивный народ живет в этом государстве, – сказал в пространство господин Хапкинс. – У нас в Луизиане чернокожие и то так себя не ведут, хотя и они тоже... экспрессивные, как дети, да. Но...

– У меня жена рождает! – на всякий случай объявил я еще раз и повернулся, чтобы уходить.

– Секундочку погоди, Мойшеле, – сказал мне в спину директор, который до сих пор молчал. – Господин Хапкинс, так вы даете пять миллионов или нет?

– Десять даю, – величественно ответил могучий техасец. – В честь жены этого вашего, э-э-э... сотрудника. Я понял так, что если в этой стране рядовой гражданин может ворваться на совещание с участием правительственных инстанций по той лишь причине, что его жена рождает, то, э-э-э... то не все еще с этой страной потеряно, как я раньше, признаться, думал.

– О-о, а у меня жена рождает! – с вызовом напомнил я еще раз.

– Пошли, – сказал директор, поднялся со своего места и взял меня за локоть. – Все свободны, господа, большое спасибо всем, и господину Хапкинсу в первую очередь, чек передайте секретарю, а мы поехали.

– Куда? – спросила пресс-секретарь правительства (все зашевелились, стали отодвигать кресла, депутаты Кнессета отправились наливать себе кофе, а господин Хапкинс уже выписывал чек).

– В больницу, естественно, раз его жена рождает, – пожал плечами директор, и мы выскочили на улицу.

– Привет жене, и поздравляем! – запоздало крикнул нам вслед министр финансов.

Директор вел машину на скорости, наверное, километров двести в час.

– Эфраим, огромное тебе спасибо, – сказал я, – я просто сам не свой был, у меня...

– ...жена рождает, – подхватил он, энергично кивнув головой. – На самом же деле это тебе спасибо, ты сегодня в две минуты выбил для нашего бюджета ровно вдвое больше, чем мы рассчитывали взять у этого дяди Сэма.

...Мы были в приемном покое через десять минут. Эфраим бежал со мной по всем этажам. Потом я вошел в родилку, а он остался снаружи и ждал до самого конца. Два раза в процессе родов я приноравливался упасть в обморок, но раздумывал, потому что нужно было помогать Софе тужиться. Софа рычала, главврач одобрительно покрывал. Из-за двери доносился бодрый голос моего директора, читавшего подходящие к этому случаю псалмы. В 10.55 утра, в палате № 6 иерусалимской университетской клиники

«Адасса Ар-а-Цофим», третий этаж, на свет появилась Буся, которая по паспорту Двора-Берта. В тот момент она не была похожа на Двору-Берту, она вообще тогда была не знаю на что похожа. Мы перерезали пуповину, и мне сунули в трясущиеся руки спеленатый комок. Я разглядел черные волосы и синие глаза.

– Э-э, так никуда не годится, – сказала сестра, ты ее сейчас задушишь, дай сюда.

И она расцепила мои намертво сжатые руки, и взяла младенца, и пошла куда-то, а я пошел за ней. Вихляющей походкой, как выламывающийся под рэп афроамериканец в Луизиане. Она шла впереди меня по коридору, и я помню, как луч солнца, вынырнувший откуда-то из-за Иордана, упал на лицо моей дочки, и она сморщилась. Сестра была чернокожая, родом из пустыни к западу от Аддис-Абебы. Врач, принимавший роды, был из города Лодзь, Польская народная республика. Мой директор родился уже здесь, и папа его был из Гейдельберга, Германия, а мама из Куала-Лумпура. Сестра величественно шла по коридору, и свет лился на нее из окон, и я мельком подумал, что это прямо какая-то черная Мадонна с младенцем, у меня тряслись ноги, но я старался не отставать.

– ...Вот, значит, восемь лет прошло, – с английским акцентом задумчиво сказала замдиректора по науке.

– Как один день, – сказал я с русским акцентом.

– А все-таки ты психом был в тот день, – сказал еще кто-то с курдским прононсом.

– Да, – сказал я.

– Давайте его тогда поздравлять, что ли, – с тяжелым акцентом потомков древних викингов сказала библиотекарь Гита, Копенгаген, Датское королевство.

– Ув-ва! – сказал техник Джино, Касабланка, королевство Марокко, и достал бутылку. Я задумчиво скосил на нее глаза.

– Поздравляем! – сказали все хором, и я откупорил бутылку зубами.

– Класс! – сказала черная Авигаиль. – И мне налея.

– Девочки, – сказала Рахель, Кейптаун, Южно-Африканская республика, – давайте сегодня скажем Профессору что-нибудь хорошее.

– Ты мирный и добрый, как кот, – застенчиво сказала Авигаиль.

– Но психованный, как Мартовский заяц, – сказала Гита.

– А иногда ты – Болванщик, – добавила Рахель, – не понимаешь самых очевидных вещей. Иногда.

– Нет, Профессор – Белый рыцарь, – расставила точки над і Гили.

Она свирепая и неукротимая, как Багира, наша Гили, родом из Хамадана, Исламская республика Иран, и с ней никто не решается спорить.

– Это у которого кастрюля на голове была надета и который с коня все время падал? – спросил я. – Спасибо.

– Зато он всем ставил шах, – нежно сказала она.

– Ну ладно, – вмешался одноглазый уборщик Мустафа, говоривший с чудовищным арабским акцентом, – почему бы им не говорить, раз он араб. А фотографии ты принес? Мы хотим в этот день посмотреть на Бусю, какая она была и какая стала, храни ее Аллах...

– Храни, – согласился я и достал фотографии.

И мы стали их разглядывать.

СТАРЫЙ ВОР, ИЛИ К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИИ ФЕНИ

– Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест, – ответил на это Чичиков. ©

Я думаю, не будет очень уж большим шоком для общественности обнаружение того факта, что один из родственников моей жены (правда, очень дальний родственник, подчеркнем для плезира) есть (или был?) уголовник, отсидевший по тюрьмам и лагерям девять лет и имевший, в общей сложности, три ходки. В самом деле – пуркуа бы не па? В традиционном семействе выходцев из маленького местечка такое явление держалось за большую катастрофу. Видите, я сам немедленно, хотя и невольно, заговорил с тем акцентом.

– Позор семьи, – говорил мне дядя Фима, понизив голос и оглядываясь, как щипач на бану.

– Ну и шо? – лениво спрашивал я, сплевывая шелуху от семечек на его желтые штиблеты. – Подумаешь, позор семьи.

Опосля великой войны в силу объективных обстоятельств вся страна заботала по фене и в каждом семействе кто-то сидел, а если и не сидел, то имел друга, или свата, или кума, которые сидели, – так шо за шухер? Все в порядке вещей, все свои люди.

– Я это к тому, – тихо и тревожно говорил дядя Фима, выпучивая на меня бараньи свои зенки, – шо я слышал, шо ты бумагомака, так шо ты... того-этого... не вздумай.

– Искусство должно принадлежать народу, лениво возражал я.

Давний тот разговор ни к чему не привел и последствий не имел. До сего дня, пока я не нашарил в памяти один случай...

Нужно сказать, что Позор семьи (пощадим уши покойного дяди Фимы, не назовем имени этого позора), несмотря на девять лет суровой жизненной школы, был полным идиотом. Говорить с ним было не о чем. Когда я, пытаюсь реализовать на себе талмудическое изречение о том, что *умен тот, кто учится у каждого человека*, равно как и русскую поговорку о том безрыбье, на котором и рак рыба, просил Позора объяснить мне этимологию тех или иных выражений воровского арго, он не понимал меня. Он вообще не знал, что такое этимология, и полагал это слово неприличным медицинским термином. По крайней мере, он начинал хихикать и подталкивать меня в бок всякий раз, когда я пытался использовать его в научных целях. Поговорить на фене он любил, но, представьте себе, не знал происхождения ни единого слова, кроме некоторых матерных выражений, кои, как известно, к блатной фене отношения вообще не имеют. Позор ходил на дикого папуаса из только что обнаруженного племени, носителя ранее неизвестного, только что открытого лингвистами языка, который в упор не понимает, чего от него эти лингвисты, собственно говоря, хотят. Он не отвечал ни на один мой вопрос, а только хихикал, как падла. Очень скоро я от него отстал. В общем и целом можно сказать, что в моей жизни Позор существенной роли не сыграл. На родственных сходках я даже перестал именовать его рабочим кодовым термином и, к неудовольствию троюродных тетушек, двоюродных дядюшек и племянников,

стал вслух называть его просто Идиотом. Это вызывало реакцию глухого раздражения – родственники инстинктивно, надо полагать, ощущали, что позор все же чем-то лучше идиотизма.

И вместе с тем он оказал мне совершенно неоценимую услугу. Года за три до своего последнего исчезновения (я полагаю, его упекли на зону в четвертый раз – уже на исторической родине, ибо Позор, будучи Идиотом, вновь принялся за старое, но это не суть важно) он познакомил меня с гораздо более интересной, чем он сам, я бы даже сказал, интеллигентной личностью – со старым вором в законе дядей Петей, проводшим в местах не столь (хотя нет, теперь – для нас – уже именно *столь*) отдаленных ни больше ни меньше, как тридцать семь лет. Правда, с небольшими перерывами. Его судьба могла бы послужить темой для баллады. Он был всюду и помнил всех. Он участвовал в Кенгирском восстании; он помнил, как советские бомбардировщики испытывали свои новые тогда еще бомбометатели на лагерных бараках острова Вайгач; на протяжении нескольких десятков лет он принял участие в восьми общесоюзных сходах высших авторитетов в законе – и, смею заверить, каждое из этих деяний заслуживало бы пятитомного научного исследования с обширным справочным аппаратом и академическими комментариями на каждой странице. Но дядя Петя не хотел, чтобы о нем знали слишком много.

– Страна не должна знать своих героев, – хрипел он мне на ухо, раскачиваясь в кресле на колесиках, осторожно ведомом нянечкой дома престарелых в одном из уютных, тихих, зеленых районов Иерусалима, – страна не должна фурычить на тему своих героев, она вообще о них знать не должна, таково мое глубокое внутреннее убеждение.

Дядя Петя рассказал мне о многом. Старикам свойственно желание поведать молодым о своей жизни, и в этом отношении дядя Петя не был исключением. Всегда зажатый, как стальная пружина, к моменту определения в дом престарелых он заметно помягчел и расслабился. Сперва к нему водил меня Позор, а после исчезновения Идиота я продолжал навещать его уже сам. Постепенно старик привык ко мне и к моим вопросам неофициального интервьюера. Он знал, что многие старые лагерники, бывшие зеки, давали интервью газетчикам, репортерам, исследователям, но, в отличие от них, вовсе не горел желанием прославиться и увидеть свое имя в заголовке журнальной статьи. Ему это было *западло*.

– Не положено, – хрипел он, выкатывая на меня сине-стальные глаза с булавочными головками глаукомных зрачков.

Но все же он рассказал мне о многом.

...Со временем я стал замечать, что старик ждет моего прихода. При моем появлении в комнате он оскаливал рот, полный стальных зубов, и отрывисто кивал лысым черепом. Эти зубы до смерти пугали сотрудников тихого дома престарелых, посетителей и жильцов. После одного случая, когда дядя Петя в припадке бешенства укусил филиппинку, иностранную сотрудницу учреждения, ставшего для него последним в жизни приютом, из комнаты, которую он делил с еще одним пенсионером, его сосед сбежал и попросил подселить его к кому-нибудь другому. Дядя Петя сперва, казалось,

даже не заметил его исчезновения. И то сказать – он привык спать на нарах, в одном душном бараке с сотнями других заключенных, так что комфорт новой, светлой, регулярно проветриваемой комнаты наводил его, кажется, на мысли о райских куцах.

– Эта наседка сбежала, – радостно прохрипел он во время очередного моего визита, спустя полгода после того случая. – Пущай попробует жалиться у опера, я ему нос откушу! А впрочем, он мне особенно не мешал, – неожиданно благодушно заметил старик через минуту, – фрайер он и есть фрайер, главное, не сука...

Сук дядя Петя ненавидел до судорог. Суками в его представлениях были все, кто в любой форме сотрудничает с властью, с *любой* властью – это был один из пунктов железного устава его вымирающего братства, и устава этого он неукоснительно держался всю жизнь, держался так же категорично и отчаянно, как какой-нибудь майор Пронин держался Уголовного кодекса. Дядя Петя участвовал в знаменитой лагерной «сучьей войне» начала пятидесятых, которую потом так красочно изобразил в своих воспоминаниях Анатолий Жигулин.

– Жигулин – щенок! – говорил старик. – Мне ли его не знать? Подумаешь, Толик-Колыма, говна-пирога... приблатненный он был, вот и все. Но, впрочем, тоже не сука, а это главное.

– А я? – как-то спросил его я.

– Ты – честный битый фрайер, – очень четко и быстро ответил он.

Надо сказать, я до сих пор тихо горжусь этой краткой характеристикой...

Он знал все, что в отношении культурных сфер положено было ему знать по блатному закону. Он умел играть на гитаре и баяне, он знал наизусть всего, кажется, Есенина и сотни старинных лагерных песен – всех эпох, языков и народов – и пел эти песни диким, хриплым, вместе с тем пронзительным фальцетом, закидывая вверх голову, как петух, кукарекающий на заре. Сверх того, уже к старости, он вполне добровольно выучил большой цикл ранних песен Высоцкого, хотя, опять же, *по закону* это было вовсе не обязательной причудой. Аркадия Северного он презирал как приблатненного. Из Окуджавы он знал одну песенку про Ваньку Морозова. Я пытался как-то приучить его к Бродскому, но старик только качал головой. Из всего творчества Нобелевского лауреата ему понравился только тот цикл четверостиший, где *«это – лагерь, это – вышка; это время тихой сапой убивает маму с папой»*.

– Жизненно! – однажды кинул он значительно, поднимая вверх кривой палец с длинным желтым от табака ногтем.

Используя почти лишь исключительно блатную феню, он умудрялся говорить о жизни даже как-то изысканно. Некоторые слова он не произносил принципиально. Вместо «спасибо» он всегда говорил «благодарю». И почти никогда не ругался матом.

– Это плебеи, суки и приблатненные матерятся, – говорил он. – Честный вор за свой базар отвечает. Коли ты сказал человеку «блядь», то значит, ты сказал то, что сказал, и, по-твоему, он именно то, кем ты его назвал. И если дело между серьезными людьми, то тут – или докажи, или ты пропал. Или, допустим, подходит к тебе на улице честный вор из другой семьи и говорит: «Я тебе официально заявляю, что ты – черт с рогами». То же самое

дело. Это – вызов на дуэль. Или вот ты посылаешь человека на хуй – причем не будучи в теме, просто так, безо всякой задней мысли. Но этим самым ты призываешь его стать пассивным педерастом. Тут уже дело за финкой, и никак иначе. Это – вилы. Всё. Так что честный вор базар фильтрует и со словами осторожен. Так было, так есть; не поручусь за то, что так будет, но так быть должно. Я сказал. Запомни, пригодится.

– Я запомню, – пообещал я, и на минуту мне стало стыдно, как приклатненному.

Иврита он совершенно не знал, а идиш почти позабыл. Но – странное дело! Разговаривая на фене, он всегда указывал происхождение того или иного выражения и четко называл этимологию любого слова. Он утверждал, что семьдесят процентов слов воровского арго, формировавшегося в южных областях Малороссии с середины XIX века и послужившего костяком современного блатного языка («настоящего воровского языка!» – поправлял он меня), происходит из разговорного еврейского жаргона со значительными вкраплениями литературного древнееврейского. Он с жаром доказывал мне это и о данном предмете готов был говорить и спорить часами. Собственно, он не спорил, а декларировал непререкаемым тоном.

– А вот проверь! – взвился он однажды и, призывно махнув мне рукой, покатил на коляске к кабинету главврача. – Я с ним базарю, и мы через пень-колоду, а понимаем друг друга!

Я пошел за ним. Я был потрясен: эти двое действительно, казалось, понимают друг друга. Дядя Петя шпарил на фене, как французский поэт шпарит на языке Аполлинера; врач, выходец из туманного Альбиона, шпарил на иврите – но... они понимали друг друга. Во фразах старика то и дело мелькали слова, действительно напоминающие ашкеназские структуры старого иврита, и врач прислушивался к ним с таким усердием, что даже приподнялся с кресла.

...Я мечтал привезти его на писательское собрание, чтобы он поделился с Мастерами чудовищным опытом своей жизни, но он всегда категорически отказывался.

– Я обезьяна в зоопарке, что ль? Чего на меня глядеть? Чего я им расскажу? Они ж ни разу не сидели... Чего поймут?

Все мои уговоры наталкивались на стену его глубокого, убежденного внутреннего противодействия. Я чуть не плакал от досады.

– Голова еловая, – ласково, насколько ему позволяли закон и статус, говорил он, – о политических они куда лучше прочтут у того же Толика-Колымы, или там у Разгона, или у Шаламова, или еще у какого черта. А я – вор. И я еврей, да. Им что, *симптоно* будет слушать, что из всех группировок в лагерях наипристойнейше себя вели украинские партизаны? Они порядок наводили сразу, и сук резали немедленно, как их пригоняли этапом, и жизнь организовывали по понятиям, и им плевать было, что я – жид. Да в пятидесятых у меня половина друзей в зоне были хохлы-партизаны... – (он всегда избегал говорить – бандеровцы). – Да спроси кого хочешь, у своих сионистов сидевших, спроси – подтвердят.

(Я спрашивал, и сионисты, сидевшие при Сталине, не испытывавшие особых сантиментов к украинцам – как, впрочем, и ни к кому другому, – таки да, подтверждали).

– А писатели эти... чего они понимают? А вот с власовцами да полициярами я резался насмерть, это так. Но братва была со мной... Писа-а-атели! Да тыфу.

...Ему по закону не положено было иметь семьи, жены и детей, так что в приемные дни к нему никто не приходил.

Однажды, приближаясь к дому престарелых, я заметил его издалека на веранде. Стоял шум и гам, поднятый посетителями, явившимися навестить своих родственников и расположившимися в саду. Дядя Петя выкатился на веранду на своей каталке на колесиках, помогая себе руками, и стал обозревать окрестности, вращая во все стороны лысую голову с огромными раструбами ушей. У него странно дергалось лицо. Нянечка хотела помочь ему устроиться у окна, он зарычал и прогнал ее взмахом руки. Я вдруг понял, что он ждет меня, и почувствовал, что почему-то защемило в груди.

Я подошел к нему. Насупясь, несколько секунд он смотрел на меня снизу вверх. Я протянул ему три гвоздики, только что сорванные с клумбы. Это был День победы, который он чтит несмотря ни на что, и я знал, что он облает меня, если дознается, что цветы для него я купил в магазине. Дядя Петя был орденосцем и, кажется, единственным вором в законе, прошедшим войну в штрафбате – все четыре года на передовой, – вернувшимся живым, покаявшимся на первом же *законном сходняке* – и не лишившимся ни жизни, ни чести, ни воровских регалий.

Я наклонился к креслу, инвалид обнял меня, тряся головой.

– Хорош, – наконец сказал он отрывисто. – У меня к тебе разговор.

Он покотил коляску по коридору, помогая себе руками, и не давал мне помочь подвезти его. В комнате он первым делом закрыл дверь и указал мне на стул, стоявший возле его кровати. Я сел и достал из сумки гостинцы: жареную рыбу, которую он очень любил и которую по индивидуальной просьбе готовила для него перед посещениями моя жена, палку сырокопченой колбасы, пять пачек сигарет без фильтра. Сигареты он не любил, но папирос здесь достать негде.

Он нагнулся к своей тумбочке и нашарил там бутылку водки, припасенной по случаю Дня победы заранее.

...В тот вечер он разрешил мне написать о его жизни все, что я хочу, но при одном условии – не называть его официальной авторитетной клички.

– Фамилию, – говорил он, чавкая колбасой, – написать можешь, мне это до лампы – никто моей фамилии среди людей знать не знает, а кто знал, тот забыл, кому какое дело, что я Фридман, мало ли Фридманов сидело, – а вот кликуха моя известна от Бреста до Магадана, и светиться ей совершенно даже ни к чему. Ибо я могу в воспоминаниях кого-то нечаянно обидеть, память у меня паршивая стала. Я, видишь ли, помру скоро... Не спорь, не спорь, никого чаша сия не минёт, а я чую... как волк, чую. Дважды припадки были с сердцем, я этим звонком никого не вызывал, а то шухеру было бы... Я что – сука? У меня совесть есть. Пусть люди отдохнут.

– Ну так чего? Обещаешь не называть кликуху? Тады ладно, пиши чего в башку взойдет. Врать тоже можешь, разрешаю. Ну, говори четко – раз, два... Обещаешь?

– Сука буду, – пообещал я.

ТРОЛЛЬ ТАКЕ ЮДР ОЛЬ

Ударом ноги распахнув дверь, с вытаращенными глазами и блуждающей улыбкой, в кабинет ворвался Рой. Такая улыбка обычно появляется на его толстом, гладко выбритом лице тогда, когда он спешит похвастаться передо мной очередным сексуальным подвигом, – поэтому я лишь вздохнул про себя и, уставясь в экран компьютера, изо всех сил застучал по клавиатуре. Некогда мне, некогда, иди рассказывать кому-нибудь другому, надоело...

– Профессор! Поразительная новость! Новость... говорю, поразительная!.. Эй!

– Доброе утро, – буркнул я.

– Доброе... Идем, идем...

Он схватил меня за рукав свитера, теребил, тянул куда-то. Я поднял глаза:

– Ну?..

– Идем в конференц-зал! Явилась делегация этих... писателей из этой... Ирландии!

И замер, уставясь на меня вытаращенными пустыми глазами.

– Из Ирландии?

– Или из этой... Исландии! Пошли... Ну пошли же... – он подпрыгивал на месте от нетерпения. – Мырра тебя требует. Все собралось, одного тебя ждут...

– Я не знаю исландского, – вздохнул я.

– Она тоже не знает, но они все говорят по-аглички... Пошли, ну пошли...

Он опять схватился за рукав моего свитера.

Нервно высвобождая плечо, я пошел за ним, машинально нащупывая в кармане пачку сигарет.

У входа в конференц-зал на меня напала Мырра и вцепилась в мой свитер, как клещ.

– Двадцать минут назад какой-то поц позвонил из Министерства культуры, сказал – к вам направляются писатели из этой... из Ирландии, ждите – и повесил трубку. А я выхожу из комнаты, гляжу – они уже здесь...

– Из Ирландии или Исландии? – остановился я.

– Из Исландии! Да, точно! Это такой большой остров, такой...

– Я знаю, что это остров, – терпеливо сказал я. – Я не понимаю, зачем сюда согнали всех сотрудников.

– Так сказали же... этот поц сказал, я не расслышала, принимайте, мол, покажите культуру... мы же культурная организация... Нужно... как это... не дать упасть товару в грязь лицом...

Мырра родилась в семье пастуха, на негостеприимных вершинах гор Курдистана, и это наложило отпечаток на ее ментальность с самого детства.

– Обмен культурными достижениями... нам нужно обменяться с ними культурными достижениями... ты – наше культурное достижение!..

– Спасибо, – сказал я.

– Иди, иди уже! – она толкала меня в спину. – Иди вперед! Ой, божечка мой, что же мне с ними говорить... что-то мне нужно им сказать... культурные достижения... А?..

– Не надо ничего им говорить, – сказал я. – Просто поприветствуй их от имени... ну, не знаю... от имени нашего архива, скажи, что обмен опытом – это важное дело, что...

Тут меня осенило:

– Только не перепутай Исландию с Ирландией. Они обидятся. *(Она глядела на меня расширенными глазами и судорожно прижимала кулачки к груди. Обязательно ведь перепутает, дура. Хотя ладно, беда невелика: Ирландия – тоже остров.)* Ты, в общем, скажи им так, не напрягаясь: мы бесконечно счастливы принимать у нас в архиве посланцев далекого легендарного острова... *(Она истово кивала.)* Мифического даже острова, можно сказать, для большинства наших граждан. Вот так и скажи. А потом мы проведем их по этажам, покажем фонды, ну и всё.

Притиснувшись боками, мы вошли в зал. В зале сидели все сотрудники, а за столом президиума расположились человек восемь незнакомцев. Почти все они были высокими блондинами, одетыми в разноцветные спортивные куртки и синие джинсы. Во главе стола сидел сумрачный очкастый мужик, совершенно лысый. Он устало смотрел в окно. Холодный ветер гнал по подметенным тротуарам опавшие желтые листья.

Мымра взошла на трибуну и нервно поправила прическу. Она – брюнетка, очень плохо выкрашенная под блондинку и оттого какая-то полосато-пегая. Лысый мужик с удивлением глядел на нее.

Мымра стала говорить на беглом, но совершенно неправильном английском. Она счастлива приветствовать группу писателей, посланцев со знаменитого... Тут она сделала паузу и неуверенно посмотрела на меня. Я закивал. Со знаменитого культурного острова Гренландия («Это большой мифический остров такой, весь во льду!» – торопливо добавила она). Я закрыл глаза. Кто-то хмыкнул. Лысый мужик медленным движением толстого пальца сдвинул очки на кончик носа и еще более внимательно посмотрел на нее.

– Культурный обмен! – провозгласила Мымра, замороженно глядя на его палец. – А теперь, – с облегчением выкрикнула она и вдруг резко вытянула вперед свой собственный палец, – мы предоставим слово нашему сотруднику, он теперь будет говорить, потому что он тоже писатель, потому что у нас – культура! – ее палец указывал на меня.

«Если еще раз услышу здесь слово “культура”, я вызову мою полицию», – мелькнуло у меня в голове, и я встал. Лысый перевел взгляд на меня и почесал за ухом. В зале кто-то приглушенно засмеялся.

Пока я шел к трибуне, я не понимал, что мне нужно говорить. «Какая падла, – подумал я, но тут же отвлекся. – Что я знаю об исландской литературе? – думал я, медленно поднимаясь по ступенькам. – Я ничего о ней не знаю! Я помню только Эдду и еще “Повести о Хьялти”. И даже Эдду я плохо помню... помню, что она была Младшей и еще, кажется, Старшей...» Тьфу! Я встал у трибуны вполоборота, глядя на гостей, и, улыбаясь приклеенной улыбкой, открыл рот. Когда я его открывал, то еще понятия не имел, что буду говорить. Нужен спич, экспромт, никогда не составляй заранее тезисов, учил меня Губерман. Тезисы будешь конспектировать на том свете, стоя в очереди к архангелу, перед тем как будут решать, куда тебя распределить; а на этом свете – никаких тезисов, всегда – чистый экспромт.

Говорил я минут десять, или полчаса, или час. Я говорил обо всем. О том, что Исландия – хорошая страна, я всегда мечтал побывать там, да вот не сбылось. О том, как не хватает в Израиле хороших переводов с исландского (сомневаюсь, что они вообще есть, подумал я про себя). О том, что с самого детства был влюблен в Эдду, особенно, конечно, в Младшую. О том, что до сих пор почти наизусть помню Стефауна Стефаунссона, автора бессмертных «Повестей о Хьялти», замечательной книжки для детей (лысый мужик неприязненно скривился). О том, что «Повести о Хьялти» – единственное произведение современной исландской литературы, переведенное на русский язык еще в Советском Союзе, потому что ее автор был коммунистом и большим другом Советского Союза (лысый скривился еще сильнее). Дальше я уже не представлял, о чем говорить, и с отчаянием сказал, как мне всегда хотелось попробовать исландского самогона, о котором я слышал, что его настаивают на плавниках дохлых акул (лысый выпучил глаза, и вся команда гостей глядела на меня, открыв рот). В зале не было слышно ни звука.

– Вот, – сказал я, – а вообще, это очень здорово, что вы приехали, наверное, вы привезли свои книжки и давайте мне их сюда, я их в библиотеке нашего архива закаталогизирую, и вся страна к нам приходит и читать их будет.

Это я правильно сказал, про книжки. Я знаю, что любую неловкость с писателями можно сгладить мгновенно, попросив у них книжку с автографом. Гости расслабились, задвигались, заулыбались. Все полезли по своим рюкзакам, которые, оказывается, стояли у них под столом, между ногами. «Надо как-то плавно, с юмором закруглить речь, – подумал я, – и все будет хорошо». Боже, помоги мне тонко пошутить! У-у, вспомнил: у них же Йоль сейчас, нужно поздравить с праздником.

– Тролль таке юдр оль! – провозгласил я, важно подняв палец, единственную известную мне фразу на старонорвежском, вычитанную в какой-то книжке, написанной русской писательницей, – и только тут вспомнил, что фраза эта означает «черт бы вас побрал». Но гости уже расслабились и добродушно засмеялись, и я сошел с трибуны, весь красный и потный. Мыбра ласково улыбалась мне и истово кивала головой. Все прошло как нельзя лучше.

Лысый мужик снял очки, поднялся на трибуну и откашлялся. Сидя в зале, я обмахивался газетой. В нескольких словах лысый поблагодарил сотрудников архива за удивительный прием, оказанный ему и его товарищам («Честно сказать, до этого дня я никогда не слышал о существовании вашего архива», – добавил он в скобках). Я услышал интересные вещи. Оказывается, он известный исландский писатель, зовут его Халлгримур Хельгасон («Честно сказать, до этого дня я никогда не слышал о существовании такого писателя», – мстительно подумал я), и он, если можно так выразиться, возглавляет делегацию литераторов из Рейкьявика, в познавательных целях путешествующих по разным странам.

– Нигде нас не встречали симпатичнее, чем у вас, – благодушно гудел лысый. В Египте нас встречали в президентском дворце и все время пытали, что мы думаем на тему арабо-израильского конфликта (честно сказать, мы о нем вообще не думаем); в Ливане литераторы-мусульмане и литераторы-христиане, собравшиеся

для встречи с нами в конференц-зале тамошнего университета, в ходе беседы неожиданно и совершенно бешено передрались, и нам пришлось уходить через запасной ход; в Дубае вообще никаких писателей мы не нашли, одни журналисты, и нигде, ни в одной из этих стран, никто не попросил у нас автографов, тамошнее население – какие-то дикари просто, напрасно мы туда поехали, хотя рестораны там замечательные, это правда, но вот выпить не подадут совершенно (тут у меня дернулось ухо).

А здесь вот никто нам ничего не навязывал, нас сейчас поздравили с нашим национальным праздником середины зимы, даже удивительно, и книжек попросили, и совсем у вас зимой не жарко, это все вранье...

Он закончил говорить и сошел с трибуны. Голубоглазые и светлорылые потомки викингов решительно направились ко мне, протягивая стопки своих книжек. Я стал кивать, и улыбаться, и пожимать всем руки, и принимал с благодарностью книжки, и от каждого автора требовал непременно автограф и, получив его, кланялся и говорил: «Троллъ таке юдр оль!» – ведь нужно было что-то сказать, а по-исландски я говорю плохо, – и лысый, заговорщически подмигивая, уже доставал из своего потертого рюкзака бутылку, и на дне ее я разглядел маленький кусочек... не знаю чего, но, по-моему, это действительно был кусочек акульего плавника – весь прозрачно-масляный, он парил в жидкости светло-желтого цвета. Я достал пластиковые стаканчики, а техник нашего архива Джино сбежал за закуской... Потом я сидел, опираясь обеими руками на стопки книжек (все на исламском, ни одного слова понять не могу), и от полноты чувств хлопал лысого по плечу, и все время забывал, как его зовут, и называл его Председателем. А он втолковывал мне, что Исландия – самая культурная страна в мире, что у них на триста тысяч населения ежегодно выходит штук четыреста книжек, что у них каждый девяностый – официально признанный писатель, а так – вообще все пишут: и дети, и пенсионеры, и домохозяйки, и у всех свои литературные объединения, и все выпускают журналы, и что у них даже просто дефицит читателей, потому что все – писатели, и нет такой семьи, где кто-нибудь бы не писал, даже умалишенные и склеротики в доме престарелых пишут, и все в рифму... И президент тоже пишет, но пишет говно, его даже никто не печатает, а вот была у них такая Вигдис Финнбогаттир, прелесть что за женщина, премьер-министр, так ее все печатали, такая поэтесса, такая баба, ты что-о-о...

– А вот я... а вот у нас... – все порывался поделиться я, но он не слушал, и отмахивался рукой, и продолжал гудеть, что у них спокон веку в самых удаленных от побережья хуторах все были грамотны повально, вообще все, даже рабы, и все знали и знают наизусть поэзию, и классическую, и модерновую, и саги, а я, кстати, модернист, очень приятно... Что? Переводить? Куда переводить, на что? А-а-а. Да нам не особо нужно, чтобы нас переводили, хотя кое-кто в Сан-Франциско переводит на английский, а кое-кто в Копенгагене – на датский, но только зачем нам это? Мы сами друг друга читаем, у нас свой мир, свой остров, своя планета, всё свое и литература своя – наша литература раньше французской, английской и немецкой вместе взятых появилась, и воздух у нас чистейший, и вода ледниковая, кристальная, и войн у нас нет, и армии, и

арабов нет, тролль таки их подрал бы, и ничего у нас нет, и промышленности нет, только литература есть и рыбы полно, и самогон мы гоним – зашибись, потому что в барах выпивка очень дорогая, это всё президент цены подымает, он мстит, что его никто ни читать, ни печатать не хочет, а ты приезжай ко мне на хутор, бабуля моя такую акуловку гонит – закачаешься, и бараньими ребрышками закусишь, и пальчики оближешь, и уезжать не захочешь, так у нас и останешься... А что? Язык выучишь, руны выучишь, сам стихи писать начнешь, а мы тебя печатать будем – насрать нам на критику, что нам Запад, что нам Восток! По рукам? А-а-а?!

– По рукам, – сказал я.

И мы пожали друг другу руки, и поздравили друг друга – я поздравил его еще раз с Йолем, а он меня – с Новым годом, и всучили друг другу свои книжки, и оба на них расписались, и он тут же, утирая слезы от умиления, открыл мою книжку на середине и, чтобы сделать мне приятное, стал шевелить губами и делать вид, что вот, уже читает, хотя держал книжку вверх ногами. И тут Мымра, которая все время молча стояла рядом, и крутила головой, и делала умное лицо, вклинилась, наконец, в паузу и, протянув руку, пощупала его книжку и сказала:

– Хорошая книжка... толстая.

И все в замешательстве посмотрели на нее, и лысый вполголоса предположил, что она троллем деланная, и добродушно послал ее на север и в горы, и тогда я встал, поднял стакан с акуловкой и сказал:

– С Новым годом, дорогие товарищи!

С Новым годом.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ СИНДРОМ

Кратковременные помешательства, происходящие во время посещений Иерусалима с приезжими из разных стран, давно никого не удивляют. Говоря откровенно, они никогда никого не удивляли. Интернациональное сумасшествие, при котором представители любой конфессии могут вообразить себя причастными к культуре иной религии, делают честь этому надмирному месту.

Многим памятен Абдаллах ибн Руми, паломник-талиб из Афганистана, отправившийся в хадж в Мекку и на обратном пути неожиданно свернувший в Иерусалим. Я запомнил его таким – в зеленой чалме, сидящим под чалхой маслиной на склоне Масличной горы, горько рыдающим, раскидывающим царственным жестом катышки ишачьего помета во все стороны; он внезапно нашел исчезнувшие сокровища храма Сулеймана ибн Дауда, разрушенного ромеями две тысячи лет назад, и теперь предлагал безвозмездно воспользоваться сокровищами окружившим его туристам, полицейским и терпеливым санитарам из столичной больницы «Адасса».

Мне было страшно жаль его, ибо рыдал он искренне, страдая от непонимания столпившихся вокруг. Никто не хотел воспользоваться золотом и серебром, которое щедрыми горстями кидал он в толпу... Жутко было видеть плачущего правоверного, до сего дня в жизни не пролившего ни слезинки – ни над погибшими от рук кафилов родными, ни тем более над теми, кого убил он; ибо был

прославлен в родном Кандагаре как боец умелый и беспощадный этот Абдаллах ибн Руми.

Я помню мормона Джонсона, скромного бухгалтера из Солт-Лейк-Сити, явившегося сюда в туристскую поездку со всем выводком своих жен и детей, взошедшего на белый холм у долины Генны огненной – и спятившего мгновенно и страстно; вид этого города, парящего над временем и пространством, заохлодил его сердце, и он захохотал, раскинув руки на вершине холма. Он вообразил себя самим Мухаммедом, пророком правоверных, скромный бухгалтер, и живым вознесся в объятия Аллаха, несмотря на визжащих и цепляющихся за полы его одежды жены. Они мешали ему, он отпихивал их ногами, но уже и они приподнялись над землей и, воя, медленно закружились над холмом, уходя свечкой в зенит. И столпившиеся внизу санитары потирали лбы и недоуменно переглядывались, не зная, как снять с неба улетающих гостей великого города, и вой возносившихся медленно затихал уже в лазури – но тут спас их всех пророк Илья, случившийся здесь же, неподалеку. На этот раз он принял образ старого, беззубого бедуина, одной фразой приземлившего и мистера Джонсона, и его жен, и детей. Не растерявшись, прошамкал старик:

– Мухаммед вознесся на беседу с Аллахом с вершины Храмовой горы иудеев – а ты, где стоишь ты, о глупец?! Ты спутал место, о сын ишака!

И это оказалось именно тем, что в данный момент нужно было сказать мистру Джонсону, вообразившему себя пророком ислама, сказать трезво и буднично. И с ревом пикирующего бомбардировщика ринулся мормон с небес и грянулся о поверхность холма. И хотели потом наградить старого бедуина медалью общества спасения и грамотой почетного жителя города, но исчез он, как ни искали, – ибо был это не простой бедуин.

Знавал я и раввина, ортодоксального из ортодоксальнейших, яркого и непримиримого борца с сионизмом, жителя Нью-Джерси и личного друга Арафата; впервые в жизни посетил он Ершалаим; и ужасная история приключилась здесь с ним, и рассказывать об этом можно лишь шепотом – ибо случилось дивное. Прочтя полуденную молитву, направился он к стенам Старого города у Яффских ворот и почувствовал здесь легкое головокружение; покачнулся ненавистник секулярного государства Израиль, которое он всю жизнь именвал не иначе как детищем Амалека, – и вылетела его душа, и влетела в тело покойного раввина Кахане, мертвого к тому моменту уже двадцать лет, и ожил рав Кахане, и встал из могилы, и побежало тело личного друга Арафата по городу с призывами убивать всех встречных арабов; не видал еще такого древний город, и насилу скрутили воскресшего; и что удивительно – лишь вернулось тело в Нью-Джерси, как душа рава Кахане с отвращением из него вылетела и вернулась в Святую землю. И умер личный друг Арафата, не снеся такого позора.

Дивную историю рассказал мне Реувен, мой сосед по подъезду, полицейский офицер, ответственный за дежурства у Церкви гроба Господня, что в Старом городе.

Отделение его находится в тридцати метрах от главной святыни христианского мира. Стоял он как-то на улице и грелся в лучах

слабого зимнего солнца. И проходили мимо него в мечеть Аль-Акса правоверные, и кто улыбался ему на всякий случай, а кто плевал ему под ноги, но не обращал внимания Реувен ни на тех, ни на этих, ибо за тридцать пять лет службы привык и к тому, и к другому. И вот так стоял он и рассеянно глядел вдаль, на улицу Виа Долороза, что тянется от гроба Господня до самого арабского базара. И вдруг раздались крики, и все увидели почтенного господина в дорогой велюровой шляпе, в серебряных очках, по внешнему облику – богатого туриста из Европы, с дипломатом в руках. Изо всех сил спешил полный господин по направлению к полицейскому отделению, отдуваясь и пыхтя; и решил Реувен, что спешит он, дабы пожаловаться на то, что вороватые арабские мальчишки обокрали его на базаре. И встал Реувен навстречу ему, и приосанился – но пробежал господин мимо, пыля прекрасными ботинками, и направился напрямик в отделение. Сосед мой пошел за ним и, войдя в комнату, увидел следующее.

За столом сидел дежурный сержант и писал отчет, а господин из Европы стоял перед ним и мял в руках шляпу.

– Чего надо? – энергично спросил сержант, не отрывая взгляда от бумаги, на которой писал.

Они все невежливы, полицейские сержанты, что в Святом городе, что на Западе, что на Востоке – исключение составляют, по слухам, разве что британские констебли. Но наш сержант был родом из Ирака.

– ...Чего тебе надо?

Турист ответил, что он – Мессия, только что прибыл, как было договорено еще при римлянах, и все две тысячи лет так спешил, что совсем запыхался.

– Я вижу, что ты запыхался, сказал сержант, продолжая писать, – но вошел ли ты через Золотые ворота, о Мессия, и где твой белый ослик, о котором тоже уже давно договорено?

– Ослик остался там, на площади имени Омара Сулеймана ибн Хаттаба, – с готовностью ответил Мессия.

– И чего тебе от меня надо? – спросил сержант, продолжая царапать пером по бумаге. – Я не могу давать директив мессиям, мне не положено по должности, раз ты, наконец, явился, то сам и должен знать, что тебе теперь делать.

– Я сам знаю, что мне делать, – с достоинством ответил Мессия, – мне необходимо связаться с Богом, срочно проводите меня к Нему.

– Бог занят, – скучно ответил сержант, – и не может тебя принять.

– Но мне необходимо увидеть Его! – в отчаянии вскричал гость, – я так спешил...

– Тому, кто хочет связаться с Богом, совсем не обязательно видеть Его лично, – ответил сержант, обнаруживая некоторые познания в нюансах теологических дискуссий.

Гость так беспомощно сопел, что служитель порядка немного смягчился.

– Ты не можешь видеть Его, но можешь отправить Ему факс, – сказал он. – Вот там, в углу, стоит факс.

– Но кто примет факс на Той Стороне – сам Он? – озабоченно спросил гость, направляясь в угол.

И тут сержант, который никак не мог оторваться от своего отчета, дал промашку. Видимо, в отчете что-то не ладилось.

– Нет! – раздраженно сказал он, – факс примут в Его канцелярии, скорее всего, архангел Гавриил его примет, я не знаю точно, но, скорее всего, он; он нынче дежурный, я точно знаю.

– Нет! – закричал внезапно возбудившийся гость так, что все, находившиеся в комнате, подскочили. – Нет! Я согласен отправить факс только архангелу Михаилу! Это незаконно, я буду жаловаться!

И так они препирались и уговаривали друг друга, а потом даже хватали друг друга за грудки, потому что сержант оторвался, наконец, от своих бумаг, – и длилось это не менее получаса; но вот что интересно: ни на одном лице не было и тени улыбки. Все, находившиеся в комнате, относились к гостю с большой долей терпения и некоторого уважения. И только когда окончательно потерявший терпение и веру в местные законы Мессия издал протяжный вопль и стал пинаться ногами, они вызвали скорую помощь. Никто не смеялся, никто не гоготал, никто не отпускал идиотских шуточек даже тогда, когда выведенный на улицу гость уперся перед тем, как его посадили в машину, и четверо дюжих санитаров серьезно обещали ему, что в больнице к его услугам будет предоставлен факс главврача, и он сможет посылать факсы куда только захочет.

– Хоть к Будде, – великодушно добавил главный санитар, и успокоенный, повеселевший гость сел, наконец, в машину.

Сержант вышел на улицу, вытер вспотевшее лицо и закурил.

– Откуда я знаю, – сказал он Реувену, – может, это и настоящий Мессия, откуда я знаю? Кто в этом городе может утверждать что-то наверняка? Вот ты можешь?

Нет, и Реувен ничего не смог утверждать наверняка...

Как вообще можно что-то утверждать в этом городе, в городе, где пересекаются параллельные прямые всех измерений Вселенной, – когда я сам, лично, возвращаясь с полгода назад от Стены плача, в последний момент оглянувшись, увидел человека в спортивном костюме, в снаряжении хоккейного нападающего, атакующего головой Стену. Он понял, человек, что является великим Хирамом, царем Ливанским, знаменитым архитектором, помогавшим Соломону строить Храм. Это было давно, еще в десятом веке до новой эры; три тысячи лет он мучительно размышлял, в чем дело, почему рухнули стены Храма, и понял, что допустил ошибку в расчетах, и явился сюда, чтобы исправить эту ошибку – немножечко сдвинуть Стену плача, буквально сантиметров на десять, не больше.

Он атаковал Стену несколько раз, с каждым разом все напористее, с каким-то возрастающим отчаянием. Никто не смеялся, кое-кто принялся помогать. И что вы думаете? Я сам видел, что Стена в конце концов сдвинулась.

Скоро в Иерусалим приедет моя московская знакомая, я поведу ее в Старый город. И знаете, я немного завидую ей – ведь ощущение чудес этой земли, которые для нее в диковинку, в моем восприятии несколько притупилось. Возможно, ей повезет, и она, проходя между площадью Омара ибн Хаттаба и улицей Любавичского ребе, ощутит себя царицей Савской – или, на худой конец, кающейся Магдалиной. В любом случае, я буду рад по мере моих сил поддержать ее в одном из этих начинаний.

Евгений Минин

ПОКА НА РЕЛЬСЫ ПАДАЮТ ДРУГИЕ

ИЗБАВЛЯТЕЛЬНОЕ

*Факты отделяю от эмоций,
Тексты избавляю от длиннот.*

Марк Вейцман

Этот мир, конечно, иллюзорен.
Чтобы он не скис и не протух,
Отделяю плевелы от зёрен,
А котлеты от жужжащих мух.
Чищу строки там, где неказисто,
Отделяя истину от врак.
Только от зануды-пародиста
Не могу избавиться никак.

ВОЕННОЕ

*В атаке, в бою, на бегу
еврей себя горько ругает:
еврей, когда страшен врагу,
его это тоже пугает.*

Игорь Губерман

Еврей, я скажу без прикрас,
в атаку бесстрашно шагает,
поскольку супруги у нас
такие, что враг не пугает.

ЭКОНОМНОЕ

*ресниц не красила губы только носила чёлку
за детскими вещами ходила на барахолку
а перед комиссионкой безопасной их бритвой брила
из костей холодец варила о поэзии говорила*

Ирина Рувинская

в комиссионку безопасную я отдавала шубы
ресниц не красила на лице носила лишь губы
а когда уже кризис пришёл и совсем времена крутые
тут я начала всё экономить и точки и запятые

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ

*И тогда воцарится у вас благодать,
Лев с ягнёнком возлягут в канаву,
Где звучит чудотворное «ё-твою-ать»
Тишине и покою во славу!*

Михаил Польский

И о мире ещё вам скажу наконец:
Мне до лампочки все кривотолки.
Напоить вдрабадан и волков, и овец, –
Будут в мире и овцы, и волки.
Водкой можно любые проблемы решать,
Если каждый бы выпил по сотке.
И тогда б воцарилась кругом благодать,
Только где отыскать столько водки?!

ВЁСЕЛЬНОЕ

*О Моне Лизе зная понаслышке
С чужих и неприличных даже слов,
С младых ногтей любили мы, мальчишки,
Одну простую девушку с веслом.*

Дмитрий Кимельфельд

Признаюсь сразу – не полезу в дебри,
Не возбуждал меня и рыбный лов.
Я с детства грезил только лишь о гребле,
Влюбившись в эту девушку с веслом.
И кто я нынче – властелин ли, раб ли,
Но знаю: мне бы круче повезло,
Когда б деваха та держала грабли,
Что жизни учат больше, чем весло.

КОРОЧЕЕ

*Конгресс, король, пальба за сценой,
изображает кисея
осенний дождь над тихой Сеной,
короче, дальние края...*

Даниэль Клугер

Баллада, замок, дон да донна,
раввин, корсар и лицедей,
Тоledo, берег Ашкелона,
всегда несчастный иудей,
Волынь, казаки, Божья кара,
крещение, абордаж, дуэль,
печальный взгляд, усы, гитара,
короче – Клугер Даниэль.

КОНСТАНТНОЕ

*Я поколение настиг
в бензиновом чаду.
Нёс заплетавшийся язык
всё ту же ерунду.*

Виктор Голков

Однажды сбудется мой сон –
уверен я давно,
что превратится чад в озон,
и весь бензин – в вино.
Жить буду до ста двадцати
у Бога на виду,
и будет мой язык нести
всё ту же ерунду.

СМОТРЕЛОЕ

*Но зачем-то тело в тебя смотрело,
и о чём-то пело, и чем-то ело,
а потом устало и село рядом
с прошлой жизни зарядом.*

Марина Меламед

На тебя то тело в упор глядело,
и в виду имело, и песни пело,
и дуэтом пило, и а-каппело,
и а-ля Отелло.

ПОДКОЛЁСНОЕ

*И жалко мне тогда, что ностальгии
По мне не прокатилось колесо.*

Лорина Дымова

Признаюсь, нынче жизнь – сплошная проза.
Как раздражает жизненный уют!..
Карениной судьба, и Берлиоза
Мне до сих пор покоя не дают.

Пока на рельсы падают другие
С от страсти перекошенным лицом,
Я всё мечтаю, чтобы ностальгия
По мне бы прокатилась колесом.

Но я живу надеждами благими,
Судьба мне говорит: «Не унывай!
Не торопись. И в Иерусалиме
Вот-вот уже появится трамвай».

ПИПЕЦНОЕ

*...ни огонька, забор, канава, налево
надпись «Горобец», «Большое Крысово»
направо, прикинь, братан, вообще пипец,
дорогой пару раз засели, но добрались;
«сынок-то где?» – «сынок у доме»,
входишь в сени – фигак! – и сразу по балде.*

Дмитрий Быков

Порою прихожу к поэтам, где декламируют отстой – что мне там делать, в месте этом, кричу себе: «Ужо постой». Я мата русского умелец, по сленгу – тоже крупный спец, но среди них один – Емелин – он, братаны, вообще пипец. Нет, я ему не возражаю, но как он, блин, берёт на понт, везде меня опережая – и про Стросс-Кана, и про фронт, такой писака этот хренов, мужик, конечно, озорной, но у меня-то есть Ефремов, не просто туз, а – козырной.

Дуэт наш, нынче много знача, бодрит и поднимает Русь, всех классиков переинача, вот-вот – и Бродским под займусь. Всё зарабатываю потом, газета держит, как в узде, а тут заскочишь к рифмоплётам – фигак! – и сразу по балде. Кричат: «Ты Быков – то да это, ты пишешь на потребу дня, позоришь звание поэта!». А я отвечаю им: «Херня! Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, он весь, как “Новая газета”, дня суетою опалён. Для Родины, не для пиару, я – литератор-образец, прикинь, братан, возьму гитару, и будет всем вообще пипец!».

ЗАВЕТНОЕ

*Водочку пить перестану,
Снизится сахар в крови.*

Борис Камянов

В общем, решил я, и баста:
Надо здоровье беречь –
Мучает дикая астма,
Стала несвязною речь.

Я вам скажу без обману:
Чтобы не есть амарил,
Я завяжу, перестану –
Даже в стихах объявил.

Только не надо поэта
Сходу на слове ловить –
Нету такого завета,
Водочку чтобы не пить.

Иосиф Букенгольц

*АКЕДА**

Памяти моего старшего сына

Нет, мир лучше и таинственней: ни движение руки, ни работа человеческого сердца не беспокоят звезд, иначе все давно бы расшаталось от содрогания этих пустыков.

А. Платонов. Счастливая Москва

1

С началом зимних дождей листья смоковницы опадают.

Глядя на разметавшиеся во сне оголенные ребра ветвей, я пытаюсь представить, что это дерево, заслоняющее бесформенный просвет – вход в мое теперешнее жилище, – «хорошо для еды и что оно вожделенно для глаз и прелестно для разумения». Повидимому, быстротечная идиллия райского сада разворачивалась ближе к осени, когда вызревает третье поколение плодов – *таиним*, впитавших густую, настоявшуюся за лето сладость земных соков. Змею было чем соблазнить неискушенную в чревоугодии Еву. Солоноватую горечь познания Добра и Зла лукавый Создатель, искуснейший кондитер, предусмотрительно одел в вожделенную медово-пьянящую мякоть.

С началом зимних дождей смоковница меланхолично роняет одежду, и наши с ней незатейливые сны переплетаются, как сны обнявшихся любовников.

А вот если бы прохлады дня, среди которой прогуливался утомленный творением Господь, не подействовала так расслабляюще на нашу невинную праматерь и она, не потеряв бдительности, ответила бы коварному змею что-то вроде: «Ах, оставьте, негодник, это совершенно недопустимо!» Или если бы непреклонный Адам сурово одернул разомлевшую от змеиных комплиментов супругу: «Вы что, мадам, умом тронулись? Положите фрукт на место!»

Что было бы дальше? Окрыленные указанием свыше «плодитесь и размножайтесь», мы неумоимо заполняли бы собой райские просторы, не зная ни печали, ни страха, ни зависти, ни убийств. А только любя друг друга. Даже не понимая, что любим. Потому что ничего другого не умели бы. Не было бы ни потопа, ни фараонов с их кирпичами, ни сорокалетнего блуждания по пустыне, ни погромов, ни газовых камер, ни множества других крупных и мелких вселенских неприятностей. И Каин с Авелем – в обнимку, и смерть – торжественный аккорд безоблачной жизни, и близкие мои... И Шашунька наша была бы с нами, а не носилась неприкаянная по свету...

Но ведь Ему не это нужно. Там, «по ту сторону добра и зла», Всемилостивому в Его грандиозном эксперименте необходимы

* Журнальный вариант. Печатается в сокращении.

наши тревоги, слезы, иллюзорные победы и поражения, беспокойное творчество в безысходном поиске ответов. И таинственное, влекущее Древо познания – потрясающий режиссерский ход – придумано специально для нас. Ему, не ведающему ни того, ни другого, оно без надобности.

Сестра моя смоковница! Вкусив твой сладостный плод, я уподобился ему. Внутри совершенного моего тела, сотворенного непревзойденной Десницей, поселилось сомнение, жажда понимания, страх перед завтра.

(Конечно, насчет моего тела – некоторое преувеличение, но все же я невольно залюбовался этой метафорой).

Мне кажется, что я, наконец, что-то совершаю, пытаюсь обживать настоящее, запереть на замки прошлое и забыть о будущем. Быть в «теперь», рядом с этим деревом, среди зябкого, неуютного зимнего дождя, внутри этой дремоты, в которую, как я ни стараюсь, проникает неумолимое дыхание памяти.

В просвете, затянутом мутным тюлем дождя, прошелестело стадо арабских коз, и следом беззвучно проплыла неестественно прямая, похожая на призрак, фигура.

Однажды, это, кажется, из Талмуда, Бар-Иехезкель увидел козу, пасущуюся под смоковницей, и молоко изливалось из нее, и мед вытекал из плодов, и смешивалось одно с другим, и сказал он: «Вот земля, текущая молоком и медом».

Когда из наполненного трепетом ожидания самолета мы входили в густой головокруглительный запах раскаленного «Бен-Гуриона», эта карамельная фраза заезженной пластинкой вертелась в моей голове.

2

Увенчанные фантастическими букетами козы никогда не забредали в наши переулки, над домами не парили белоснежные крылатые отроки, а на крышах, где сиживал подолгу, я никогда не встречал скрипачей. Я рисовал самолеты и танки с красными звездами, командиров с окровавленной повязкой на голове. Иногда я рисовал свой дом.

С нашего второго этажа со старческим кряхтеньем спускалась затайливо изломанная деревянная лестница. Крохотный заасфальтированный дворик, зажатый меж домов и сараев, – подмостки, на которых разыгрывались страсти, фантазии и трагедии моей жизни. Только сменой скупых декораций он легко перевоплощался в футбольную арену или Бородинское поле, в снежную крепость или в лабиринты развешанного белья, в полигон оголтелой брани или в веронский уголок. Что бы ни происходило в бесчисленных закоулках, проходах, потайных углах и коридорах, пронизывающих этот кусок пространства, все выплескивалось сюда, как в римский Форум.

Лишь когда в палисадниках зацветала сирень, наступало некоторое непонятное затишье, будто она своим нежным звучанием незаметно поглощала надоедливый грохот и скрип повседневности.

Окружающая территория радиусом, как я сегодня понимаю, не более километра, изрезанная замысловатыми, петляющими, словно

весенние ручьи, улочками, исхоженная и исследованная от чердаков до подвалов, расчерчена в моей голове и раскрашена, как школьная контурная карта.

Кроме короткого периода мелодичной сиреневой тишины, ничего не согревает моих воспоминаний. Весь этот обжитый мной ареал во время фашистской оккупации составлял территорию печально известного Минского гетто. Более ста тысяч душ совершили здесь трагическое восхождение в светлый заоблачный мир. Все здесь так глубоко пропиталось болью, слезами и безответными молитвами, что до сих пор ангелы не решались залетать в наше небо.

Только много позже я осознал, что исковерканная энергетика этого кусочка земли оставила на моей судьбе не менее сущностный отпечаток, чем магическое расположение звезд в час рождения.

Думал ли я тогда о судьбе своих соплеменников? Ощущал ли себя гордым сыном древнего народа? Конечно же, нет. Я-то как раз хотел быть одним из тех, кто старательно помогал мне ощущать себя «другим». «Другость» так никуда и не делась, а тайная детская мечта стать «русским» через много лет смешно и безрадостно воплотилась на Земле Израиля.

Я рисовал непобедимые русские танки и самолеты с красными звездами, воображал себя летчиком, а глупых и жестоких немцев видел только в кино.

3

Мечту стать летчиком я вынашивал вяло и недолго. Скорей это была дань дворовой мальчишеской традиции.

– Не будь дураком, посмотри на дядю Лазаря, – с завидной неутомимостью повторял мой папа, услышав однажды, что я вознамерился стать художником, – тем более еврей. Нужно иметь в руках надежную специальность. Тем более еврей. Тем более в нашем беспокойном мире. Всегда сможешь себя прокормить, а рисовать – ты ж понимаешь! Никто тебе не мешает этих глупостей в свободное время. Тем более не забудь.

Список «надежных специальностей» включал инженеров, маляров, автомехаников, парикмахеров и, на крайний случай, слесарей шестого, как папа, разряда. Дядя Лазарь, папин шурин, удивительно лысый, близорукий и вечно испуганный человек, презрительно-сосрадательно именуемый в нашей семье «художник», работал оформителем в рекламной конторе с труднопроизносимым канцелярским названием. Его жена, моя тетка, постоянно жаловалась на отсутствие денег, на сына-хулигана и на худсовет, который мало того что состоял из одних антисемитов, он состоял из антисемитов, совершенно не понимающих в искусстве. Их квартира часто была загромождена огромными плакатами, на которых краснощекие мужчины в стахановских кепках и женщины в революционных косынках держали в натруженных руках необъятные стопки бурачно-красных десятирублевков, призывая хранить их в сберегательной кассе. Там я впервые увидел так много денег вместе.

Перспектива рисовать всю жизнь мускулистых строителей коммунизма, увешанных трескучими лозунгами, вызывала у меня

отвращение. Я был полон гениальных замыслов. Я мечтал о свободе творения шедевров среди одиночества и непонимания, сопутствующих истинному дарованию. О слезах восхищения благодарного человечества. О славе, пусть даже посмертной.

Дяди-Лазаревы плакаты, теткинны стоны и страх перед голодной смертью под забором, как собака, без диплома в кармане, определили мой выбор. «Надежной» выступила специальность инженера по теплоснабжению и вентиляции. По утверждению моих не слишком образованных, но на редкость осведомленных родственников, евреев туда таки да принимали.

Шестнадцать, в общей сложности, лет учебы и инженерной службы скомкались во что-то непроходимо серое; времени и сил на создание нетленных произведений, способных поразить и осчастливить человечество, категорически не хватало. Приходилось периодически довольствоваться пространными, надо признать, достаточно красочными застольно-кухонными монологами в сослагательном наклонении с подробным описанием живописных замыслов, экспрессии, композиции и т. д. На подвыпивших сотрапезников разглагольствования в жанре литературной живописи неизменно производили впечатление не меньшее, чем на меня самого. Это ненадолго успокаивало, но линия моей жизни неуклонно...

Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не грянула перестройка. Все вокруг, словно вдохнув свежего воздуха, зашевелились и, кому не лень, бросились создавать кооперативы, фирмы и даже корпорации. Оказалось, что огромная страна ждет своих предприимчивых героев, вождедея обогатить их тем, что раньше плохо работало, плохо лежало или не существовало вовсе. Наступила, подумал я, пора, наконец-таки, свершений, и мы с Сёмой решили к этим свершениям незамедлительно приступить.

4

Я просто должен был что-то совершить и вовсе не собирался уподобляться классику, истершему свои босые ноги утомительным непотворением злу. Не замышлял побег, как «усталый раб».

Все получилось само собой в каком-то затуманенном бездумье, схожем во многом с тем, что сопровождало наш переезд в Израиль. Очереди в ОВиР, прозрачные рыбы глаза, кажется, майора, отправка багажа, беспробудные прощальные застолья с хмельными клятвами и слезами и тревожное бдение в автобусе, пересекающем среди чужой уже ночи чужую границу. Все это слиплось в довольно несуразный пирог, отдельные слои которого сегодня различаются с трудом. Тогда я ощущал себя лишь послушной фигуркой в чьей-то, недоступной моему пониманию, игре, где я, моя семья, знакомые и друзья вдруг покорно снялись с родных вроде бы мест и слились в едином сомнамбулическом движении. Были, конечно, аргументы общего пользования, планы и даже некоторые личные соображения, но когда я пытаюсь осмыслить мой теперешний уход, то, как и тогда, почти двадцать лет назад, не нахожу ничего более вразумительного, чем безликое «так было нужно». Правда, непонятно кому.

После всего произошедшего я должен был, наконец, что-то совершить. Как и тогда, глубоко запрятанный, как хроническая болезнь,

душевный дискомфорт вырвался наружу однажды ясным июньским утром, когда в Минске, наверное, еще полыхала сирень, а в Иерусалиме уже всю властвовал хамсин. Этот дискомфорт вылился вдруг в простую, до удивления простую мысль – нужно уходить.

Как тогда – нужно уезжать.

5

Еще года за два до отъезда я о нем даже не помышлял. Все только начинало вроде бы налаживаться, мы с Сёмой постепенно приближались к осуществлению наших творческих амбиций.

Мой друг Сёма искренне считал себя рожденным для стихосложения, но в качестве «надежной специальности» предпочел водоснабжение и канализацию, куда евреев, как оказалось, принимали. В отличие от меня, его позывы к творчеству периодически воплощались в малопонятных поэтических формах, где небрежно завуалированная возвышенными любовными переливами эротика и беспросветное одиночество сливались в едином апокалипсическом порыве. Мятущейся Сёмминой душе, его неугомонному дарованию были до обидного узки рамки пусть даже длинного, но простого стихотворения. Он, как и я, мечтал о грандиозном. О «Явлении Христа народу» в поэзии. Терпеливо *выслушивая* мои нетленные живописные полотна, он доверительно повествовал о своих ничуть не менее бессмертных замыслах. Романы, романы, романы в стихах, виртуозные, как «Евгений Онегин», глубокомысленные, как «Фауст», и изысканные, как «В поисках утраченного времени». Я же мыслил в категориях «Ночного дозора», «Венеры с зеркалом» и «Красных виноградников в Арле». По счастью, наша напряженная творческая деятельность проистекала в различных изобразительных жанрах. Это исключало конкуренцию и повсеместный, со слов дяди Лазаря, беспардонный плагиат. И по-настоящему нас сблизило.

Сёма намеревался начать с широкопанорамного романа об исходе евреев из Египта, а затем поэтапно переосмыслить и концептуально зарифмовать всю Библию от сотворения мира до распятия Христа.

– Зачем придумывать! – восклицал Сёма, сжимая рюмку в нервной ладони. – Все сюжеты уже давно написаны. Мир ждет, он просто еще не понимает, что подошел к духовной необходимости облечь все это мракобесие в достойную поэтическую ткань, – и, проглотив питье, добавлял сдавленным голосом: – Только бы мне хватило жизни.

– Более того, – подхватывал я, закусывая, – пришло время переосмыслить значение ракурса в эмоциональной наполненности живописного формообразования.

Страстные декларации задушевных творческих устремлений неизменно перетекали в жалобы на отсутствие времени и сил. В обмен на «надежные» инженерные специальности жестокая, равнодушная к истинному искусству действительность хладнокровно отбирала и то, и другое, не компенсируя их хотя бы деньгами, регулярное отсутствие которых губительно отражалось на вдохновении.

– Без мук нет Торы, – эта, услышанная от кого-то и очень полюбившаяся Сёме фраза традиционно выступала в его умозаключениях завершающим аккордом.

– Нет и не будет, – так же традиционно и безнадежно согласался я.

Надежду принесли взошедшие на советском небосклоне перемены. Отодвинув на время поэтическое проникновение в библейские красоты и неповторимые живописные изыски, мы окунулись в разработку радужных перспектив воплощения наших заветных мечтаний.

Нужно только создать базу, заработать много, ну пусть не слишком много денег, освободить время и творить, творить, творить. Пара пустяков – только найти идею, а в них у Сёмы, по его словам, недостатка не было, и деньги сами потекут в руки. А там, глядишь, авангардные, пленяющие воображения полотна, самоуглубленная, свободная от надоедливой цензуры работа, выставки, публикации, презентации, конечно, благотворительная помощь начинающим художникам и поэтам, коктейли и задумчивые, готовые на все длинноногие поклонницы с влажными глазами и тонкими, как у песочных часов, силуэтами.

6

Песочные часы – пронзительный символ Времени. Спокойное тело песка, казавшееся поначалу значительным, сужаясь, тает и тает, все стремительней и стремительней. В тонкой неустойчивой струе, среди безликих песчинок-будней мелькают то слезинки, то жемчужинки. А навстречу им растет и растет, становясь прошлым, насыпь пережитого.

И когда, как выдох, падают последние песчаные крохи, охватывает недоумение пустоты и по-детски наивная надежда, что какая-то невидимая всемогущая рука легко обнимет хрупкую талию, перевернет похожую на знак бесконечности стеклянную колбу, и все, все можно будет начать сначала.

7

Сначала были ежевечерние обсуждения. Подход, по утверждению Сёмы, должен был быть сугубо «профессиональным» и предполагал некоторое, порой весьма обильное стимулирующее воздействие, при соответствующей закуске. Оказалось, что его, на первый взгляд, непроходимо поэтические мозги на удивление набиты коммерческими замыслами. И замыслы эти изливались из Сёминих мозгов, как из рога изобилия.

Но на деле все оказалось совсем непросто.

В стране не хватало всего, но производство дефицитных товаров – керамической плитки, копченой колбасы, домашних тапочек или презервативов, на худой конец, – требовало пусть небольших по нынешним меркам, но капиталовложений, а с этим делом у нас с Сёмой был полный творческий вакуум. Изготавливать зубочистки из спичек, канцелярские скрепки или заниматься чистым посредничеством типа «купил-продал» не позволяла нажитая за годы инженерского рабства гордость местечкового интеллектуала.

Однажды Сёма примчался ко мне с потрясающей по своей финансовой ценности идеей, осуществлению которой помешало

лишь небольшое, но непреодолимое на тот момент препятствие – не упавший еще окончательно железный занавес.

Талантливый человек, как сказано, талантлив во всем; Сёмины идеи, как и в поэзии, семимильными шагами опережали свое время. В энциклопедии, которую он в этот период скрупулезно прорабатывал в поисках коммерческого вдохновения, он раскопал описание некоего пушного зверька, то ли ласки, то ли бурундука, которого можно было выращивать даже в домашних условиях.

– Смотри, тут мы отгородим и поставим клетки, – Сёма широко взмахом отхватил три четверти моей двухкомнатной хрущевки, – спать будете здесь, у вас еще кладовая остается, а потом, когда дело пойдет, купишь себе роскошную квартиру. Для жизни.

– А дальше? – я был несколько ошарашен и, как ни старался, не мог признаться в том, что идея захватила меня своим обаянием.

– Дальше, маэстро, мы будем продавать мех на Запад, за валюту, – глаза Сёмы излучали снисходительность, – а мясо на Восток, за нее же.

От слова «валюта» повеяло знакомым по газетам холодком застенков, свалившиеся на нас перестроечные перемены еще недостаточно глубоко пропитали сознание, не говоря уже о подсознании.

– Но их же надо чем-то кормить, – в обсуждении наших проектов мне никогда не удавалось оторваться от земного мировосприятия.

– В этом-то и гениальность моего ночного озарения, – Сёма самодовольно уселся в кресло, стоящее на пятачке, еще свободном от пушных угодий, – кормить мы их будем курами.

– А может быть, паусной икрой? – у меня тоже было свое гордое чувство юмора. – Или марципанами?

– Ты не юродствуй, а слушай сюда, когда здесь тебя собираются озолотить, – видно, гениальность Сёминой задумки благотворно повлияла на его терпение, а это уже дорогого стоило, – курей мы будем выращивать вот здесь, на кухне.

– А курей? – мои оглушенные подобной перспективой извилины явно не поспевали за Сёминой мыслью. – Они ведь, кажется, тоже должны чем-то питаться.

– В том-то все ноу-хау и зарыто, – Сёма выдержал торжествующую паузу. – Курей мы будем кормить мухами.

– А мухи-то откуда? – во мне зашевелилась страшная догадка, – неужели...

– Правильно, мух мы будем кормить говном, – эту фразу Сёма выхватил изо рта, как фокусник карту из колоды, – а у нас его много.

– У нас его много, – медленным эхом повторил я.

– Получается безотходная пищевая цепочка, – слова Сёмы звучали, как фанфары, – в ванне будем держать говно с мухами, в кухне откармливать курей, здесь, в чистой атмосфере – пушистенькие, тут поставим маленький столик для разделки, а я возьму на себя самое сложное – работу с клиентами.

– Говна тоже, брат, потребуется немало, – я все-таки мыслил реальными категориями, – двух наших семей, пожалуй, маловато будет.

– Не волнуйся, есть друзья, родственники, – Сёма благосклонно опустил на практический уровень. – Не перевелись еще на свете добрые люди, не оставят на произвол судьбы без куса хлеба. А как поднимемся в деньгах, найдем персонал для снабжения.

В наступившей тишине я некоторое время мысленно переживал этап за этапом детали революционного технологического процесса и даже немного привык и к запаху, и к временным неудобствам, сулящим впоследствии золотые горы. Пока я обдумывал, как подготовить мою жену к издержкам нашего предприятия, неугомонная Сёмина мысль, не зная передышки, неслась, как оказалось, вперед.

– Послушай, я вот только что подумал, – медленно проговорил он, видимо, любуясь собственной гениальностью. – Зачем нам мучиться?

– А как же иначе?

– Мы будем продавать за валюту отдельно – технологию и отдельно – говно. А у нас его много.

– У нас его много, – опять эхом повторил я, ощущая внутри нечто вроде легкого разочарования.

Неясность международного положения, трудности не только со сбором, но и со складированием исходного сырья в промышленных масштабах, ну и, конечно, с переправкой его за границу, отсутствие по-настоящему заинтересованных покупателей не позволили нашему талантливому замыслу осуществиться. Кто знает, может быть, Сёма, а ныне преуспевающий бруклинский бизнесмен, м-р Сэм Гиршман, еще воплотит его в жизнь. В Америке ведь совсем другие возможности.

Завершив пушной промысел, мы вовсе не отказались от своих честолюбивых устремлений. Пылкая Сёмина мысль не иссякала, и идея вскоре нашлась.

У захудалой разорившейся фабрички, производившей в советские времена калоши, зубной порошок и вакуу для солдатских сапог, мы за гроши купили несчетную уйму плоских круглых коробочек. В них мы вкладывали пропитанные ароматизированной водой поролоновые губки, и получалось прекрасное приспособление для смачивания марок перед наклейкой на конверты. Времена стремительно менялись.

По стране ходили немереные потоки денег, люди не успевали сплевывать на пальцы при их пересчете. И тут наша продукция, постепенно снабженная впечатляющим фирменным знаком, стала чрезвычайно востребованна.

Благосостояние наше обрело вполне приемлемые очертания. Мы наняли пятерых пенсионеров, за более чем скромную плату они, преданно глядя нам в глаза, выполняли всю работу. Нам оставалось только обрызгать все заграничным одорантом, отправить товар и получать деньги. Правда, все это в совокупности с частыми деловыми ресторанными встречами и не менее деловыми командировками отнимало так много времени и сил, что добраться до отставленных в сторону творческих свершений все никак не удавалось.

А потом вдруг оказалось, что нужно уезжать. Инфляция превратила наши, хоть деревянные, но все же деньги в воздух, и на Святую Землю мы ступили, напоминая благосостоянием свежесозданных прародителей. Оставленная родина еще тащилась за нами в чемоданах и баулах, звучала еще в наших головах и сердцах, но главное было уже впереди.

Все было еще впереди, но первое, что познал Адам, отведав плодов заветного Древа, было чувство стыда. Не было еще ни смерти, ни психоанализа, ни периодической системы, ни «Черного квадрата», ни сотовых телефонов. Не было даже евреев. Впереди ждала девственная, не испорченная еще парниковым эффектом Земля, а человек уже постиг, что есть нечто постыдное, срамное, что необходимо скрывать от посторонних и даже Божеских глаз.

Когда-то я стыдился своих курчавых волос, бабушкиного идиша, тяжелопроизносимой фамилии. Сегодня все это кажется смешным по сравнению с накопившимися, как шлаки в кишечнике, большими и маленькими стыдами.

Вот и для Шашаньки не нашлось у меня нужных слов...

Яэль была лишь на год старше Шаши, и, как многие коренные израильтяне, казалось, совершенно лишена чувства стыда. Только непонятные ей самой страхи и бессонница неумолимо проявляли болезненные раны, таившиеся в ее подсознании. На словах она довольно легко воспринимала то, что ей за ее короткую жизнь пришлось попробовать. Говорила об этом без всякого стеснения.

Ей было четырнадцать, когда отчим вкрадчивым, бархатным голосом позвал ее в постель, еще не остывшую от ушедшей на работу матери, и открыл ей, дрожащей от любопытства, боль насилия, горькое разочарование и тошнотворный запах застоявшейся похоти.

– Что интересно, – она спокойно смотрела мне в глаза, – я не могу сказать, что это было мне так уж неприятно.

В шестнадцать ушла из дома, жить там стало невозможно, стареющая мать не скрывала ревности. Дальше была улица, ночлег в заброшенных домах, сначала марихуана, потом таблетки, развязные юнцы, пускающие семя, не успев снять штаны, привычное полупьяное равнодушие, казенные нравоучения полицейских и социальных работников, насильственное возвращение домой, истерические крики матери и сальные, стыдливо опущенные глаза ее мужа, снова улица. Дважды ее отыскивали в пригородных арабских поселках, куда, не помня как, попадала, скорей всего, в поисках травки.

Потом появился он, в своих рассказах Яэль называла его только «он», совсем уже немолодой, за тридцать. Он подобрал ее поздним вечером в парке, на детской площадке, в те драгоценные минуты, когда полстакана водки и несколько косяков дарили ей короткое отдохновение протрации. Она безропотно пошла за ним в его квартиру, равнодушно позволила себя раздеть и уложить в ванну и только немного удивилась, когда он, раздевшись сам, уселся рядом. К ней не прикасался, только просил смотреть на него, и, кажется, – она плохо помнит, – мастурбировал.

Все это она рассказывала мне спокойным голосом, иногда задумчиво глядя в окно, а иногда глядя на меня в упор, будто пытаюсь разглядеть во мне одного из мужчин, истоптавших ее жизнь. Каждый раз, по завершении разговора, когда мне казалось, что она нуждается исключительно в слушателе и я больше ничем не смогу ей помочь, она просила назначить следующую встречу.

Мое сердце разрывалось от жалости и страха – подобное могло случиться и с моей дочерью. Всеми силами я гнал эти мысли,

старательно твердя себе, что с моей Шашаней такого не может произойти никогда.

Новоявленный «благодетель» предложил Яэль поселиться в его квартире, сам появлялся изредка, запретил даже думать о наркотиках, помог поступить в школу промышленного дизайнера, оплачивал учебу и выдавал некоторую сумму на карманные расходы. Взамен не требовал многого. Иногда он приводил одного или нескольких приятелей и молча наблюдал, как они забавляются ее телом.

– Это было нормально, – она, не смущаясь, воспринимала все это как справедливое деловое соглашение, – я ведь жила в его доме, на его деньги.

Я не находил ничего лучшего, чем терпеливо выслушивать ее, изредка задавая вопросы, произнося в паузах хоть и банальные, но не лишённые искреннего сочувствия фразы, интуитивно избегая морализаторства.

В один прекрасный день она сообщила, что сон ее улучшился, страхов стало поменьше и что она решила разорвать свои отношения с «этим маньяком», о чем сегодня же намерена ему сообщить. Учеба ее к этому времени подходила к концу, она даже нашла какую-то работу, рассчитывала начать новую жизнь и как-нибудь прокормиться сама.

– Ты очень помог мне, – она смотрела на меня с неподдельной благодарностью, – сегодня вечером это закончится.

Растроганный, я попытался дать ей несколько не слишком оригинальных наставлений, мол, надо спокойно, уверенно, у тебя вся жизнь еще впереди, все получится и т. д. Она слушала внимательно и кивала, будто я открывал ей нечто доселе неведомое.

Наутро она позвонила и попросила о встрече. Я ждал ее с трепетом, словно речь шла о важнейшем событии в жизни моей дочери. А если он ее не отпустит?

– Он согласился, – сказала она с порога хриловатым голосом, – только с одним условием.

– С каким? – радость не успела еще ворваться в мое сердце.

– Он отпустит меня без всяких претензий, если я с ним и его друзьями поеду на неделю в Таиланд...

– Ну, это не так страшно, – я не понимал ее настроения.

– ...и буду делать там все, что он скажет, – последние слова она прошептала.

– И он тебя отпустит? Он обещал? – это был самый глупый вопрос на свете.

– Обещал, – выдохнула она. – Позвоню, когда приеду.

Она позвонила через две недели, они прошли для меня в обычной суете, лишь изредка я с невнятной радостью вспоминал, что где-то на сказочных просторах востока Яэль отвоевывает свою свободу, и в ней, в этой борьбе, я, может быть, принимаю некоторое участие.

Она вошла, и сердце мое упало. Скомканное усталостью лицо она с трудом втащила в комнату, тяжело уселась и уткнула мне в грудь равнодушный невидящий взгляд.

Язык не поворачивался спрашивать.

– Ну вот и все, – она словно очнулась, – можно открывать чистый лист.

– Как ты? – что можно было еще спросить?

– Нормально, – она подняла на меня глаза. – Ты, наверное, хочешь знать, как все было.

Я в смущении молчал, и она заговорила монотонно, словно читая заученный текст, с одной лишь целью – проговорить и поскорее забыть его.

– Теперь ты свободна, – я с трудом выдавил из себя эти несколько слов. – Все пройдет, все будет хорошо.

– Все будет хорошо, – она с натугой выстроила на лице некое подобие улыбки, больше похожее на гримасу боли, – только я уже несколько дней не могу отмыться, я ненавижу свое тело.

Пришла моя очередь говорить. Слова беспорядочно сыпались из меня, и слов этих мне не хватало. Мне хотелось обнять ее, объяснить, что никто и ничто, никакой, самый поганый извращенец не может осквернить великое Божье творение, что унижение только в мыслях, которые нужно забыть, выкорчевать из памяти. Ведь с чистого листа, ведь все уже закончилось, ведь грязно не то, что в человека входит, а то, что исходит из него, это слова Иисуса, а он тоже был еврей, ну всё, всё, всё уже позади, Господь милостив, он прощает невинных, а всяких нехороших (жаль, в иврите нет матерных слов) наказывает.

– Пожалуйста, помоги мне очиститься, – она впервые смотрела на меня с искренней мольбой в глазах, – мне кажется, мое тело насквозь пропиталось этим жутким запахом тайских борделей.

Она медленно поднялась, несколькими привычными движениями сбросила с себя одежду и обернулась ко мне.

Краешком сознания я отметил, что во мне не дрогнул ни один мужской мускул. Передо мной был несчастный ребенок с пленительным телом женщины и истерзанной душой. Я невольно опустил глаза. Может быть, чтобы, сомневаясь в себе, не спугнуть ее взглядом, а может быть, просто чтобы не ослепнуть от этой сияющей наготы.

Она вышла из груды сброшенных одежд, как Афродита из пены, и легла на массажный стол. Разметавшиеся волосы укрыли ее лицо.

В моих пальцах издавна жило ощущение того, что пережитые человеком душевные травмы впитываются и надолго запоминаются его телом, кожей, мышцами. Потом я читал об этом в разных серьезных книгах. Язык прикосновений, с детства воспринятый из натруженных бабушкиных ладоней и превратившийся со временем в наиболее внятный способ общения с внешним миром, был для меня реальнее любых слов.

Словно вдруг вспомнив об этом, мои руки очнулись и заговорили с ее телом. Все, что не удалось сказать словами, они безудержно говорили в полный голос, не зная ни стыда, ни сомнения. Будто по наитию они устремлялись туда, где среди нежных изгибов, в складках теплого бархата, в упругости линий напряжением затаились боль и отчаяние. Я был только безмолвным наблюдателем. Тонкие масла лаванды и лимонника сопровождали мои пальцы в этом непридуманном монологе, воспевающем девственность ее тела, непорочность ее души. Это была не какая-то банальная лечебная процедура, это было объяснение в любви несравненному Божьему творению. Так прикасаются в восхищении к трепетному цветку или хрупкому крылышку бабочки.

Мои руки говорили ей это, и она услышала их.

Встала, торопливо оделась, румянец смущения струился из ее глаз по лицу и шее. Ушла, не сказав ни слова.

В течение месяца, прошедшего до следующего ее появления, я часто с благодарностью думал о ней. Яэль подарила мне возможность пережить нечто, ранее мне незнакомое. Правда, чем было это «нечто», я объяснить себе не мог.

Она выглядела посвежевшей, но растерянной.

– Что опять случилось? – я, внутренне улыбаясь, старательно изображал ворчливого старикашку.

– Случилось страшное, – пролепетала она, – я влюбилась.

– Ну, это еще не самое страшное, – я облегченно вздохнул, – со мной это бывало неоднократно.

– А со мной – впервые, и это страшно, – она ходила по комнате из угла в угол, – он меня не замечает.

– Заметит, – я всем видом показывал, что проблема не кажется мне серьезной и, вообще, у меня нет времени на разные глупости. На самом деле все во мне торжествовало.

Ее избранником стал преподаватель ее же школы, не намного, по-видимому, старше ее, серьезный и жутко, по ее словам, интеллигентный.

– Самое страшное не это, – она, наконец, уселась на краешек стула, – если он узнает обо мне все, даже не захочет смотреть в мою сторону.

– Оставь эти глупости, – ничего кроме банальности не лезло в мою переполненную радостью голову, – у нас демократическая страна.

– Но и это не самое страшное, – она лихорадочно схватила меня за руку, – я написала ему письмо, и мне *стыдно*.

– Что? Тебе стыдно? – внутри меня что-то повернулось, радость вдруг переросла в ощущение чего-то знакомого и нездешнего, – за что же тебе может быть стыдно?

– Девушка не должна первой признаваться парню в любви, – на глазах ее навернулись две огромные слезы, – это стыдно.

Дальше пошла обильно смешанная со слезами белиберда. Он такой-растакой, а я такая-рассякая, опять бессонница, аппетита нет, только начала приходить в себя, комнату сняла, микроволновку купила, и – на тебе. В общем, не выдержала, купила пирог с маком, вложила в него письмо, подошла и отдала ему.

Письмо в пироге – чисто израильская версия – пленила меня своей милой непосредственностью.

– Ну что ты там уже такого написала, что тебе так уж стыдно? – от волнения мой иврит становился все примитивней. Неповторимая атмосфера русской литературы ощущалась все явственней.

– Ой, не спрашивай, я такая дура! – новая волна слез обрушилась на ее полуразмытое лицо. – Я написала, о Господи, что вся моя жизнь была лишь дорогой к нему, что я всегда его искала, что он послан мне Богом, и что он мой избранник навсегда, до самой смерти, и что, конечно, ой, мамочка, ему со мной, наверное, будет скучно, но я буду рада любым отношениям с ним, это мой выбор, и, Господь – свидетель, я готова ему принадлежать.

– А он? .. – слова почему-то застревали у меня в гортани.

– Пока молчит, – она закрыла лицо руками. – О Господи, как мне стыдно!

Выносить это уже не было никакой возможности. Теперь уже я вскочил и тоже забежал по комнате, но мысли мои носились по холмам Михайловского, залетали в осеннее Болдино и с головокружительной скоростью врвались в мое отрочество, когда неземные пушкинские строки я беззастенчиво вплетал в пространные послания любимым девушкам.

– А слышала ли ты о Евгении Онегине? – лепетал я не своим голосом, явно окрашенным поэтическим подвыванием. – Про Пушкина ты слышала?

– Про Пушкина?.. Бабушка что-то рассказывала... – Яэль смотрела на меня с явной тревогой. – Это был такой коммунист?

Какой, к черту, коммунист, голубка моя левантийская! В другой момент ее дремучесть умилила, рассмешила меня или вызвала бы раздражение. Но сейчас было не до того. Поразительно было то, что каким-то невообразимым путем образ пушкинской Татьяны пророс в этой малообразованной девочке, родившейся среди по-своему привлекательных, но по иной мерке скроенных мотивов Ближнего Востока.

В отличие от нас, выросших внутри щедрой русской культуры, израильтяне казались по-хорошему непосредственными, раскрепощенными, свободными от всяческих многослойных душевных заморочек. Вдруг я ощутил, как неостановимые разноголосые соки любви пропитывают всю землю и прорастают повсюду, одеваясь, словно Ромео и Джульетта, в разные языки и цвета кожи.

– Пушкин был не коммунист, – я настраивал себя, глубоко вдыхая и выдыхая, – он был поэт. И писал о любви.

Она замерла, а я, не в силах больше сдерживаться, приступил к изложению бессмертного романа в стихах. Тогда я еще не знал о существовании перевода «Онегина» на иврит. Я думаю, что уважаемый Шленский вряд ли без вреда своему здоровью смог бы прослушать мое повествование. А может быть, и простил бы за искреннее желание донести до влюбленной израильской девочки самую суть пушкинского шедевра.

Надо сказать, что мой иврит, и без того не особо богатый, от волнения превратился в поток сплошных междометий. Недостаток слов я произвольно восполнял мимикой, жестами, позами, а в одном месте попытался исполнить арию из одноименной оперы Чайковского. Ария ее не впечатлила, но все остальное она, кажется, поняла.

В переводе с иврита моя версия выглядела достаточно сокращенной, но на редкость эмоциональной. Об Онегине я распространяться особенно не стал, ну – парень как парень. Зато о Татьяне, которая все отрочество и даже часть юности была для меня идеалом, – распространился как мог. Была, мол, умная, красивая, одинокая и мечтательная, приблизительно, говорю, как ты. Про ее письмо Онегину получилось проще: слово в слово, как, говорю, у тебя.

– А он? – она сидела, затаив дыхание.

– А он, – мне голову пришла только израильская форма построения фразы, – а он ей: послушай, Татьяна, ты девушка – жалко времени, если бы я хотел жениться – ты подходишь мне – полный порядок. Однако, извиняюсь, сейчас для меня это не актуально.

Яэль тяжело вздохнула, а я помчался дальше. «Зима, крестьянин, торжествуя...» опустил за неимением запаса слов, впрочем, как и «Паду ли я, стрелой пронзенный...», хотя интрижки с Ольгой коснулся, изобразив ее в основном мимикой. Всю остальную энциклопедию русской жизни я оставил ей на будущее для самостоятельного изучения. Разговор Гремина с Онегиным мне не слишком удался: «А кто это там, в красной шапке, разговаривает?» – «Это моя жена. Послушай, Онегин, я думал, что я уже старик, но вдруг встретил Татьяну и понял – все. Любовь может быть в каждом возрасте».

Письмо Онегина Татьяне потребовало немалых усилий, ведь когда-то я знал его наизусть и неоднократно цитировал: «Послушай, Татьяна, я был таким дураком, что не понимал, какая ты девушка, – конец дороги. Теперь я понял, что не могу без тебя жить. Или оставь твоего мужа, или я умру».

Я сам, как когда-то, воображал себя автором этого письма, в моем голосе было столько боли и тоски, что Яэль в порыве нежности погладила мою руку. А я приближался к трагическому финалу: «Смотри, Онегин, – это Татьяна говорит, – я тебя, конечно, еще люблю, как писала тебе раньше. Если я полюбила – то жалко времени. Но я замужняя. И не могу себе позволить изменять ему. Так что, я очень извиняюсь, до свидания».

Я остановился перевести дыхание.

– И что, он ушел? – она смотрела на меня во все глаза, на ее щеках сверкали жемчужные дорожки слез. – И больше ей не писал?

– Никогда! – выдохнул я и на несколько мгновений задумался о том, стоит ли рассказать Яэль, что, возможно, Онегин впоследствии, в десятой главе, мог стать декабристом, но передумал: – Он ушел навсегда!

Она звонила мне потом еще несколько раз. С ней все было нормально, она продолжала влюбляться.

9

Волшебство начинается, когда в Иерусалиме идет снег.

Город странно молодеет, оживает, как умело загримированный стареющий лицедей. То ли атмосфера веселья и торопливости, сопровождающая это кратковременное чудо, скрывает древние морщины, то ли белый саван, появляясь и исчезая, рождает иллюзию обновления. В эти короткие дни, насыщенные чувствами, как жизнь бабочки-однодневки, к многоликости Иерусалима добавляется еще одно, более знакомое мне лицо, будто снег создает между нами некое подобие родства.

Но снег тает, и становится ясно, что напрасны все мои попытки понять этот город, как когда-то в детстве я, кажется, понимал уголок старого Минска, в котором вырос.

И вместе с тем он, Иерусалим, необъяснимо притягивает меня паутиной невнятных воспоминаний, переплетением узких улиц, лабиринтом переулков, тягучей тиной застывшего в религиозных кварталах времени. Вот и сейчас, прижавшись к одной из его окраин, как ребенок к ногам матери, я не в силах оторваться от него.

Из моего пристанища видны окраины Бейт-Лехема – Вифлеема, где родился один из нас, который всенародно провозгласил

свою правду и исчез, как исчезло множество бродивших по городу проповедников. Он так и не узнал, как талантливо распорядился его именем безвестный иудей Савл.

Я, как и многие из нас, *возвратился* в Иерусалим, в моей памяти лишь разрозненными кадрами мелькают картины той, прошлой моей жизни. Отец, красивый и неприступный, один из служащих Храма, через много лет он вернулся ко мне Учителем. Моя мать – одна из наложниц богатого отцовского дома. Она умерла, когда я был ребенком, и оставила мне душистый запах светлых волос, теплую мягкость рук и несколько незнакомых ласковых слов, значение которых я понимал лишь интуитивно. Ослепительно белые колонны Храма, разноголосый гомон, я – одинокий, вечно настороженный, с глубоко вбитой в плечи головой, размеру которой удивлялись даже выдавшие виды паломники. Может быть, из-за моего характера, а может быть, из жалости, вызываемой моим горбом, отец отдал меня на обучение в общину ессеев, с которой у него были давние связи. Помню лишь мимолетные картины: долгую знойную дорогу, пещеры, огонь, римские солдаты, бегство, мои огромные, невиданной силы руки, разбой на дорогах, казнь. Мне не удалось вспомнить больше, и когда лет десять назад я приехал туда, где все это могло бы происходить, только надпись на указателе – «Кумран» – легким волнением отозвалась где-то в груди.

Иерусалим не отпустил меня, и я возвратился к нему, как возвращается, облетев полмира, перелетная птица.

Но я вернулся не один. Там, за пеленой дождя, я знаю: мои близкие сейчас думают обо мне. В мое застывшее полузабытье врывается иногда пронизывающее беспокойство за них. Что поделать, как сказал старик Гегель: «Самое существенное – это путь, и приводит он к одиночеству внутри себя». Звучит красиво, довольно заманчиво объяснить этой фразой то, что я здесь и что тело мое уже не чувствует холода, а пребывание на призрачной границе прожитых жизней неопишимо, как ощущение избранности.

10

Невыносимое ощущение избранности прорастало во мне с самого детства. Оно щедро удобрялось стойкой атмосферой чуждости, сотканной из обидных выкриков моих малолетних сверстников, из негласных ограничений, одетых в торопливо-смущенные объяснения, из неприкрыто злобных разговоров в пропитанных перегаром автобусах, из рассказов стариков, чудом переживших войну, из приправленных страхом наставлений родителей. От удушливых объятий этой постылой избранности возможно было укрыться лишь в ладонях моей бабушки, а потом, когда она ушла, в крохотном кровнородственном гетто, границы которого для меня с годами сузились до размеров сердца.

Первое, что я с удивлением и благодарностью ощутил на земле Израиля, – непривычное ощущение некой равнопричастности к происходящему здесь. Осознанная позже, избранность народа в одинаковой степени принадлежала всем, вернувшимся сюда.

Любая, даже самая что ни на есть оправданная эмиграция – тяжелейшее, иногда непреодолимое испытание. Нет для человека,

по-моему, большего счастья, чем родиться и умереть в одном месте, на земле, которая с любовью примет твое бренное тело. Нам выпало другое – в почти миллионной толпе переселенцев, особенно в первые годы неустроенности и поисков душевного пристанища, бушевали волны разнонаправленных эмоций. Многие из нас искали спасения в религии, превратившись в непримиримых неофитов и размахивая своей пугающей избранностью, словно карающим мечом. Как и всегда в душевно запутанные времена – а это касалось не только Израиля, весь мир, казалось, головокружительно менялся – на авансцену выбрались из пыльных углов мистики, маги, экстрасенсы и парапсихологи. Словом, все те, о ком Тора упоминает без особой симпатии.

Курсы тайноведения, семинары разноцветной магии, прорицатели прошлого и будущего, целители всего на свете, хоть и бывшие, но неплохо сохранившиеся жены фараонов, эксклюзивные воплощения праотцев и пророков, личные доверенные собеседники Самого и т. д. свалились на головы остальных непросветленных граждан в количестве, несколько превышающем число самих граждан. Избранностью от этих посвященных разило на полкилометра.

Не знаю почему, но однажды я почувствовал, что тайноведение, эзотерическое целительство наиболее органично сочетаются с моими невоплощенными живописными амбициями. То ли мистическое проникновение в тайны мироздания было для меня созвучно поиску изобразительного самовыражения, то ли неугомонные от природы фантазии искали новых аспектов воплощения. А может быть, намаявшаяся сомнениями душа искала опоры для себя и для многих мятущихся и страждущих, которых я, будучи избранным, от подобных страданий вознамерился исцелять. Так или иначе, я в короткое время проглотил десятка два пропитанных таинством книг и принялся искать достойного духовного наставника.

По-настоящему даже не ощущение, а уверенность, апофеоз избранности я встретил в женщине, первой милостиво соблаговолившей обучать меня тайнам целительства. Ей было около пятидесяти (мне – почти сорок). Она была достаточно миловидна, и только несколько визгливый голосок и неумная напористость создавали вокруг нее стойкую атмосферу беспокойства, довольно далекую от той, которая представлялась мне, еще не просветленному и не приобщенному.

На удивление скромный круг пациентов составляли в основном неопределенного возраста обеспеченные люди. Они смиренно выслушивали ее пространные, напичканные мистикой монологи, робко пытаясь в паузах вставить некоторые сведения о состоянии собственного здоровья. Все завершалось наложением на болящего ее благословенных рук в сопровождении малопонятных, но неизменно пугающих заклинаний. Наложению же рук она учила и меня; до тайных исцеляющих формул я в то время, по-видимому, еще не дорос. Встретив в ее лице первого настоящего экстрасенса, я был, признаться, некоторое время увлечен всей этой мистической мишурой.

Ее звали Нора Козн. Почтенную фамилию она приобрела от второго мужа, с которым давно развелась, и при каждом удобном случае поминала в выражениях, не отличавшихся особой духовностью. Это не мешало ей как-то замысловато, окольными путями,

через фамилию Коэн, еврейскую мать и русского (между нами) отца, проследить свою родословную аж до царя Давида. Тут же, не указывая пальцами и не называя имен, проскальзывало слово «мессия».

Когда ее пожилые почитатели по каким-то причинам иссякали, обязанности терпеливой аудитории возлагались на меня.

– Я несу этим неблагодарным свет, – пищала она, сверкая глазами, – этим темным, больным людям я, обжигая руки, несу свет. И что взамен? Они хотят быть здоровыми, здоровыми! – это действительно выглядело вопиющей наглостью со стороны пациентов. – А понимают ли они, чего это стоит мне?

Я чувствовал себя виноватым за всех нас, неблагодарных, безучастно плетущихся за ней, как в сказке М. Горького, не понимающих глубин ее самопожертвования.

– В мире есть только два истинных целителя – он (фамилию забыл, помню только, что в Израиле он был то ли сапожником, то ли бухгалтером, потом уехал в Англию и прославился как духовный лекарь) и я.

Потом мы переходили к наложению рук. Руки накладывал я, причем на ее милостиво предоставленное, изможденное заботой о людях сердце. Я был скромен, но она решительно укладывала мою руку на свою левую грудь, хотя я к тому времени уже знал из анатомии, что сердца там не бывает.

Минут через пятнадцать такого наложения, когда все мое тело затекало от старания, сосредоточения и неудобности позы, она, не открывая глаз, произносила:

– Хорошо... У тебя хорошая энергия... Но тебе мешает то, что ты меня хочешь, – она произносила это медленно, словно прислушиваясь к потусторонним голосам. Оправдываться было бессмысленно. – Хочешь, хочешь, признайся... А это нехорошо.

Я-то – честно, как на духу, – не хотел ее, но обещал стараться не хотеть, поскольку это было действительно нехорошо.

Урок завершался торжественным чтением главы из ее книги.

Некоторым она таки да помогала. По-видимому, срабатывал принцип, высказанный Уоттсом: «Хорош тот врач, который развлекает пациента, пока природа не осуществит исцеления».

В сущности, она была добра и потому бесцеремонна:

– Как ты можешь жить с таким гастритом? – пропищала она однажды при мне, обращаясь к незнакомому дородному мужчине, который, судя по цвету лица, такого слова никогда не слышал.

Как-то приятель соседей ее дальних родственников, который, ничего не подозревая, беззаботно прогуливался с подружкой возле ее дома, был уличен:

– Вот ты гуляешь с кем попало, а у самого больная спина, – она снисходительно положила руку на плечо его спутнице. – Девушка, объясните ему, что он должен приходить ко мне и серьезно лечить свою жопу.

Беспрестанные проявления избранности Норы постепенно все больше и больше утомляли меня, но перелом наступил, когда однажды я встретил на улице одну из ее самых преданных почитательниц, симпатичную, аккуратно одетую старушку. После пространных приветствий и славословий в адрес несравненной носи-

тельницы света, она вдруг слегка коснулась моей руки и почему-то шепотом спросила:

– Ну, вот скажите, – она так доверчиво смотрела на меня бледно-голубыми глазами, что я невольно почувствовал собственную значительность, – разве Машиах может быть женщиной или женщина может быть Машиахом?

Я ничего не ответил, но явственно ощутил, что мои уроки у Норы благополучно завершились. Ибо к этому времени я уже твердо знал, что Машиах женщиной быть не может. И наоборот.

...Следующий наставник, полноватый красавец марокканских корней Габриэль, был несколько скромней в осмыслении собственной избранности, но неимоверно величественнее в способах ее демонстрации. Многочисленной пастве, и мне в том числе, на одном из уроков он доверительно сообщил, что является последним воплощением Иакова, сына праотца Ицхака, внука праотца же, Авраама.

Помню, сообщение было встречено одобрительным гулом, кто-то даже прослезился.

Габриэль был действительно одарен и пользовался широким авторитетом в узком кругу поклонников альтернативной медицины.

Его уроки походили на шоу. Все происходило в просторной комнате, на полу, застеленном поролоновыми матами. Ученики, числом более тридцати, располагались по периметру и были одеты настолько экзотично, что мне поначалу было неловко за свои архаичные джинсы и майку. Действо начиналось с того, что гуру усаживался посередине, закрывал глаза и принимался судорожно дышать, издавая периодически тяжелые утробные вздохи, напоминавшие стоны соития. Это, как мне объяснили, олицетворяло процесс сосредоточения, или даже более того – духовного совокупления с высшими силами. Мы старательно, закрыв глаза, следовали его примеру. На слух сцена невольно напоминала то ли восточную оргию, то ли тяжелую жизнь евреев в египетском рабстве.

Далее следовала недельная проповедь, занимавшая всю первую половину занятий. Дело в том, что в нашем обучении, в частной практике Габриэля и вообще во всем том, что происходило в его окружении, наиважнейшее участие принимали некие могущественные, невидимые непросветленному взору сущности, которых Габриэль называл *халялистами*. Все мои попытки разыскать перевод этого слова были напрасны. *Халяль* на иврите значит «космос, пустота, вакуум». Суффикс «ист» вообще пришел из русского.

Как бы то ни было, халялисты появлялись, бесцеремонно разгуливали по комнате, вмешивались во все, давали советы, а некоторым присутствующим даже без спроса улучшали здоровье. Причем присутствующие этого даже не замечали.

– Вот и халялисты пришли, – торжественно сообщал после завершающего стога Габриэль, и это было сигналом к началу недельного напутствия, которое эти посланники потустороннего мира открывали лично Габриэлю в интимные минуты приватного общения. Звучало это приблизительно так:

– На этой неделе халялисты учат нас осознать свое отношение к миру через любовь, путем углубленного созерцания отдельных деталей в контексте их материального воплощения, посредством принятия пищи.

Одна из учениц: «М... о... м... А я вот думаю, почему это сегодня утром я выглянула в окно туалета и вижу на небе вот такую (показывает) светлую полосу».

Габриэль: «Именно об этом идет речь».

Другая ученица: «Теперь я понимаю (выразительная пауза), теперь я, наконец, понимаю. Всю прошлую неделю я ела, ела, ела и не чувствовала ничего (пауза). А вчера вечером съела вот такой (показывает) кусочек пиццы и почувствовала конкретно».

Габриэль: «Вот! Вот оно! То самое, что я имел в виду!»

Ученик: «Почему же тогда у меня позавчера сначала был наморк, а сегодня потек радиатор в машине?»

Габриэль: «Вот именно! Это потрясающе! Вы чувствуете? События параллельны! Халялисты объясняют, что контакт с материальным миром на этой неделе необходимо осуществлять с учетом тонких духовных параллелей. И уметь принимать мир таким, как он есть».

Восторженный гул, и гуру переходит к своей любимой теме. Что бы ни советовали халялисты, какие бы затейливые пути ни рекомендовали, все в конце концов сводилось к одному: нужно принимать мир таким, как он есть.

Вообще-то, он, по его словам, учился у какого-то канадского шамана, сам был выходцем из Северной Африки, но теоретическая платформа его, и, соответственно, его наставников-халялистов, представляла собой затейливый винегрет из позднехристианской демагогии, околоастрологического трепса и искаженных до неузнаваемости принципов китайской акупрессуры. Да и сами халялисты родились и выросли, как я потом узнал, удивительно похожими на помощников Барбары Энн Бреннан, описанных ею в книге «Руки света».

Но все равно это было захватывающе. Ученики, как дети, радовались мистическим совпадениям подробностей своей частной жизни с текущими наставлениями мудрых призрачных существ.

Вторая часть урока посвящалась приемам и принципам лечения, и тут для и без того неугомонных халялистов наступал просто настоящий бенефис.

– Видите, они советуют помассировать вот здесь и надавить вот тут. Ну что, чувствуешь, стало легче? – ученик, выбранный в качестве наглядного пособия, благодарно мычал.

Мы разбивались на пары и, старательно прислушиваясь к советам наших бестелесных покровителей, надавливали, массировали друг друга, усиленно дышали, издавая стоны, ощущали, как требовалось, вибрации и совершали еще какие-то таинственные манипуляции, смысла которых я не понимаю до сих пор. В конце урока всем предлагалось приобрести у гуру магические кристаллы, амулеты, которыми все и так были обвешаны с ног до головы, ароматические масла и некие всеисцеляющие семена, если не ошибаюсь, петрушки. Над всем этим царил атмосфера приобщенности, со строгой, правда, иерархией, но каждый в той или иной степени ощущал себя избранным.

Просветленность Габриэля проявлялась также в незаурядном коммерческом таланте. Многие советы халялистов, бывших наверняка с ним в доле, имели исключительно интимный характер и,

чтобы получить их, ученик должен был назначить время для личной встречи и, естественно, дополнительно заплатить за сеанс. Это никоим образом не умаляло достоинств махатмы, вокруг него постоянно находилась группа безвозрастных обожательниц, готовых за него в огонь и в воду.

Как-то вечером мы вышли после урока вместе с художавым молодым парнем, который давно привлек мое внимание неисчислимым количеством висящих на нем амулетов и особенно надравными стонами во время вступительного акта духовного совокупления. Под тусклым фонарем он вдруг повернулся ко мне и, положив мне руку на плечо, тихо спросил:

– Скажи мне честно, ты хоть когда-нибудь видел халялистов?

– Нет, – так же тихо ответил я.

– Слава Богу, – выдохнул он. – А я думал, что я один такой бездарный.

Больше мы с ним никогда не разговаривали, и постепенно проповеди Габриэля наскучили мне своим однообразием. Видимо, приобщение к заоблачным тайнам не открыло литературного дарования ни у него, ни у его поделывников-халялистов. Приемы акупрессуры я узнал из книг, а волнующие стоны по-своему обаятельных адептов мешали сосредоточиться.

Я оставил этих увлеченных людей, как, впрочем, и Нору, с чувством искренней благодарности. Они научили меня тому, чего *не* нужно делать в поисках моего высокого предназначения. И поэтому му вовсе не собирался предаваться печали.

11

Когда же предаваться печали, как не на исходе субботы, под просыпающийся на улицах говор и нарастающий шелест колес, когда размеренный семеричный цикл становится реально ощутимым и полусонный вдох дня первого, слегка задержавшись на пике середины недели, плавно стекает выдохом к концу дня седьмого. Когда суббота уже ушла, а новый день еще не наступил.

Томительная пауза на выдохе. Время небытия.

Как верстовые столбы в легкомысленном течении дороги возвращают к осознанию реальности движения, к невозвратности пролетевших за окном километров, так и эти паузы на исходе недели превращают незримое движение времени в осязаемый поток.

Коварное подсознание, словно воспользовавшись беспомощностью недыхания, оживляет давно забытые страхи, неизжитые обиды. Обретающие плоть призраки с готовностью выползают из потаенных углов.

Так было и в тот дождливый вечер на исходе субботы...

«Человек вошел в мир бесшумно», – произнес однажды Тейяр де Шарден.

Так бесшумно выстраивается мизансцена, которая потом, по замыслу невидимого Режиссера, разворачивается в трагикомическое действие. Желание сотворить Мир, вытолкнуть на его ограниченную пространством и временем сцену меня, содеянного по Образу и Подобию и облеченного при этом призрачной свободой вы-

бора, неизменно рождает во мне еретическое предположение, что таким образом Господь пытается разрешить свой собственный, недоступный для человеческого разума внутренний конфликт. Иначе для чего же было затевать все это.

Вооруженный или обремененный рефлексией, я вынужден нести в себе зеркальное повторение противоречий, заботящих Творца. Я, одетый в трепетную плоть Божеский воин, сам же являющий собой арену баталии. С ненаучностью моей интуиции, необоснованностью моих предчувствий, недоказательностью моих ощущений, нелогичностью моих мыслей и непредсказуемостью моих поступков.

Наказание это или избранность – неустанно погружать руки в благословенный навоз грубой материи в поисках драгоценных песчинок духа?

Так безвестный раб надрывает силы на строительстве великих пирамид, заоблачного назначения которых ему никогда не постичь.

12

Попытки постичь справедливость мудрого Создателя я давно и благополучно оставил. Но один библейский эпизод, остановивший меня еще при первом прочтении Торы, кровавой занозой засел в моем сердце. Я возвращался к нему снова и снова и никак не мог понять, почему Всемилостивейший Господь, избравший праотца народов и носителя Своих идей, еще несколько абзацев назад благословивший и обещающий преумножить Авраамово семя, выдвигает столь жестокое требование, абсурдно противоречащее всему декларированному ранее. И Авраам, только недавно самоотверженно вступавший со Вседержителем в спор о судьбах содомян, покорно соглашается сотворить кровавое действие над своим единственным любимым сыном. Причем без всякой причины, с единственной целью – убедить Творца в своей, непонятно в чем выражавшейся праведности.

Приблизительно через полторы тысячи лет легендарный Агамемнон принес в жертву свою дочь, но возвышенно-патетическая атмосфера античного мифа вовсе не располагает меня к сочувствию переживаниям царя-завоевателя, потакающего капризам обиженной богини. Вопрос о том, стоила ли вся Троя – с прекрасной Еленой в придачу – жизни юной Ифигении, можно спокойно оставить на совести Еврипида. Тем более что вся история завершилась сказочно благополучно.

Благополучно завершилась и история испытания Авраама, но то ли по причине кровного родства и, соответственно, субъективного отношения, то ли из-за поразительной парадоксальности мотивов поведения действующих лиц она превратилась для меня в неотступное наваждение.

Оно-то в конце концов и привело меня сюда, на невысокую гору к югу от Иерусалима, в одну из многочисленных пещер, сохранившихся, наверное, еще со времен второго Храма, со следами недавнего лагбаомерского костра.

Помнится, я прочел где-то, что в традиции иудаизма этот эпизод принято обозначать словом *акеда* – связывание, или полней: *акедат Ицхак* – связывание Исаака. И что в еврейской религиозной философии *акеда* хоть и явилась предметом разнообразных

толкований, но основной их мотив – благонравное стремление Авраама проявить беззаветную, безусловную, безграничную любовь к Богу, с многословными оттенками и переливами его, Авраама, душевных переживаний.

Да простят меня незабвенные еврейские мудрецы, благословенна их память, все это звучало для меня совершенно неубедительно, и, только добравшись до Кьеркегора, а вслед за ним – до Льва Шестова, я понял, почему эта тема захватила мое сердце в нерасторжимые объятия.

Собственно, в Кьеркегоре я утонул. В замысловатом лабиринте его болезненно изысканных умопостроений, старательно пытаюсь натянуть на себя то страх, то трепет, я безуспешно силился понять, как вера может помочь найти дорогу в подобных дебрях. Блистательный Шестов спас меня. Разбирая неподъемные для моих мозгов завалы экзистенциальной мысли, он приводит волнующую строку из дневника Кьеркегора: «...если бы у меня была вера, я не ушел бы от Регины Ольсен...»

Я бросился искать это имя, тут было попроще, и до меня, наконец, дошло. Логика моих непросвещенных размышлений, вполне возможно, была ошибочной, но я ощущал эту логику не умом, а чем-то другим внутри себя.

Неожиданный, не понятый никем из его окружения разрыв философа со своей возлюбленной, с которой он прилюдно, с одобрения благопристойного общества, был много лет обручен, явился жертвой, принесенной им на алтарь недостижимых идеалов.

Как же это было созвучно жертвоприношению Авраама!

Тот же Шестов подарил мне незабываемую фразу: «Что такое для человека его Исаак, это каждый решает сам для себя». И когда я узнал, что старший сын самого Льва Исааковича погиб на войне, мне стало ясно, что тема необъяснимой словами жертвы так же захватила этих блистательных мыслителей и так же неразрешима для них, как и для меня. И еще я понял, что этот волнующий эпизод Танаха подсознательно сплелся в моей душе с мыслями о дочери.

О моей Шашаньке.

13

Мы зачали ее в любви, еще не освященной благопристойными штампами канцелярских печатей. В крохотной комнатухе, которая мнилась мне богемной обителью одинокого художника и по которой, среди измученных холстов, во множестве бродили сладкоголосые призраки моих так и не состоявшихся шедевров.

Ее душа наверняка уже давно витала где-то поблизости, и в первые же мгновения материализации, будучи еще хрупким содружеством микроскопических клеточек, она уже проявила непреклонную решительность своей природы – не колеблясь, соединила меня с моей возлюбленной официальными брачными узами.

Мы с женой, не сговариваясь, думали о сыне и потому назвали ее Александра, Саша.

Было очень забавно наблюдать, как она, натужно выпятив нижнюю губку, часами настойчиво училась выговаривать непослушную

«ш», и вместо смешного, свистящего детского «саса» у нее вышло по-взрослому серьезное – «шаша».

Так она стала Шашей, Шашулей, Шашанькой.

Я не могу вспомнить сейчас, что отличало этого ласкового, смешливого, в шелковых кудряшках, ангелочка от других детей. Скорей всего, лишь то, что это была *наша* девочка, с самыми нежными на свете пяточками, с самыми тонкими на свете пальчиками и самыми огромными на свете глазами-вишнями. А может быть, то, что упорно, иногда с милым непритворным раздражением, избегала она наплывов бьющего через край родительского умиления и приторного сюсюканья взрослых. Она не проявляла никаких особых способностей, хотя любила подолгу рассматривать картинки в книгах, никогда не соглашалась на назойливые просьбы разомлевших от застолья гостей взобраться на стул и прочесть (ну, просим, ну почему – вас что, в детском саду не учат?) какой-нибудь стишок, и только временами, когда она вдруг не по-детски внимательно смотрела прямо в глаза, казалось, что ее немигающий взгляд проникает в самые недостижимые закоулки твоего сердца.

Я не могу вспомнить сейчас, на каком повороте нашей суетливой жизни, скроенной из затасканных принципов и плоских расхожих фраз, мы вдруг обнаружили, что между нами и нашей дочерью образовалась непреодолимая пустота. Среди бесплодных потуг моего неугомонного честолюбия и бесконечных, с неизменными возлияниями, разговоров о душевном неустройстве я не заметил, как эта сладкая девчушка, плоть от плоти моей, превратилась в хрупкую девушку с независимым взглядом.

Когда мы приехали в Израиль, Шаше было тринадцать. Гормональные катаклизмы, оставшиеся в Союзе бабушка с дедушкой, родители жены, незатейливо и ненавязчиво обожавшие ее, откровенная враждебность аборигенов-одноклассников сложились, как я теперь понимаю, в жестокое испытание, преодолеть которое даже взрослому было бы не под силу. С нашими оmozоленными нервами и бескрылым, глубоко вколоченным в сознание смирением, мы были гораздо более выживаемыми в тяжелом испытании, звучно называемом «репатриация». Пути этого смирения мы, как Авраам Исаака, связали наших детей, безапелляционно присвоив себе право вершить их судьбу и принеся их в жертву собственным, пусть даже самым благонамеренным чаяниям.

– Я не просила вас рождать меня, – звучало в ответ на наши беспомощные праведные увещевания, – я не просила увозить меня от бабушки и дедушки.

Первые раскаты приближавшегося урагана прозвучали, когда мы узнали, что Шаша вот уже полгода не появляется на занятиях. Нам было не до нее; наспех пристроив ребенка в первую попавшуюся школу, мы, борясь во имя ее же светлого будущего с удушливой тоской и изнуряющей ностальгией, лихорадочно искали свою нишу в неоднозначной атмосфере исторической родины. В это время Шаша в компании таких же заброшенных сверстников-земляков бродила по Иерусалиму, возвращаясь в назначенное время домой.

Многие из нас озлобились, но ее сердце не окаменело.

– Папа, тебе нехогошо? – ласково спрашивала она в ответ на мои многословные призывы, глядя мне в глаза тем же детским,

пронизывающим все мое существо взглядом. Незаметно она сменила раскатистое русское «р» на бурлящее ивритское. – Не густо, будет беседег (в порядке).

Это было только начало; она стала исчезать из дома. Мы мчались в полицию, ее находили в разных уголках, сначала Иерусалима, потом за его пределами. В ответ на наши всхлипывания, увещевания служителей закона и социальных работников она лишь снисходительно улыбалась и через день, отославшись и поев, снова исчезала. Словно какая-то таинственная сила несла ее из рабских оков дома, как наших неугомонных праотцев, по горам и долинам библейской земли.

– Живите, как вам хочется, – устало проговорила она после одного из своих очередных насильственных возвращений, – а я не хочу жить вашей убогой жизнью. Хватит того, что вы и так уже много решили за меня.

Глядя на нее, я с ужасом и стыдом осознавал, что в моей тоненькой девочке без тени демагогических деклараций воплотилась та первозданная свобода, о которой я так многословно разглагольствовал все эти годы, втайне панически этой свободы опасаясь. Все то, на что я, прикрываясь засильем внешних обстоятельств или папиными предостережениями, никогда не мог бы решиться, нисколько не пугало ее, а наоборот, будоражило здоровый азарт и бесстрашный интерес вдумчивого исследователя. Она не боялась ни суровой полиции, ни демонических арабов, ни отсутствия вождя мнений мною документа об образовании, ни осуждения напуганных обывателей – она не боялась будущего, в которое всю жизнь мы вглядывались с неугасимой тревогой.

Когда пришло время идти в армию, Шаша заявила, что будет служить только в боевых частях.

– Я хочу *литгом ле-медина* (пожертвовать стране) – сказала она коротко.

Жена только всплеснула руками, а я побежал на призывной пункт объяснять, что у девочки слабое здоровье. Там, к моей радости, никто и не собирался отправлять нашу дочь на передовую. Конечно, сказали мне, у нас демократическая страна, у нас половое равенство, девушки тоже участвуют в боевых действиях, но у нас строгий, сказали мне, отбор по физическому состоянию и психологической устойчивости.

Мы облегченно вздохнули, но обходительная служащая военного ведомства не предполагала, с кем имеет дело. Приехав по наивности в одну из военных канцелярий, куда ее лукавыми уговорами, мол, езжай, а там видно будет, направили для службы, Шаша спокойно провозгласила, что не сдвинется с места, пока ее не определят в боевые части. Через три дня уставший от раздражения командир конторы, исчерпавший весь свой арсенал терпения и угроз, отправил ее обратно. В комендатуре выразили сдержанное изумление и, что еще более изумительно, согласились.

– Не беспокойтесь, – с улыбкой сказала мне та же добросердечная служащая, – ей нужно будет пройти изнурительный трехсуточный экзамен. Не каждый мужчина выдержит.

Наивная, она не знала мою Шашаньку. Она проползла, пробежала, проплыла все необходимые десятки километров без сна и

еды, да еще напоследок тащила на себе вконец обессиленного соратника раза в два тяжелее ее.

Чиновничий механизм израильской армии заставил бы советских бюрократов умереть от зависти. Шаше было отказано *в связи с наличием родственников за границей*.

– В армии я служить не буду, – невозмутимо сообщила она военному коменданту.

– У тебя есть два варианта, – устало произнес бравый офицер, оторвавшись от горы бумаг, – или в свою часть, или в тюрьму.

– В армии я служить не буду – так же невозмутимо повторила Шаша, пошла в тюрьму и объявила голодовку.

После десятидневного голодания, с бесполезными попытками насильственного кормления и введения внутривенно питательного раствора, непобедимая израильская армия уступила. Высокая комиссия присвоила девочке самый низкий профиль, соответствующий психической непредсказуемости, и отпустила восвояси.

В том теле, которое Шашуля непонятно как притащила из тюрьмы домой, сохранился, казалось, только выпирающий из-под кожи угловатый остов и неукротенное упрямство потускневших вишневых глаз. Месяц она не вставала с постели, мы отпаивали ее бульонами, витаминными чаями, откармливали орехами.

Через месяц она взлетела и снова унеслась, гонимая ветрами неугомонного любопытства.

Мы с женой, смирившись с судьбой, тревожно ждали ее редких звонков. Она была немногословна. Где-то на севере страны, в недоступном для автомобилей бездорожье, она со своим другом поселилась в шалаше близ безымянной фермы, на которой и работала, ухаживая за козами и получая в качестве оплаты молоко.

С благосклонного согласия мы поехали ее навестить, долго шли, оставив машину, по пыльной, круто восходящей дороге, пока не добрались до ее первобытного жилища. Она встретила нас так, будто мы только вчера расстались. На обветренном лице, полузакрытом бедуинским платком, светились незнакомые глаза, отдаленно напоминающие вишенки нашей сладкой Шашаньки, от нее пахло навозом, табаком и козьим сыром.

– Это мой Дорон – она указала пожелтевшим пальцем на развалившегося у входа в шалаш-шатер смуглоглокожего отрока, в некоем подобии одежды и в копне неопрятных, свисающих до плеч косичек. Тот лениво поднял в качестве приветствия заскорузлую ладонь. Потом встал и, не говоря ни слова, ушел куда-то. В такт удаляющимся шагам тонко позванивал маленький овечий колокольчик, привязанный к его ноге.

Разговор не складывался. Видно было, что она спокойна, а нам нет места в этих просторах, головокружительно необозримых после тесного Иерусалима.

Я думаю, что именно в это время, тяготясь, как и мы, неспособностью говорить, Шаша начала писать нам письма, два из которых – это все, что я захватил с собой. Я не смог с ними расстаться. На удивление, написано по-русски:

«Папа, мама! Общение с животными открыло мне их обидную зависимость и незащищенность от нас. Мне стало невыносимо видеть людские рты с застрявшими между зубов воплями разры-

ваемой, раздробляемой плоти (*какой стиль! милая моя девочка!*), невыносимо слышать в их желудках утробное хлюпанье ферментов, эту вакханалию превращения незащищенной живой материи в себя. Позорно продолжать строить свою жизнь за счет других, таких же неповторимых, но отданных нам во власть других жизней. Есть много неисчерпаемых источников энергии: солнце, падающие с деревьев плоды, сейчас мы с Дороном осваиваем энергетическое дыхание, это потрясающе!

Если вы дорожите мной и хотите восстановить нормальные отношения – прекратите поглощать живое, разорвите, как и я, отношения со всеми, кто это делает. Это серьезно!»

Мы по глупости приняли это за модный юношеский каприз. Но одно из следующих писем меня по-настоящему насторожило:

«Папа! Я знаю, что дядя Сёма работает сейчас в какой-то политической партии. Ты просто обязан, пользуясь его положением, донести до сознания всех членов Кнессета чрезвычайно важную вещь, которой они не понимают:

На протяжении всех лет существования нашего государства многие политические деятели безуспешно пытались разрешить т. н. арабо-израильский конфликт, и безуспешно, исключительно потому, что не смогли осознать истинную причину проблемы. Нам удалось, используя различные духовные упражнения, медитации, изучая каббалу и традиционную мистику, проникнуть в суть происходящего. Причина вовсе не в территориальных или религиозных противоречиях, причина в том, что мир *пропитан злом*. И зло заключается в том, что люди *осуществляют свою жизнь за счет жизней других живых существ, поедая животных и растения*.

Необходимо:

1. Указом правительства и Кнессета запретить гражданам Израиля употреблять мясо в пищу. За нарушение – тюремное заключение 10 лет.

2. Запретить изготовление различных продуктов, например, лекарств, в которых используются ткани животных.

3. Предложить правительству Палестинской автономии всестороннюю помощь взамен на запрещение употребления мяса в пищу.

4. Действие указа начать через полгода, но незамедлительно приступить к разъяснительной работе с населением через радио, газеты, телевидение, интернет и т. д. с обучением граждан определенным техникам дыхания и медитаций, в разработке которых мы с Дороном готовы принять самое активное участие, причем совершенно безвозмездно.

Прекращение употребления мяса в пищу значительно снизит уровень зла в нашем регионе, и мы будем свидетелями рождения нового Ближнего Востока, о котором мы все так заботимся».

Это уже было невыносимо. Моя хрупкая Шашуля, моя девочка, была готова вступить в борьбу с целой государственной машиной, отстаивая свои, не помещавшиеся в моей голове принципы. Мне стало откровенно страшно, единственная надежда теплилась в моей душе, что только время постепенно охладит ее раскаленные неукротимые помыслы.

14

Не потеряться во времени позволяет лишь смена темноты и света, а пространство напоминает о себе далекими сигналами автомобилей, шелестящими среди травы козами, пролетающей птицей.

Окружающее постепенно теряет свою осязаемость.

Где-то там, внизу, лежит таинственный город, гудящий уплотненными слоями мудрости и страдания, веры и разочарования, величественный перекресток мировых дорог и страстей.

Мысли проплывают, цепляясь друг за друга, словно вагончики бесконечного поезда, и только редкие схваченные памятью картины, мелькающие, как лица в пролетающих окнах, ненадолго занимают сознание, отзываясь во мне потоком произнесенных во время слов.

15

Нужных слов вовремя не нашлось, зато бесцельных, бестелесных рассыпано было без счета. Рожденные в сумерках депрессий, в тоске, растерянности или в разливах телячьей эйфории, слова бродили среди новых обитателей Святой Земли, натываясь, как слепые котята, на жестоковыйную израильскую действительность. Слова меняли обличье, обретали милый акцент в нежных устах детей, одевались в незнакомые интонации и теснились, уступая место своим отшлифованным ивритским аналогам.

Слова языка Достоевского и Гоголя – то немного, чем мы так самодовольно гордились, – дичали и терялись среди непривычных гортанных, горловых и шипящих звуков древнего иврита.

16

Для тонкого, легкоранимого поэтического дарования Сёмы беспомощная неприкаянность слов была совершенно невыносима.

– Не повезло однажды иудею, влюбился дурень в русскую идею, – протяжно цитировал он любимого поэта во время наших заметно поредевших «профессиональных» застолий. – Кому здесь нужен роман об Исходе, да еще написанный русским поэтом? Кому здесь вообще нужна большая поэзия? Все головы здесь набиты политической болтовней, шекелями и хумусом.

– А как же возвращение к истокам? – робко возражал я, силясь раскопать, растормошить в себе остатки былых творческих порывов. – Как же новое переосмысление закоренелых древних истин?

– Оставь надежду всяк, сюда входящий, – на вдохновенном цитатами Сёмином лице неподвижный знойный вечер проступал бусинками липкой влаги. Мой взгляд невольно зацепился за каплю, неторопливо сползавшую по его носу. Задержавшись на кончике, она задумчиво упала в прозрачность рюмки, ожидавшей возле рта исхода сакраментальной мысли: – Монополия на этой территории, голуба моя, навеки принадлежит нашим пейсанутым братьям.

Под напором непреклонных религиозно-лингвистических реалий поэтические амбиции Сёмы бесславно отступили на привычные позиции далекого будущего. Зато его коммерческий талант

довольно быстро оправился от ошеломляющей встречи с исторической родиной и запульсировал в полную силу.

На первый взгляд казалось, что среди народа, издревле пленявшего просвещенный мир анекдотами о своей легендарной предприимчивости, невозможно отыскать крохотную, пусть не нишу, хотя бы щель, в которую можно было бы влезть и взлелеять нежный росток собственного бизнеса. Тем более с практически нулевыми финансовыми возможностями. Но семена истинной одаренности, посеянной Творцом, прорастают, как неоднократно провозглашал Сёма, в самых неблагоприятных условиях, прорываясь на свет, как трава сквозь асфальт.

Первой робкой пробой пера для моего друга стала торговля курами. В каком-то обанкротившемся в прах и пух кибуце Сёма с напарником, обладавшим изрядно потрепанным авто, скупали за бесценок некондиционную птицу. От своих респектабельных супермаркетовских сородичей она отличалась вызывающей жалость поголовной инвалидностью – неполным набором конечностей. Вечерами у входа в районный матнас партнеры продавали многострадальных птичек благодарным соотечественникам, измученным поисками дешевизны и радовавшимся, как дети, каждому сэкономленному шекелю. В былые времена эти куры, жестоко травмированные судьбой, бесславно предавались земле.

– Я возвращаю им жизнь, я предоставляю им шанс послужить таки на благо человечества, – всякое свое действие Сёма по привычке окружал туманным поэтическим ореолом, поэтому было непонятно, кого он имеет в виду: спасенных от захоронения птиц или их благодетельствованных потребителей.

Дело, постепенно набиравшее обороты, потерпело крах по неожиданной, до смешного обидной причине идеологического характера. Кроважидное «справедливое палестинское сопротивление» проявляло все большую активность. Здесь и там громыхали взрывы. Газеты, радио, телевидение, переполненные леденящими подробностями и цифрами, дружно и неумолимо нагнетали в головы и сердца волны кромешного страха. Среди Сёминых клиентов разнесся слух о том (это было, конечно же, делом рук завистников-конкурентов, а как же?), что эти обесчлененные птицы – на самом деле жертвы террористических актов на сельскохозяйственных объектах и что торговля ими, так же как и употребление в пищу, является формой циничного вандализма и некрофилии, несовместимыми с понятиями о гуманизме, патриотизме и сострадании. Даже при самой болезненной страсти к экономике. Казавшееся незабываемым сообщество покупателей рассыпалось на глазах, оставив после себя лишь двоих-троих, безразличных ко всему на свете, кроме шекелей. Общение с ними было не только нерентабельно, но и оскорбительно.

– Помяни мое слово, политические интриги погубят эту страну, – торжественно произнес Сёма на нашем очередном «профессиональном» заседании, – так же, как они погубили мое жизнеутверждающее дело.

Убедившись в беспросветном коварстве израильской деловой атмосферы, он смело ринулся осваивать международную арену.

Международная арена, в лице оставленной на произвол коммунистов постсоветской земли, нуждалась, по мнению Сёмы, в

активном духовном приобщении к земле Святой. Продажа иерусалимского воздуха в бутылках из-под кока-колы провалилась на корню, несмотря на яркие многословные наклейки с цитатами из Нового завета.

Несколько больших затрат потребовало изготовление сусальных открыток, сопровождаемых мешочком земли, «орошенной кровью Спасителя», которую Сёма, ничтоже сумняшеся, набирал неподалеку от своего дома, собственноручно благословлял, запаковывал в ящики и отправлял кому-то из ревнителю пробуждающих в России вековых христианских чаяний.

Земля шла получше. Сёма мысль не останавливалась на достигнутом, на арене появились иссушенные жаром Христова прикосновения листья деревьев Гефсиманского сада.

Когда же количество переправленной в Россию земли превысило несколько хороших самосвалов, а Гефсиманский сад, по расчетам тех же вездливых ревнителю, уже втроекратно остался без листвы, благое дело начало буксовать. Вездесущие конкуренты и здесь неустанно преследовали передовую творческую мысль и наладились поставлять святую землю китайского производства, умело окрашенную в библейские цвета. Главное, гораздо дешевле и более впечатляющими порциями.

Убогая религиозная неосведомленность «непросвещенных говев», не способных отличить истинные священные аксессуары от грубых подделок, не охладила Сёминого предпринимательского пыла. Настоящее дарование не боится трудностей, а наоборот, крепнет среди них. Бывшая родина активно и талантливо растаскивалась и продавалась оставшимися в ней неевреями, которые за годы совместного с евреями сосуществования научились у них исключительно тому, в чем неутомимо их же обвиняли. Видимо, мы продали далеко не все.

Сёма занялся чистой коммерцией. Он купил факс и по каким-то неизвестным мне каналам заявил себя в качестве посредника.

– Послушай, у меня тут есть пароход с сахаром из Украины, – Сёма почему-то решил, что основным его агентом по продаже буду я, – тебе не нужен? Поспрашивай у своих знакомых, ты же общаешься с израильтянами.

– Среди моих знакомых, – я старался быть максимально корректным, понимая, как непросто налаживать бизнес среди матерых капиталистических акул, – нет таких, которые потребляют сахар пароходами.

– Есть баржа с досками и гвоздями. Возьмешь? – надрывно кричал он в трубку несколько дней спустя. – По дешевке! Бери, не пожалеешь!

Я ощущал свою вину за то, что ума не приложу, как воспользоваться этим счастливым случаем.

Некоторое время спустя, разуверившись в моих менеджерских способностях, Сёма свернул бизнес, а его факс еще долго продолжал выплевывать длинные перечни предложений: от оружия и удобрений до грузовиков, редкоземельных металлов и ядерного топлива.

Он пришел ко мне на одну из последних наших дружеских посиделок. Выглядел несколько усталым и мудро-меланхоличным.

– Все уже украдено до нас, – процитировал он, как в былые творческие вечера, – наконец, я понял, чем нужно заниматься.

– Чем же? – рюмка в моей руке застыла в трепетном ожидании, так и не оторвавшись от стола. – Неужели поэзией?

– Самый рентабельный бизнес, – Сёма ласково смотрел на меня, сочувствуя моей наивности, – самый доходный бизнес – это организовать партию. Политическую партию.

Я молчал, пораженный размахом. Он тоже молчал, но было видно, что, стартовав с этой грандиозной идеи, его мысль устремилась, как это бывало и раньше, в еще более заоблачные высоты.

– А еще лучше, – наконец задумчиво проговорил он, – организовать новую религию. Или более того, организовать государство, основанное на вековых иллюзиях угнетенных мечтателей, разбросанных по всему свету. В нем будет одна моя религия и одна моя партия. А все остальные будут законопослушными налогоплательщиками, членами одной партии, исповедующими одну веру.

Я задохнулся от восхищения, а Сёма принялся рассказывать, что уже приступил к воплощению в жизнь своих неординарных воззрений, став членом новой, набирающей силы и влияние партии, организованной выходцами из бывшего Союза. Конечно, все ключевые посты там уже расхватили, а ему досталась скромная должность ответственного за связи с избирателями, но терпение, терпение, и недалек тот час, когда в его цепких поэтических руках окажутся нити настоящего влияния, и тогда посмотрим, кто почем...

Сёма исчез надолго. Видимо, политическое предпринимательство отнимало много времени и сил. А может быть, вращаясь среди вершителей судеб государства, Сёма не находил уместным снисходить до общения с рядовым беспартийным, сомнительной веры налогоплательщиком. Пусть даже бывшим другом. Я относился к этому с пониманием, да и сам, пребывая в потоке повседневной суеты, не замечал, как пролетали недели и месяцы. Мы постепенно обживали страну и язык, язык и страна потихоньку привыкали к нам.

Последняя наша встреча была грустной. Сёма принес отполированное телекамерами лицо общественного деятеля, блуждающий взгляд беспокойных глаз и бутылку хорошего виски.

– Я уезжаю в Америку, – устало произнес он после первой, голосом, натренированным на митингах и партийных собраниях. – Эти политические функционеры хуже защитников прав курей-инвалидов.

Злопыхатели и конкуренты и здесь не оставляли моего друга в покое. Я сочувственно наполнил его рюмку. Запах интриг в высших эшелонах власти беззастенчиво заполнил нашу скромную квартиру. Громкие имена, знакомые мне из новостей, расхаживали по дому, заглядывали в углы, раздвигали стены. Я уловил только то, что в партии, где каждый норовит подсидеть и подставить, светлему Сёминому дарованию невыносимо душно. Если не сказать противно.

– Мне нужна страна равных возможностей, – в подогретом питье голосе вновь звучали доверительные дружеские нотки, – а там посмотрим, кто почем.

Мы – я и виски во мне – прослезилась.

– Не горюй, у каждого свой путь, – сказал Сёма и уехал в Америку.

– Кто выбрал для тебя твой путь, девочка моя? – я сидел возле Шашули, спящей в паутине проводов и трубочек, по которым в нее каплями вливалась жизнь. Мониторы вокруг, переговариваясь на марсианском языке мигающими огоньками и занудливым попискиванием, безучастно смотрели на нее, словно присяжные, обсуждающие вердикт. – Чей голос прозвучал в тебе? Кто связал тебя, как невинного Исаака, суровыми неземными обязательствами, на алтарь которых ты готова была принести свою теплую живую плоть?

После того памятного разговора промозглая тревога окончательно поселилась в нашем доме, по-хозяйски распорядилась мыслями, беззастенчиво обживала сны, обесцвечивала редкие праздники.

Жена ходила по гадалкам, в нашем доме появились книги по эзотерике и каббале; отрывая от них покрасневшие глаза, она смотрела на меня отрешенным, невидящим взглядом.

Разговор, а скорей монолог, разразился в один из наших тревожных серых вечеров. Шаша появилась неожиданно, ненадолго, о чем заявила с порога, предупреждая всплеск нашей неуместной радости. Холодно позволила себя обнять, собрала что-то из одежды и не проговорила, не бросила, а швырнула в нас заранее заготовленной речью.

Мы приняли ее в безропотном оцепенении.

– Человек ежедневно поедает живое, пользуясь своей силой и хитростью.

Вы строите свой организм за счет других, таких же живых существ, пользуясь их беспомощностью. Всё на свете хочет жить, а вы, со своим неумным обжорством, превращаете эту бессловесную материю в себя. Сейчас вы скажете, что так устроен мир (именно это я и собирался сказать). Глупости! Мы не бездумные хищники, чтобы поедать ни в чем неповинных. И это касается не только мяса. Плод падает на землю, чтобы прорасти новым деревом, молоко предназначено для теленка, козленка, ягненка, а вы его безжалостно отнимаете для улады ваших желудков!

– Что делать, так действительно устроен мир, Шашуля.

– Это вы так устроили ваш мир! Это вы таким придумали вашего Бога!

– Нашего? А что, есть другой?

– Мой Бог создал жизнь для радости, а не для вашей жратвы. Он создал воду, солнечный свет, океан энергии, и мы в нем находимся. Но вместо того чтобы медитировать, вдыхать чистую прану и тем самым подпитывать тело, вам проще проглотить то, что вам не принадлежит, то, что является такой же живой плотью, имеющей на жизнь такое же право, как и вы.

Ее слова рубили воздух на угловатые холодные куски, наши беспомощные слова разлетались по комнате, как мыльные пузыри. Глаза нашей дочери, нашей Шашани, сверкали непритворной враждебностью.

Безвольный Дорон, не готовый перейти на питание водой и чистой космической энергией, заклеянный как ничтожный соглашатель, сопливый чревоугодник, был с позором изгнан из ее

жизни вместе с колокольчиком на ноге. Она же поселится в лесу и проведет остаток жизни в медитации.

Все это казалось мучительно затянувшейся игрой. Мысли лихорадочно метались в поиске нужных слов, а они, как всегда, не приходили.

Мы, конечно, слышали о чудесных фокусах индийских йогов, об известном московском экстрасенсе Иванове, съедавшем, по слухам, несколько сухофруктов в неделю, о великом Бар-Йохае, прожившем в пещере двенадцать лет без еды и питья. Но йоги были в журналах с картинками, Иванов, в результате, все-таки скончался, а о легендарном еврейском мудреце повествовали заумные каббалистические трактаты. А тут наша девочка, наша маленькая Шашуля!

– Александра, нормальный человек не может так жить, – с трудом выдавила жена. Так она называла нашу дочь, только заполняя анкеты. – Без еды нормальный человек может иногда даже умереть!

– Смерти я не боюсь. *Она меня не остановит*, – это было похоже на пылкие лозунги оголтелых комсомольцев, только не смешно. Холодная волна ударила под дых. – Зато буду знать, что никому в мире не причиняю вреда, не творю зла и не живу ни за чей счет.

Она ушла, и тягучее удушье печали повисло под потолком.

18

Печаль аурой сопровождала меня повсюду. Она пришла вслед за мной и заполнила мое первобытное пристанище. В его мутном облаке мне видятся, как тогда, в отделении реанимации, безучастные моргающие глаза мониторов, тонкоголосые электронные междометия прорываются сквозь шелест дождя.

Тебе казалось, девочка моя, что ты придумала нового Бога, милостивого и сострадающего слабым, а он оказался тем же суровым и непостижимым Богом наших праотцев, неумолимым в воплощении своих, только Ему одному доступных замыслов.

Среди пестрой толпы разноликих богов и божков Он явился Моисею и связал его непосильным для кого-либо другого обязательством – открыть и принести человечеству Его Имя. Ни крохи покоя или благостного умиротворения нет в Моисеевом откровении, «встань и иди» – ключевой посыл каждого поворотного этапа драматической истории содружества-противостояния Творца и Его творения.

И непрременная «акеда» – связывание неразрывными путями непостижимой Божественной логики. Он связал Адама телесностью, смертностью, жесткими оковами Пространства и Времени, Каина – бессмертием, Авраама и его семья – избранностью, самого Моисея и всех идущих за ним пророков – предназначением. Так он связывает каждого из нас, простых смертных, необъяснимыми устремлениями, парадоксальными подчас убеждениями, пристрастиями, словно направляя невидимой силой по заранее предначертанному пути, неизменно требующему жертвы. Не примитивной кровавой жертвы, услаждавшей капризное тщеславие театральных идолов, а жертвы изысканной, утонченной – возложения на алтарь единственной согревающей душу человека иллюзии – свободы выбора.

Мне не под силу понять Авраама. Можно попытаться лишь представить, что творилось в его душе все те три дня пути к священной горе. Невыносимо даже допустить, что он был уверен, как утверждают некоторые толкователи, в том, что Господь не заберет жизнь Исаака. Ведь тогда вся эта драма обращается в пустой фарс.

Мне не под силу понять мифологического Авраама, но, мне кажется, я могу понять поэта Моисея, запечатлевшего свое представление о непостижимости Всевышнего. Всевышнего, принесшего свое творение, созданное по Образу и Подобию, в жертву своим замыслам. Всевышнего, избравшего и возложившего «сына Своего, первенца Своего – народ Израиля» на окровавленный тысячелетиями жертвенник единобожия. Всевышнего, связавшего Адама и все его потомство, от незаметных обывателей до величайших пророков, неразрывными узами обязательств и заблуждений, взыскующих неизменного жертвоприношения.

Родная моя девочка! Как безропотный Исаак, взошла ты на алтарь своих иллюзий, и какое счастье, что, как руку Авраама, Всемилостивый Господь остановил занесенную над тобой десницу на самом краю безвозвратной пропасти.

19

По самому краю пропасти отчаяния ползли растянутые, как при замедленной съемке, дни и разодранные бессонницей ночи. Холодные зимние дожди бесцеремонно стучали в окна и злобно шептали только о ней, о нашей Шашуньке. Голоса дождей отзывались в сердце леденящим страхом, и не было спасения от этого пронзительного шепота ни в работе, ни в придуманной суете, ни в алкоголе.

Один из этих дождей на исходе субботы привел в наш дом двух продрогших полицейских. Несколько бесконечных мгновений они сидели молча, дождь самодовольно стекал с их одежд на пол.

Некий человек из ортодоксов, искавший, по-видимому, уединения на далеком заброшенном пустыре, обнаружил в зарослях крохотную палатку, а в ней – Шашу без признаков жизни. Он вызвал полицию, «скорая» примчалась в считанные минуты, девочка была без сознания, но жива. Сейчас в больнице.

– В первый раз вижу такое, – полицейский был неподдельно смущен, – никакого следа наркотиков, а я повидал наркоманов... Только груда бутылок с минеральной водой... И она лежит... Рядом документы... Только очень уж худая... Переохлаждение, наверно...

– Вам сейчас нужно в полицию прибыть, – второй был старше и строже, – а девочка ваша в больнице, не волнуйтесь, за ней присмотрят.

Дальше все было как в вязком, непроходимом сне. Подозрительный сверлящий взгляд дежурного следователя, несуразные наши объяснения не своими, звучащими откуда-то издалека голосами, банальные, но, видимо, необходимые вопросы: «Не было ли психических отклонений?», «Вы конфликтовали?», «Где работаете?», «Когда видели ее последний раз?», подписи в расплывающихся протоколах, предупреждения.

Наконец, мы возле нее. Боже, как она исхудала! Под одеялом едва угадывалось тело; бледное, незнакомое скуластое лицо, на-

половину укрытое дыхательной маской, отделялось от подушки лишь линией коротких сбившихся волос. Сплетение проводов и трубок опутывало истонченные руки и угловатые ладони. Вокруг сосредоточенно попискивали, мигали приборы.

– Крайнее истощение, – мягко пропела незаметно подошедшая пухлая, как матрешка, медсестра. – Инфузию даем, витамины. Все будет хорошо.

Оцепенение стерло мысли и укутало сердце непроницаемым покрывалом.

20

Когда из-под покрывала угрюмых зимних туч стало все чаще пробиваться солнце, а просохшие лужайки заалели первыми маками, Шашаня вернулась домой. Молча лежала в постели, глядя в потолок, отвечала односложно, ела понемногу, безучастно. Опять были бульоны, соки, витаминные чаи, потом каши, отварное мясо.

Мы были счастливы. Как в тот далекий беспечный день, когда в дополнение к иссякающему грудному молоку она впервые попробовала «взрослую» пищу.

Молодость брала свое, Шаша постепенно возвращалась в свое тело. На столике у ее кровати появились книги, по ночам слышалось приглушенное лепетанье телевизора. Мы, не сговариваясь, старались быть незаметными, говорили полупшепотом, дышали полудыханием, напряженно прислушивались к шороху ее движений и в бессонной постели скрупулезно обсуждали каждую наимельчайшую деталь ее поведения. На исходе весны, вечерами, когда раскаленный за день город облегченно переводил дыхание, она начала понемногу выходить из дому. Уходила и возвращалась, не говоря ни слова, в ее ненарочитом молчании, в ее спокойном взгляде мерцала незнакомая усталая мудрость.

Я ловил себя на том, что не решаюсь смотреть в ее глаза, то ли стесняясь своей неопытности перед ее пугающе недостижимой взрослостью, то ли боясь увидеть запечатленный в их глубине еще не растаявший лик смерти.

– Мне нужны деньги, – сказала она, когда лето окончательно иссушило травы и покрыло желтовато-серым тюлем деревья, – я хочу уехать.

Это была, в сущности, первая фраза, произнесенная ею за последние полгода, мы, как обычно, оторопели. Как обычно, нужные слова куда-то запропастились.

Она намеревалась направиться в Амстердам, где вскоре должен был состояться какой-то фестиваль, она будет там работать, уже договорилась, а потом посмотрим, земля большая.

– Но здесь же твой дом! – ничего умнее мне в голову не пришло, – твоя страна, язык.

– Не я выбирала эту страну, – ни одна нота в ее спокойном голосе не была окрашена раздражением, – вы выбрали ее за меня.

Мы безропотно помогали ей собирать вещи, она была непривычно обстоятельна, позволила отвезти себя в аэропорт, попрощалась с нами ласково, как с детьми, которых отправляют на лето в пионерский лагерь. Позвонила из Амстердама: я на месте, все в порядке.

Мы вернулись в опустевший дом, где ждала нас привычная, как иерусалимский зной, печаль и где пыльное кружево повседневной тоски разрывали редкие телефонные звонки нашей Шашули.

Она бродила по свету. Я искренне завидовал ее бесстрашию и спокойной уверенности, на которые у меня самого никогда не хватало решимости и которые жили в ней так же органично и неподдельно, как и в Учителе.

21

Хотя я подсознательно был готов к этому, моя встреча с Учителем оказалась неожиданной. Первые несколько минут я не мог оторвать взгляда от небольшой темной пуговички, выступающей у него, как у Будды, в середине лба чуть повыше бровей. Он, видимо, привык к подобной реакции на его божественный знак и сделал вид, что не замечает моей бестактности. Я был действительно поражен: приятное, несколько насмешливое лицо, окладистая апостольская борода, красиво посаженный лысый череп, но это пятно... Оно просто намертво захватило мои глаза.

Он протянул мне руку: «Марк. Говори мне ты». Рука сухая, теплая, с длинными сильными пальцами и дымчатыми миндалевидными ногтями. Руки для меня – истинное лицо человека, они во многом определяют мое к нему отношение. Как неповторимый генетический код, как правдивая изнанка человеческой сути, форма рук, их динамика и пассивность, их нервозность и обстоятельность, покорность или властность подсознательно формируют во мне стойкое ощущение их обладателя. Его руками я был очарован.

Он был сдержан и немногословен, будто ждал меня и несколько не удивлен, что таким, на самом деле, неизмеримо запутанным путем я пришел к нему.

Я услышал внутри себя: Учитель.

Никаких сантиментов не было в его скупых вопросах и моих неуверенных ответах, потом он протянул мне книгу. Это была его «Йога»:

– Вот, почитай, здесь много из передуманного мной. А потом мы всласть поговорим.

Эту фразу «всласть поговорим», я вспоминал на протяжении шести лет моего ученичества, вспоминаю и сейчас, когда его нет уже в этом мире. Мы часто встречались и на занятиях, и в работе, и за столом, но мне всегда не хватало его слов, никогда не было этого «всласть», то есть достаточно. Его неизменным принципом было «лучше не договорить, чем сказать лишнее». Теперешние наши отношения еще более немногословны, он приходит, видимо, только тогда, когда считает нужным, а этого, к сожалению, ужасно мало. А может быть, я не всегда слышу его.

Через полчаса нашего первого разговора я уже не только чувствовал себя учеником Марка, но и не мог вспомнить состояния, когда им не был. В завершение он задумчиво посмотрел в окно, а дело происходило на шестнадцатом этаже высотного здания в центре Иерусалима, и со спокойствием, которому позавидовал бы Понтий Пилат, произнес: «Я мог бы при желании превратить этот город в руины».

– Зачем? – вырвалось у меня. В эту минуту я несколько не сомневался, что он на это способен.

Впоследствии я вспоминал этот эпизод, когда сталкивался с тем, что действительно поражало в нем больше всего – многоликость. словно срабатывал какой-то внутренний переключатель, являвший миру каждый раз другое лицо.

Прежде всего, Марк был человеком своего поколения. Он прошел войну, голод, тяготы советской жизни, преследования КГБ. Он был в гетто, его расстреливали, он чудом выжил, выбрался из братской могилы, потом партизанский отряд и т. д., и т. д. Говорил об этом мало, но всегда при этом старел, грустнел, считал 9 мая своим вторым днем рождения и запевал печальные польские песни, которые слышал, воюя бок о бок с поляками. Он же, этот первый Марк, от души веселился, когда был малейший повод для веселья, был тонким ценителем вин и яств, сам прекрасный кулинар, как-то старомодно оказывал знаки внимания женщинам и, главное, что всегда вызывало во мне зависть, относился к жизни с удивительным, добрым любопытством.

Был Марк-ребенок. Любил оружие, зажигалки, разные красивые штучки, новейшие прибабасы к компьютеру, а особенно любил удивлять.

– Мое предназначение, – говорил он, – пробуждать в людях ощущение необычного.

Ему нравилось шутливо демонстрировать свои способности, а они были необычайны, и радоваться восхищению зрителей. Стрелка компаса в его руках вращалась, как сумасшедшая, долго вглядываясь в одну точку, он мог зажечь в ней огонь, читал письма в закрытых конвертах, отключал мыслью электроприборы и т. д., при этом по-детски радовался, сам как бы удивляясь происходящему.

Был Марк-учитель. Иногда вдумчиво-серьезный, иногда насмешливо-скептический, но всегда точно и остро схватывающий самое существо темы и мгновенно вникающий в суть моих многочисленных, часто довольно глупых вопросов. Он терпеть не мог ни мистики, ни глубокомысленных разглагольствований. Как-то на уроке я многозначительно спросил:

– Ко мне пришел пациент, и у него поле квадратной формы. Что это значит?

– Надо было проверить, может, у него и яйца квадратные. Тогда все нормально.

Одна из его учениц:

– Вчера ночью в моей комнате появились какие-то светящиеся сущности. Что это? Что нужно было делать?

– Надо было взять полотенце, открыть окно и гнать их, гнать!

И был человек Космоса. Этот Марк был величествен и недосягаем. Патриархальная значительность, необъяснимое призрачное сияние; его и без того темные глаза превращались в две пропасти, из которых зияла бесконечность. Редко кому удавалось быть свидетелем этого его состояния, но каким-то образом окружающим его людям, ученикам, пациентам, просто знакомым, с которыми он сходилась легко и непринужденно, передавалось ощущение необычности, грандиозности этого человека.

Пациентов было не счесть, хотя работа с годами утомляла его все больше. В Вильнюсе, откуда он приехал, в его квартиру на четвертом этаже день и ночь толпилась очередь больных. В Из-

раиле, начав в шестьдесят два года практически с нуля, на незнакомом еще языке, он через год вновь работал с полной нагрузкой.

Когда он появился в моей жизни, ему было около семидесяти, а мне чуть за сорок, но я всегда удивлялся тому, насколько он моложе меня. Он перевернул мою жизнь в тот момент, когда мне казалось, что я уже многое в ней понимаю. Я чему-то учился, что-то уже прочел, даже пробовал практиковать, но первая мысль, которая обнаружилась в моей голове в момент нашего знакомства, была: «Вот Учитель. Все нужно начинать сначала. Но я уже не один, есть тот, кто поможет мне не заблудиться в лабиринте реальности».

22

«Наконец свободен». Он говорил, что хотел бы написать эти слова на своей могильной плите вместо эпитафии. Не будь он моим Учителем, я воспринял бы это как неуместную смешную браваду.

Его жена, неожиданно для всех, так и поступила, видимо, за пятьдесят лет совместной жизни она поняла его лучше других. Стоя у могилы, я поймал себя на том, что мои глаза лишь бегло касаются надписи «Марк Абрамович» и магически притягиваются этими двумя словами – «наконец свободен». А я не знал в своей жизни человека более свободного, чем он.

Свободен? От чего? От ежедневной изнуряющей работы? От мыслей о судьбах Израиля, от раздражения бездарностью правительства, от предвидения будущих катастроф? Лишь в последний год на его лице проступила невыразимая усталость, он говорил о завершении своего предназначения, об исчерпанности потенциала, но все это воспринималось как нечто временное, ненавсегдашнее. Я, как ребенок, не мог представить себе невечности его присутствия в моей жизни, в чем, собственно, оказался прав.

Учитель приходит ко мне все реже, но я хорошо помню его слова, когда он появился в первый после ухода день своего рождения:

– Мой день рождения! Это просто день, когда мое тело, вернее, то, что от него осталось, пришло в этот мир. Он ничего для меня не значит. Просто вам кажется, что это важный день. Этого нет. Я был всегда и буду всегда. Есть, конечно, воспоминания и прочее, но оставь! Я здесь, я никуда не уходил. Зажигайте свечи, это ваши игры с памятью, а я никакого к этому отношения не имею.

– Я осознал иллюзорность привязанности. Мои близкие, не понимавшие меня, мои друзья, отвернувшиеся от моих идей, пациенты, не слышавшие моих слов, растворились где-то в прошлом. Я хочу существовать, не мешая никому. Не это ли, Учитель, путь к свободе?

– Ты не можешь быть свободен, пока связан с телом, этим футляром твоей души.

– Но разве путь к свободе не определяется индивидуальностью каждого?

– Своеобразие каждого человека стирается после ухода отсюда. А там, то есть здесь, индивидуальность органично вливается в общую систему Души.

Как хотелось в тот момент, чтобы он действительно, осязаемо был здесь. Чтобы мы, как бывало в дни его рождения, сидели за

обильным столом, болтали о разной ерунде, думая о времени лишь в смысле его бесконечности. О том, что впереди его, этого времени, еще очень, очень много. Так много, как было в начале.

24

Недосказанность, всегда мучившая меня, сегодня позволяет не расплескать ни капли из драгоценной чаши ощущений. Дар великих – способность органично переплавлять чувства в слова, концентрированная метафоричность поэзии – никогда не были мне доступны. Мои громоздкие попытки что-либо сформулировать всегда нуждались в огромном количестве придаточных предложений.

Недосказанность заставляла вновь и вновь возвращаться к одному и тому же: вот слово, и еще слово, и алгебра, наконец, постигнет гармонию, каждая клеточка бытия будет понята, объяснена и уложена на полку. Я ждал от Учителя некой тайной формулы Мироздания, овладев которой, постигнешь истинное знание. Смешно вспоминать, как первое время меня ужасно удручало то, что он скрывает ее. А он и не скрывал ничего.

Безысходность метода Сальери открылась мне ранним утром, в заброшенной оливковой рощице, окружающей развалины оставленных арабских домов, куда я направился медитировать. Лето уже иссушило траву, на скупом раскрашенных колючках чертополоха искрились капли росы.

«Если вслушаться, тишина притворяется тишиною. Тишина в тишине слышна...»

Слова поэта прошлестели во мне шинным шепотом, я глубоко вдохнул, посмотрел на солнце, поднимавшееся из легкой дымки горизонта, и вдруг почувствовал – *я понял*.

Когда вернулся в себя, солнце уже припекало.

Что-то изменилось вокруг. Вернее, приобрело какой-то другой невыразимый оттенок. Я будто вновь открывал для себя знакомые мне оливы, кусты чертополоха, и жухлую траву, и шум автомобилей на улице. Они были мне необъяснимо *понятны*, словно между нами возникла некая солидарность, незримый заговор, в котором каждый знает – мы одной крови.

С этой минуты слова потеряли всякий смысл.

Шашаня носилась по свету, жена бродила в лабиринтах заумных мистических учений, тело Учителя уже покоилось на иерусалимском кладбище, а мне пришло время обретать свободу.

И я ушел.

Я ушел сюда, к этой озябшей смоковнице. С началом зимних дождей листья ее опадают, и, глядя на разметавшиеся во сне оголенные ребра ветвей, трудно представить, что с приходом весны она очнется, оденется вновь и отяжелеет сладкими вожделенными плодами, хранящими в сердцевине солоновато-горький привкус Познания.

А вот мое тело, укрытое одеялом. Знакомое, виденное когда-то в зеркале, немного похудевшее лицо. На губах так и осталась забытая мной улыбка.

Пусть остается.

февраль 2010 – апрель 2011, Иерусалим

УЛИЦА КАРМЕЛЬ

Полина Витман

НО ЗДЕСЬ

* * *

солнце здесь не садится а закатывается за горизонт наглядно
говорить у моря получается во весь голос даже если волна не катит
и вообще получается говорить словами просто и складно
даже если молчать и знать, что слов всё равно не хватит

даже если просто курить запивать сигарету пивом
из бутылки прямо без всяких там церемоний
и смотреть туда где обнимутся небо с морем
и не видеть и знать что это будет красиво

* * *

Ненарочно хочется всех обнять
или просто гладить по голове
поезд два этажа а ни сесть ни встать
кто к плечу плечом кто нога к ноге

слева мальчик спит точнее солдат
и напротив двое таких других
и у всех оружие автомат
и большие сумки я знаю в них

много грязных носок или там носков
полотенце свёрнутое жгутом
щетка паста мыло пара трусов
и газет вчерашних короче дом

вот младенцу не стоит сидячих мест
он лежит в коляске пьёт молоко
и глядит не мигает на далеко
молодые мамы поправят *ест*

всё банально до степени пи квадрат
как сказать *народ земля и страна*
просто еду буквально лицом назад
просто я домой к себе и одна.

ЯД ВА-ШЕМ

я была такая белоручка у мамы одна
говорит старая женщина колесом спина
мне же было шестнадцать неполных лет
я убежала из гетто
она ищет где написано *Минск* дрожа
у неё похожее на ежа
на безымянном пальце руки кольцо
и ещё лицо
я веду её под руку там где свет
мне кольцо между рёбер оставит след
мне особенно нечего ей сказать
я смотрю её страху во все глаза
два погрома меня расстреливали во второй
я была совсем никакой герой
было страшно выкапываться из мертвецов
а куда деваться в конце концов
но всего страшнее
это думать о доме и чтоб не увидели среди дня
и что нету на свете кроме меня
никакого еврея

* * *

не плохо а очевидно запомнится это лето
эпоха когда не стыдно за голых полуодетых
телесных людей короче без всяких своих прикрас
которых обычно хочешь чтоб не было напоказ
как первые эти тоже вне разницы половой
защитного только кожа да небо над головой

РАМЛЕ-ЛОД

рабочие в майках фигурно укладывают тротуары
ветер пахнет дурно жареным и уриной
музыка сбивает с ног случайной машиной
продавцы отчаялись предлагать никакого товара
на газоне трава проросла стаканом бумажным
у прохожих лица в которые не смотрят встречно
эта улица скажет конечно своё о каждом
это место похоже которое помнят вечно

* * *

пять часов моталась туда сюда
шесть часов трепалась о том и о сём
и дождем белесым текла вода
а потом смеркалось и в общем всё
ничего такого вот только да
это утром было как не с мной
птица синяя села на провода
и сидела долго ко мне спиной

ИЛАНА РАМОН И КАРНИТ ГОЛЬДВАССЕР

вот вдова и вдова напротив особенного ничего
та что слева отметила год еле-еле
та что справа красивая хоть и в теле
говорит он был любовь моей жизни а я его
а когда ты опять стала улыбаться с утра
спрашивает молодая словно она сестра
этот был полковник а тот сержант
у которой дети умеет себя держать
в руках крутит кольцо на пальце как не всерьёз
отвечает не помню и глаза в глаза пустые от слёз

* * *

про Восток дело тонкое кто бы ещё поспорил
и цветёт и пахнет и всего чего только нету
вот река трижды впадает в два живых и Мёртвое море
но оно не труп а объект туризма зимой и летом
много народов живёт и разных иных религий
конфессия слово красивое но его зарифмуй поди-ка
а в такси навзрыд хрипят о каких-то лигах
и младенец знает любой как вымазывать хумус питой
тут мужчины братья и те кто знаком едва ли
все умеют стрелять и семья на центральном месте
летом предпочитают на босу ногу сандали
курят больше чем пьют минеральную воду если
ну зачем писала старалась про то что всем очевидно
просто мир такой и он не совсем Европа
тесновато конечно да зато не обидно
жить кому досталось после потопа

МААЛЕ А-ХАМИША

армейское кладбище ели фамилии имена
видно до смерти хотели чтобы была страна
за родину жизнь вообще неловко произнести
если тебе не от пятнадцати до двадцати пяти
тут всех прописали строго в сорок восьмом году
на полдороге к вечному городу
из скалы иудейской не вырыть сырых могил
долбили камень шутили покамест хватило сил
впрок место столбили кого там придет черёд
на круг их немного в земле всего человек шестьсот

* * *

фисташка с дубом средиземно-приморский лес
по кругу цапля соразмерно пустых небес
зонты моркови белым скопом пошли цвести
завёрнут богомола кокон немым прости
отмашка жизни муравьиной на рукаве
и капля крови маккабиной в сухой траве

ЕРУШАЛАИМ

этот город свободен от лет и зим
невозможен точно и ровно необходим
в нём избыточно тьмы и света
на вершине геенны огненной бессмысленная карета

его ценят не за общепринятую красоту
его рынок полон неупотребимого ни в каком быту
ему воды доставало строго для ритуальных нужд
он мне восхитителен и одновременно чужд

эти булки резиновой консистенции на лотках
женщина в переулке с ног и до головы в платках
соседи повязанные общей в конец судьбой
самого дорого лишился считай любой
независимо от гражданства и вероисповедания
смерть становится смыслом существования

тут любовный трепет направлен вверх
мостовая скользит от прошедших всех
крыша общее место сушить бельё
пришлый метит забытое здесь своё

* * *

мне выпало жить у моря что значит на берегу
два голубя в голос вторят насмешливое угу
стоять перегретым телом навстречу и ждать пока
волна закипает белым на мягкую твердь песка
ведь кроме беспечной лени не жду никакой беды
зависимая от тени и жаждущая воды

* * *

мелочь теплится пугливо на ладони пацана
то ли артик то ли пиво всё равно не хватит на
продащица в лавке вечной как реклама табака
у собаки первой встречной на полметра языка
тьень как мёртвому припарка много потного лица
потому что день и жарко и дорога два конца

* * *

если б у вас была
правильная метла
я бы сметала пыль
с автобусного стекла
сокола цвета гриль
парусного крыла
цвета сухой травы
тонкой травы сухой
знали бы только вы
кто мой посильный враг
я б навела такой
видимой чистоты
что проведи рукой
и поцелуй листы
дерева и бумаг

* * *

ведь бывает что думаешь в длину а получается в высоту
если не по столбам ориентироваться не искать параллель
я видала сегодня море как умыло звезду
так и лижет мизинцы кривые горе Кармель
на хребет имени виноградных лоз или вин
рыба выплюнула меня а ведь могла бы и съесть
мне пожалуй нужен этот город только один
я пожалуй позже умру не сейчас но здесь

Михаил Зив

[0:]*

* * *

Улисс бежит за тридевять кровей.
Смотри же, чересчур не овдovej!
А налицо – лишь моря треволненья.
Америки мелькнула полоса?
Нет у ватаги собственного мненья.
Всё удаляются... почти не слышно пенья...
Им вечность наполняет паруса?

Не чу, где потеряю, где найду.
Кругом дудят в подсобную дуду
Сто сотен лет, по мне – да хоть бы тысяч!
Всех высечь поимённо и в бреду
Нельзя никак. Лишь ласково: «И ты, сечь?»

А кто он есть, позорный индивид?
Зачем нутро заносчиво болит,
Или он общей пайке не обучен?
Какой особой целью даровит?
Отлынивает дядя от уключин?

Пожалуйста, и я мозолил перст.
Там ус посасывал, здесь гладить стану пейс.
Уносит всех – я тем же метром смирен.
Дурачит шторм – кромешный полтергейст!
Не буду же артачиться, не мерин.

Родившись, человек не помнит, что спросил.
Но силится. О, мне б хоть пару сил –
Не лошадиных – личных, человечьих,
Где все поднаторели на увечьях,
Но вдаль плывут и пьют свой пертусин.
Как всмотришься, и я там парусил –
В далёких, окликаемых, овечьих.

* Долгий «о».

* * *

Начётчица-весна поднабавляет градус.
Скворцы еще галдят, но ищут саквояж.
Формальных луж плевки – в них ангельских игра душ
Под видом облаков глядит в такой трельяж.

С утра ещё знобит, но сад, росую вымыт,
Нагреется вот-вот, за что благодарим
Сквалыжный и морской, короче – южный климат,
Где реет сквозь листву в мурашках мандарин.

Из моря там и сям привстали ртами рыбы.
Не знаю – так поют? Но долгий тянут «о».
И россыпи их спин уходят на Магрибы,
Пространство взволновав, что светом залито.

Мышкуют города, исперчив побережье.
В прищуре у пустынь, в лесистой гор тени
Гроза еще слезит земное незалежье
Средь этих горных спин, хоть с хором «о» тyani.

Да, все мы не умрём, хоть зарости травую
И замети песком народную тропу,
Где тот сидел народ, шалтал-болтал войною
И с болью разминал затёкшую стопу.

НА УКРАИНЕ

По кругу лиц беседую крыля,
Вдруг с новоиспечённым другом Толей
Узнать всерьёз, как вертится Земля
В разгар своих украинских застолий.

И в том кругу танцует самогон,
Сморгнув на свет и руку не отторгнув,
Как будто плещет, пляшет с двух сторон, –
Неужто я тут главный хореограф?

Но, песенную слизывая муть
И братскую ценя взаимопомощь,
Беспмятно порог перешагнуть,
Держа во рту не выспавшийся овощ.

Не добежав до будки дворовой,
На звёзды встряв глазами очевидца,
Горячей милосердною струёй
На заросли земные помочиться.

Обуться ухом в шорох большаков,
Задеть плетень в наглядности атлета,
Где глиняные головы горшков
Курируют языческое лето.

На оголтелых в стойкости ногах
Вернуться в дом, устав от эволюций,
Улыбчивым незнанием нараспах.
Вернуться в дом, куда нам не вернуться.

БЛОШИНЫЙ РЫНОК В ЯФФО

Вступает в пренья с дрозophilой
Базар арбузною бузой.
Плюется речью-бузиной
Торгаш, исчадьё русофилу.
Колючим ртом Мафусаила
Бубнит суфлёрствующий зной.

Кругом свинячится фалафель
С губы резиновой разинь,
Над крышей блеет муэдзин,
Интересуясь: все тут в Яффе ль?
А дышишь, будто в батискафе, –
Никак не веет баргузин.

Гремит, зудит блошинный рынок,
А данность – всяко с потолка:
Блеск янычарского клинка –
Наполз – в безвинности поспи, на! –
На стулья венские без спинок,
А помнит поскрип волоска,
С задка ласкавший сарацинок
Или гяуров – с кадыка.
Кувшины, выпятив бока,
Чтоб джинн резвиться от души мог,
Внутри танцую гопака,
Где в недрах, вряд ли щирых, крынок
Сидят на корточках века,

Толкуя о лодчонке Ноя.
Среди поддельной мишуры
Несамолётные ковры
Умело вводят в паранойю.
Люблю кидалово земное,
А неземное – вне игры.

И, пролонгируя безумье,
За рынком – парусом в грозу ль? –
Плывёт мечеть – глаза разуй, –
Свои глазури и глазуньи –
Ненаказуема везунья! –
Внедряет в пыльную лазурь.

И рядом – башня Часовая,
Аверху – улица Яффет
На гору тащит свой лафет
И солнцем бьет, что в очи – свая,
Петляет, будто Чусовая,
В кальяны пряча марафет.

Тут море всех переносило,
Здесь Голиафы, плясь в цейс,
У жён отпрашивались в рейс,
Китов пророками тошнило...
А к бороде Мафусаила
Легко ль приклеить спорный пейс?

Здесь тридцать витязей могли нас
Известь, ища залетный фарт,
Когтя свой львиный миокард,
Чесался царь, что бритту минус.
Ах, гибнет семечко на вынос,
Пока ростку не выдан старт!

Растенья ткут свою тираду, –
Тут всё – чуть движущийся клип.
Ввиду отсутствующих лип,
Зайдя за пыльную ограду,
Под солнцем чахнет эвкалипт.

Я как-то шёл по Ленинграду, –
Так что – тогда-то и погиб?

* * *

А не хватиться ли порош нам,
Впасть в куликовый клик улик?
Зарос вовсю бессонным прошлым,
Ты в эту невидаль и вник?

Но морем пламенным тоску брей,
Где в акваториях чужих
Полно особо местных скумбрий,
Морских ежей и к ним ежих.

Да и зимой, когда, все пятна
Смешав, гроза несет фугас,
И горы мчат, развесив патлы,
И восклицают: «Тьфу на вас!»

Не верь, что нет вовек опят нам,
На четырёх своих попятных
Ползи вперёд, как в первый раз.

Вовне стремится всякий демос
Отдельной личностью в круиз.
Нехватка страшная везде нас,
Давись – печален компромисс.

Вся жизнь в движеньях неуклюжих
Под точно выданной звездой.
А сад стоит в посмертных лужах,
Ослепшим солнцем залитой.

* * *

Утро смолоду проснулось.
Парк сутулость потерял.
Птица в нем в траву обулась,
Подзастряла к листьям в трал.

В этот птичий терминал
Входишь гостем. – А не ты, брат,
Дождь недобро поминал,
А теперь – как свежевыбрит?

И, того гляди, что стибрят
Из-под носа и усы, –
Так и шастают колибри,
Бреясь ворохом росы.

Изумляются прилюдно,
Не поймут нас – кто же мы?
Так же мыслят изумрудно
И лягушечьи умы.

Всюду кваканье в канавах –
Воздух зеленью марать,
Чтоб рождался краткий навык
Никогда не умирать.

РЕИНКАРНАЦИИ

1

Когда мне тело новое предложат,
Я, может быть, слегка и обозлюсь,
И акушерка – «К нам не запахло, жид?» –
Меня вдруг спросит. – Нет, нельзя без Люсь!

Пренебрегу ответствовать на клеток:
Рот занят ревом, титька бог весть где,
Свет жжет слезу – какое уж тепло тут? –
И колко спать в казенной ерунде.

Мы превентивно, кажется, повинны,
Но та, что квохчет, знает ли ответ?
«Помалкивай, займись-ка пуповиной
И отцепи обиженный послед!»

2

Я позабыл, что я отчасти русский, –
Я завязал – накладывают жгут.
Вокруг орут карузы и карузки,
Заранее ножонками бегут.

Куда бежать? – весь мир добром усеян,
Где специализировать собой
Всю эту рябь и к старческим рассеям
Своей прильнуть ланитою рябой?

Ах, всё не good – и тут я англичанин.
И всё не bien – а здесь я эскимос.
Поют не в хор, но певчих ангел чаёт,
Хотя тут всяк на вид молокосос.

3

И я бывал раз восемь финикийцем
(Хоть это надо б на сто поделить),
Слыл беженцем, мирволил кровопийцам,
Выламывался в рыцарскую прыть,

Хлебал борщи в сандаловом корыте,
Ковбойствуя, постреливал землян,
Пророчествовал бегло на санскрите
И тыкал вилкой в черствый гаолян.

И, нищенствуя, брякал торбой наземь,
Менял взахлёб холеру на чуму
И с гуриями опытно проказил,
Бесследно выясняя, что к чему.

И безутешным вписывался в ясли,
На дыбе ёрзал, выскочив из жил,
Умасленный надеждами напраслин, –
Нет, не факультативно как-то жил.

4

А кто тут проживал факультативно?
И, окрыленный опрометью сил,
Кто не глотал: «Мне страшно!», «Мне противно!»?
Кто мимо рта блаженств не проносил?

Кому дано фортуны колесо весть
Играючи, и, между сцилл руля,
Блюсти так называемую совесть
Иль каждый раз вытачивать с нуля?

Кому беспамятство вылечивает язвы,
Кому с рожденья вклеили геном
Умно манипулировать маразмом,
Сливая в народе крепким едоком?

Хоть в очереди загодя к врачу стой,
Всех кушают и клювом льнут в надрез –
Особо подкупающее чувство!
Имей же к ближним зоркий интерес.

Я тоже прыгал мужественно с грабель,
Всерьёз ловчил с таким инвентарём.
И мучил девушек, и прочих меньших я бил.
Вот то-то мы в беспамятстве и мрём.

5

Что девушки? – К блаженству страсть близка ли?
И в клятвах, имитирующих грим,
Мы любим, только поедом лаская,
И впроголодь о правде говорим.

На том-то и живёт добрососедство,
Что носит справедливость мимо рта,
Чей поцелуй – лишь отпечаток людоедства,
Иначе и потенция не та.

И жалость – вечно мужества лишенка,
Что точит безысходности гранит.
О том-то и хлопочет акушерка,
Когда над пуповиною бубнит.

6

А человек? – Он сызмальства рассеян.
И всем рассеям мир пока не рай,
Что розно нами с умыслом заселен
В расселинах, чье эхо: «Покарай!».

«Ату его!» – живёт и в хлеборобе,
И личное подворье близ обид –
В завистливом злорадстве ксенофобий:
«А где твой брат?» – «Не зрю, в глазах рябит!»

Ну и не зри. И в этом смысл и навык.
Есть спрос на перекошенные рты,
И кожа ведь плацдарм для бородавок,
И счастье лишь привал для пустоты,

Где копится бессмыслица риторик,
Что путь наш горек, значит, всё путём,
Блистая мыслью, ёрничает Йорик,
Влиятельно внушая: «Обретём!»

От знаний – скорбь? – Нет, скорби их и множат,
И состраданью матушкою – гнусь.
Когда мне это заново предложат,
Раздую рёв, а вновь не отверчусь.

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

Борис Кац ФАМИЛИЯ

По-английски – четыре буквы: KATZ.

По-русски – три: КАЦ.

На иврите – две: ק"צ.

По-японски (вероятно, и по-китайски) – один замысловатый иероглиф.

Происхождение фамилии очевидно в ивритском её написании – это аббревиатура слов *коэн цадик*, что значит коэн-праведник (коэн – служитель Иерусалимского Храма).

С самого раннего детства благодаря фамилии со мной происходили разнообразные происшествия. Она так выросла в меня, что я ощущаю её как деталь своей внешности – вроде носа или уха.

1

Лето. Ленинград. Конец 60-х – мне пять лет. Мама и я гуляем по Летнему саду. Я, большелобый, кудрявый, светло-русый, – бегу впереди мамы. Меня окликает какой-то улыбчивый дядя:

– Мальчик, здравствуй! А где твоя мама? Или папа?

Я показываю на маму.

– Здравствуйте, будьте добры, подойдите с вашим мальчиком сюда, – говорит маме «улыбчивый». – У меня есть к вам просьба-предложение.

Он показывает на загончик, сложенный из двух-трех фанерных ширм, они увешаны фотографиями; поперёк – надпись: «Ленфильм». Это фотограф Ленфильма. Пробы.

– Ваш мальчик внешне очень нам подходит. Вы бы хотели, чтобы он снялся в кино?

– Да? Как интересно, а что за фильм? Какая роль? – спрашивает мама.

– Роль очень важная: маленький Ленин! Разрешите сфотографировать? Это недолго.

Меня снимают в разных ракурсах.

– Ну, вот и славно, сейчас я запишу ваши данные и адрес, потом мы пригласим вас, ведь это только начало, – говорит довольный дяденька. – Так, я пишу: Боря, а фамилия?

– Кац, – отчетливо произносит мама.

– Как? – выражение лица стремительно меняется: оторопь, разочарование. – Спасибо, вы можете идти.

– А адрес?

– Нет-нет, ничего больше не надо.

Страна и Ленфильм готовились к грандиозному празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Но мне не довелось принять в этом участие.

Фамилия уберегла.

2

Июль. Краснодарский Край. Анапа. Черное море. Пионерский лагерь «Жемчужина России». Мне двенадцать лет. Минута какой-то отчаянной решительности: да, поеду, да, один, да, далеко и на полтора месяца. И я, с еще тремя ребятами и сопровождающей, отправился на Юг, через Москву и Новороссийск до Анапы. Чтобы было понятно, насколько это решительный для меня поступок, скажу, что, бывая почти каждое лето в обычных лагерях Ленинградской или Псковской области, дважды совершал побег. Очень томился неволей, режимом – лагерной обстановкой. А тут вдруг на вопрос, не хочу ли я поехать в этот особенный, удивительно оздоровительный лагерь, – согласился. Почему? Потому что дома меня никто не понимает, даже мама не всегда. Надоело! Всё! На Кавказ! Ой, ну не на Кавказ, ну всё равно далеко, к морю, на Юг.

И вот я в лагере «Жемчужина России». Это вам не деревянные домики-бараки в сосновом лесу, это блочный корпус в три этажа, асфальт, стадион, ухоженная трава и деревья в парке.

Метров двести до моря. Всё по-морскому: комнаты – кубрики, ну и так далее: гальюн, камбуз, кают-компания. Мы моряки, военные моряки. Наш отряд занимает этаж: по центру «кают-компания». Одно крыло – девочки, другое – мальчики. Так вот, если до этого я бывал просто в лагерях, то этот был особенный лагерь – строгого режима. Не сбежишь.

Вожатым – «старпомом» – был три месяца как отслуживший сержант-десантник.

Наказания – «наряды» – получал я чрезвычайно часто. За чтение в тихий час – чаще всего. Но были и другие нарушения режима: разговоры после отбоя, самовольный уход в библиотеку и т. д. Когда он обращался ко мне: «Кац!» – я знал, что сегодня опять не увижу моря. Да, ведь из моего «кубрика» моря тоже было не видно. За всё пребывание в лагере я видел море и купался четыре раза.

После события, произошедшего на второй день «срока», сержант запомнил меня и мою фамилию прочно и с удовольствием. Мне казалось, он мог не помнить фамилию Петров или даже Иванов, но «Кац» – отпечаталось в его мозгах особенно рельефно. Вот как это было.

Наш «капитан», тётка с профессиональным энтузиазмом, неопределённого нестарого возраста, утром, рассадив нас всех по периметру кают-компании, объявила:

– Ну вот, ребята, пора нам познакомиться, узнать, так сказать, состав экипажа корабля. – Ласково улыбаясь, она продолжала: – Вы собрались здесь со всех уголков нашей необъятной Родины. Сейчас вы поймёте, как она велика и какое множество национальностей её населяет.

Читатель, конечно, почувствовал, к чему идёт дело. Вот и я вдруг стал прислушиваться сквозь общий гомон к словам «капитана». Некоторое беспокойство охватило меня.

– Итак, – объявила бодро тётка, – начнём с этого края. Встаёшь и представляешься: Москва, Россия, Николай Иванов, русский. Всем понятно?! Начнём.

И началось. Было много русских. Были украинцы, белорусы, группами рядом сидели грузины, азербайджанцы, узбеки, казахи. Волна, с некоторыми задержками на нацменьшинствах, неизбежно приближалась ко мне. В кюот-компании стоял то возрастающий, то затихающий гул. Выступления обсуждались, иногда слышался смех. Волна докатилась до меня. Я встал. Я увидел лицо, улыбку «капитана». Так смотрит театральный фанат ключевую сцену в любимом спектакле. «Программка» – журнал учёта личного состава – в одной руке, ручка – в другой.

– Псков, Россия, Борис Кац, еврей, – тихо говорю я.

Всплеск шума и тишина.

– Погромче, ещё раз, пожалуйста, – говорит «хозяйка».

Я исполняю на «бис» в полной тишине. Наступает короткий «антракт». Это успех. С этой минуты запоминают меня многие и, конечно, сержант. Не могу сказать, что я был лишен общения, даже напротив – общения было много, и разнообразного. Нашелся даже один тайный еврей, который тайно же мне об этом сообщил. Да и с «сокамерниками» я вполне подружился.

За эти полтора месяца я заметно вырос. Окреп. Стал сионистом.

3

Начало октября 1981 года. Деревня. Колхоз. Мне семнадцать лет.

А летом я провалился на экзаменах в Педиатрический институт. Мечте моих родителей-врачей не суждено было сбыться. С первого сентября я пошёл работать на Экспериментальный завод художественных изделий. Эксперимент, да ещё художественный, не мог быть масштабным. На заводе работало не больше восьмидесяти человек. Так как я с детства лепил, то был взят налепщиком. В конце сентября меня вызвал директор – Уриэль Давидович Знойкин, фронтовик, майор в отставке, замечательный человек.

– Боря, дорогой, – сказал директор после взаимных приветствий, – я должен послать тебя в колхоз. В цехе, на людях, он обращался ко мне на «вы» – коротко и сухо. Но с глаза на глаз был приветлив, говорил доверительно.

– Пойми, Боря, я не могу тебя не послать. Что скажут? Еврей не послал еврея...

– Понимаю, посылайте, посылайте, не возражаю, – ответил я.

Так, в составе очередного «десанта» из двенадцати человек, я отправился помогать дружественному колхозу. В автобусе настроение у всех было отменное. Всю дорогу пили и пели. Меня щадили: подносили через раз, я был самый молодой.

Приехали на место. Колхоз «Мичуринский», в народе – «Ошибки Мичурина». С шести утра мы работали, возвращались в пять. Завтракали и обедали в поле, не особенно обильно. Но по возвращении нас ожидал ужин с размахом. Колхоз снабжал нас продуктами, даже забили бычка. Так что по вечерам вершились прямо-таки пиры с обильным возлиянием. Для приготовления ужина оставалась обязательно одна из трёх женщин и кто-то из мужчин. Отношения в бригаде были в общем теплые: не без «подъёбок», но без злости. Ложусь в койку и нахожу под матрасом полено или хомут под подушкой, а то вдруг слышу, кто-то

дышит в углу у стены. Меня добродушно опекали. Каждое утро на табурете, рядом с подушкой, я обнаруживал стаканчик самогона, закрытый крышечкой, – для опохмела. Трогательно.

Как-то вечером в наш «вертеп» зашли местные – знакомиться. Наш ужин подходил к концу, некоторые, накушавшись, – дремали. Закаленные: бригадир, электрик и обжигала – «дегустировали» принесенный местными напиток. Я сидел один, в конце длинного стола, и писал домой. Ко мне подошел поддатый «мичуринец» – детина лет двадцати пяти:

– Здорово, – он присел напротив.

– Здорово, – кивнул я.

– Слушай, а ты еврей?

– Да.

– А я никогда евреев не видел, – продолжал он.

– Ну, посмотри, – сказал я, вставая и делая полный оборот, – нет ни хвоста, ни рогов.

– Да ладно тебе, ты не бойся: я не Гитлер, – он протянул мне руку, – меня Киндером зовут – кликуха такая.

– Боря, – я пожал его руку.

Мы выпили за знакомство, ему очень хотелось выпить с первым в его жизни евреем. Мы ещё поговорили. Его друзья собрались уходить. Киндер попрощался и пошел к двери, но вдруг обернулся, вернулся:

– Да, вот ещё что: мне сказали, что у тебя фамилия на три буквы. Правда?

– Правда...

– Охуеть, как ты живёшь с этим, Боря?

Я объяснил, что моя фамилия – это другие три буквы. Он был очень разочарован. А может быть, не надо было разочаровывать: Да! Вот такой я охуительный еврей!

Перед отъездом многие, по традиции, оставляли свои автографы на вылинявших обоях. Я нашел местечко над своей койкой и отметил:

Боря Кац здесь был:

Спал, ел, пил.

Весной следующего года вернувшиеся из колхоза рассказали, что описание моей жизнедеятельности значительно пополнилось. Правда проступила на обоях.

4

5 ноября 1983 года от перрона Варшавского вокзала отходил поезд. За полдень. Густо моросил мелкий ленинградский дождь. Один из плацкартных вагонов заполнен новобранцами. Один из новобранцев – я. Предметы за несвежим, с бегущими «слезами», окном уже нереальны. Ленинград таял, исчезал для меня. Выпили водки. На столике, у окна, – груды еды. Закусывали мало. Как же мы будем вспоминать эту брошенную гору вкусной домашней еды! Странное, тупое возбуждение. Впереди неведомое... Заснули. Около одиннадцати вечера нас разбудили, вывели из поезда. Построили, посчитали и повели в часть. Густой фонарный свет

пропитывал заснувший город таинственностью. Через двадцать минут перед нами распахнулись ворота части.

Повели в баню. Расставшись с вещами, получив по ломтику мыла и пучку мочалки, пошли мыться. Мы вышли оттуда переодетыми во всё казённое, нелепо похожими, как стручки гороха.

Проснувшись утром от крика «Рота, подъём!», сообразил: это не сон – я в армии.

После обеда всех «духов» собрали во второй роте. Духами в армии называли солдат до присяги. Рассадили рядами напротив телевизора перед расписанной стеной. Роспись напоминала огромную рекламную афишу фильма о героической Советской Армии, из тех, что вывешивали на фасадах кинотеатров. Сидели-скачали мы недолго. Возник замполит первой роты – майор Легеза. Он был молодцеват: форма сидела великолепно, под ухоженными усами во рту поблескивал золотой зуб, загорелое лицо оттеняли седеющие виски. Майор напоминал «пережаренного» героя из фильма «Тихий Дон». Поздравив нас с началом выполнения «почетной обязанности», замполит напомнил, что завтра 7 Ноября – великий праздник Октябрьской Революции. Он пришёл провести с нами викторину на знание истории создания советского государства. Победитель будет поощрен.

Викторина началась. Майор зачитывал вопросы. В основном выступали два бойца: я и «дух», сидевший двумя рядами впереди. Я видел только его рыжий затылок. Мы отвечали практически по очереди: о первых днях революции, о заключении «Брестского мира», о Гражданской войне, о создании Красной Армии и первом военном комиссаре – Троцком. Вообще, Лев Давидович упоминался в наших ответах, поэтому замполит счёл нужным невнятно прокомментировать роль «демона революции» как вроде бы сначала полезную местами, а затем совершенно вредоносную и даже злобно-враждебную.

Викторина превратилась в наш с рыжим поединок. У каждого появились свои болельщики. Примерно через час закончились вопросы. После паузы замполит сказал:

– Викторина закончена. Я думаю, у нас два победителя – трудно решить, кто из них лучше, поощрения заслуживают оба. Встаньте, – он указал на рыжего и на меня.

– Ваши фамилии? – спросил майор, приготовившись писать.

– Кац...

– Бронштейн...

Майор вздрогнул, поморщился, словно его ущипнули, пожевал губами или прошептал что-то и, пожелав всем хорошей службы, стремительно вышел.

Появление Лёши Бронштейна (рыжего) и на меня произвело впечатление.

7 ноября во время завтрака ко мне подошёл старшина.

– Держи, Троцкий, – сказал он и протянул коржик в серой бумаге.

– Троцкий не я! – возразил я, забирая пирожное.

– А пиздишь, как Троцкий, – усмехнулся «дед».

Коржик – мой приз за викторину – был скучным и твердым, как кусок подсохшей глины. Есть я его не стал.

Коржиков больше не давали.

5

В начале ноября 1985 года я вернулся из армии и восстановился на второй курс в институте. Учёба началась за две недели до моего прихода – в сентябре и октябре был колхоз. Моя новая группа состояла из девяти человек: шесть девочек и три мальчика, я стал десятым. Как в нормальном советском коллективе, у нас были староста, профорг и комсорг. Меня избрали в комсорги. Прежний комсорг вступила в партию. Староста – Миша; профорг – Савва; комсорг – Боря. Каждому мужчине – по должности. Нашим девочкам нравилась стройность этой системы. Был ещё Али из Йемена – «восточный гость», он в наших тусовках не принимал участия.

Собрав членские взносы за несколько месяцев, я отправился в институтский комитет. Процедура была несложной: сдал, подписал, проштамповал комсомольские билеты и – свободен.

В комитете был некоторый беспорядок – какая-то перестановка или ремонт. Лена – освобожденный секретарь, женщина солидного комсомольского возраста – перекладывала коробки. В этот мой первый визит я должен был сделать пометки об уплате и в учетных карточках своей группы. Учётная карточка – это такое «личное дело» комсомольца, хранящееся в комитете комсомола по месту его службы, работы или учёбы. По мере перемещений комсомольца карточка следует за ним. Я нашёл своё «дело». Смотрю: в левом верхнем углу – детская фотография: я восьмиклассник.

Справа от фото:	1. Фамилия:	<i>Кац</i>
	2. Имя:	<i>Борис</i>
	3. Отчество:	<i>Иосифович</i>
	4. Место рождения:	<i>г. Псков</i>
	5. Национальность:	<i>русский</i>

Я – русский? Как это? Да... Империя, очевидно, в упадке. Писала-заполняла эти листочки какая-то мелкая комсомольская чиновница. Торопилась. Все были русские, ну затесался один еврей, не заметила и «на автомате» записала и его, то есть меня, русским.

– Лена, посмотрите, – я протягиваю карточку секретарю, – здесь всё правильно?

– Да, всё вроде нормально, – говорит Лена, посмотрев несколько секунд.

– Посмотрите, – показываю пальцем и читаю: – Кац Борис Иосифович, русский.

– Ааа... – с лёгкой улыбкой замечает она, – ну и ладно, а ты что, не доволен? – в её голосе слышно некоторое недоумение.

– Лена, давайте я зачеркну аккуратно и напишу рядом правильно: еврей.

– Нет, нельзя. Оставь как есть, никто кроме тебя на это внимания не обращал. Зачеркнешь – будет заметно – будут замечать.

Она многозначительно посмотрела на меня. Я молча отложил своё «дело», взял следующее из своей группы. Лена занялась дальнейшим наведением порядка. Убедившись, что она поглощена делами, я вернулся к своей учётной карточке. Пачкать зачёркивать я не стал, а дописал. Получилось: *русский еврей*.

· Дальнейшая жизнь подтвердила точность этого определения.

6

В 1997 году в Иерусалиме, в центре города, открылась галерея. Я был одним из её учредителей. Для ведения нашего коммерческого предприятия необходимо было открыть общий счет в банке и заказать чековые книжки.

Дождавшись своей очереди, сел к столу банковской служащей. Это была молодая брюнетка с карими глазами и губами – похожая на рогалик с шоколадом.

– Фамилия? – спросила девушка.

– Кац, – внятно сказал я.

Коротко щелкнув по клавиатуре, девушка спросила:

– Скажи, какая фамилия у тебя была раньше?

– Что? – прошептал я.

– Какая у тебя была фамилия в России, до приезда в Израиль?

Я взглянул на девушку. На меня невозмутимо смотрели шоколадные глаза. Пауза. Брови её шевельнулись: «Этот русский, наверное, не понимает иврит». Кровь застучала у меня в висках:

– Да, я Кац! И всегда был Кац, и папа мой Кац, и дедушка был Кац, и прапрадедушка! Понятно?! – охрипшим голосом, в упор глядя на девушку, выпалил я.

– Хорошо, хорошо... Что ты так взорвался? Многие русские меняют свои фамилии в Израиле на еврейские. Вот я и спросила.

– Я еврей Кац, – процедил я, и всё пошло быстро, без помех.

Мы с фамилией двинулись дальше...

Эпилог

Возвращаясь с работы, увидел двух хасидов, открывающих мою калитку. Окликнув их, я быстро подошёл. Поздоровались.

– Ты хозяин? Кац? – спросил старший, взглянув на дверную табличку.

– Да, я Кац, – сказал я, заходя вместе с ними во двор.

Мои гости – Авраам и его сын Даниэль – рассказали: они из ешивы в Старом городе, рядом со Стеной плача. Собирают пожертвования. Авраам показал альбом о ешиве. Я выудил из кармана деньги. Он поблагодарил, сказал, что они со студентами будут сорок дней просить об исполнении моих желаний. Сорок дней молить у Стены плача творят чудеса. Авраам достал гроссбух записать мои желания и личные данные.

– Борис, сын Иосифа, Кац, – продиктовал я.

– Борис, ты из России?

Я кивнул.

– Из России много преданных вере людей и праведников, – изрек Даниэль, – нам рассказывали.

– Кац – это коэн цадик, ты знаешь?

– Да, да, – отозвался я.

– Так какие у тебя пожелания? – вернулся Авраам к записям.

– Здоровья родителям.

Авраам подробно записал имена родителей.

– Так, что ещё ты хотел бы попросить? – взглянул он на меня.

- Больше ничего.
- Попроси что-нибудь ещё для себя.
- Больше ничего не надо.
- Почему?! Удачи в делах, например.
- Нет. Помолитесь о здоровье моих родителей.
- Ты ничего не просишь лично для себя?

Зазвонил мобильник, Авраам коротко поговорил, пообещав скоро приехать. Улыбнувшись, объяснил:

– Жена рожает, шестой ребёнок.

– Мазл тов, в добрый час! – пожелал я. Хотите что-нибудь выпить, съесть?

– Нет, спасибо, мы сейчас пойдём, – они переглянулись. – Господин Кац, мы решили, что ты достоин. Хотим сделать тебе подарок, – торжественно сказал старший.

Из сумки появилась квадратная плоская коробочка. Даниэль принял её из рук отца и положил на стол под лимоном.

Открыл. Внутри лежало «Благословление дому» – золочёная рама, прорезанные в тонком медном золоте силуэты Иерусалима, текст, львы, короны, вензеля. Красота неописуемая. Кротко улыбаясь, отец и сын смотрели на меня. Я секунд десять, взяв в руки коробочку, рассматривал подарок.

– Я не достоин. Вручите это кому-нибудь более праведному.

Они были поражены моим отказом. Попытались уговорить.

– Нет-нет, я грешен и не могу принять такую вещь, – возражал я.

– Даниэль, – вдруг провозгласил Авраам, – этот человек скрытый цадик...

Дальше всё происходило как во сне.

Авраам приподнял шляпу, снял кипу и, одевая её на меня, попросил:

– Благослови сына моего, прошу тебя, будь добр.

Я, в шоке, возложил руки на склонённую голову Даниэля и начал произносить благословение коэнов. Три года назад я выучил этот текст к бар-мицве сына. Не успел закончить, как открылась дверь, и во двор вышел мой Данька. Он вышел на шум. Изумление округлило его глаза.

– Авраам. Даниэль, – представились гости.

– Даниэль, – отозвался он.

– Ты знаешь, что отец твой – цадик? – спросил Авраам.

– Да, – без энтузиазма выдохнул Данька, покосившись на дверную табличку.

– А давайте теперь все вместе станцуем и споём, – вдруг радостно выкрикнул благословлённый и протянул руки.

И вот мы быстро ходим, взявшись за руки, по кругу. Мой Данька напротив меня, по хасиду справа и слева, я крепко держу их мягкие ладони. Звонко поёт отрок, я подпеваю на припеве. Пытаюсь скакать в такт. Голова кружится. Тренированным хасидам хоть бы что. Мы пляшем в свете уличного фонаря, заглядывающего через забор во дворик. Данька, кружась, поглядывает на окна соседей: не смотрит ли кто? Пение закончилось, мы остановились. Пошли к калитке.

– У меня к тебе просьба, – обернулся ко мне Авраам.

Я немного расстроился.

– Дай нам что-нибудь из твоих рук.

Надо мной висели лимоны. Не сходя с места, быстро оторвал два и протянул отцу и сыну. Они молча поднесли лимоны к своим носам. Данька обалдело наблюдал.

– Прочтем благословление на запах, – отозвался Даниэль, сын Авраама.

Мы поблагодарили Господа за чудесный запах. Попрощались. Они ушли.

Мы вернулись домой. В салоне, на диване, мирно спала Аня.

На следующее утро мы с Данькой поехали в МВД – заказать ему заграничный паспорт.

У Кошачьей площади машина сломалась. Я ещё успел, уже без двигателя, развернуться в направлении стоянки. Но... всё занято – девять утра, центр города.

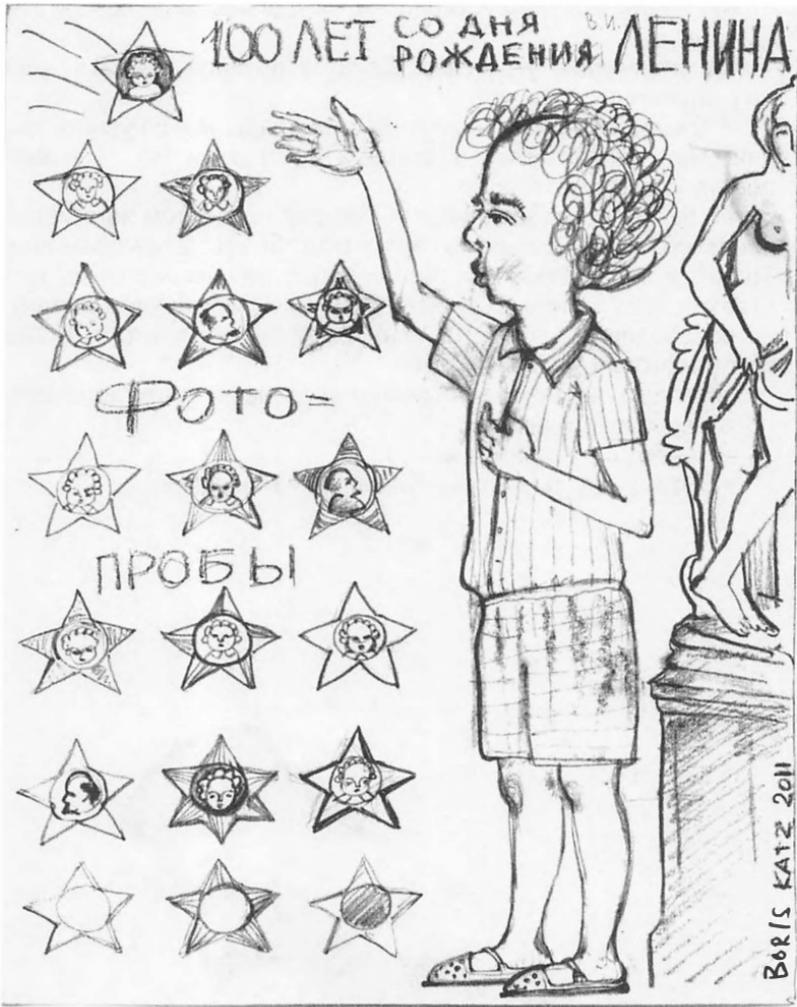
– Все, Даня, – вздохнул я, – сегодня паспортом заниматься не придётся, надо вызывать эвакуатор, ехать в автомастерскую. Только я это сказал, как прямо перед нашим носом со стоянки отъехал автомобиль. Выскочив из машины, мы быстро закатили её на освободившееся место. Ура! Идём делать паспорт, а уже потом – все хлопоты с ремонтом.

– Папа, а ты знаешь, почему перед нами сразу же освободилось место на стоянке?

– Почему? – удивился я.

– Потому, что ты цадик, – улыбнулся Данька.



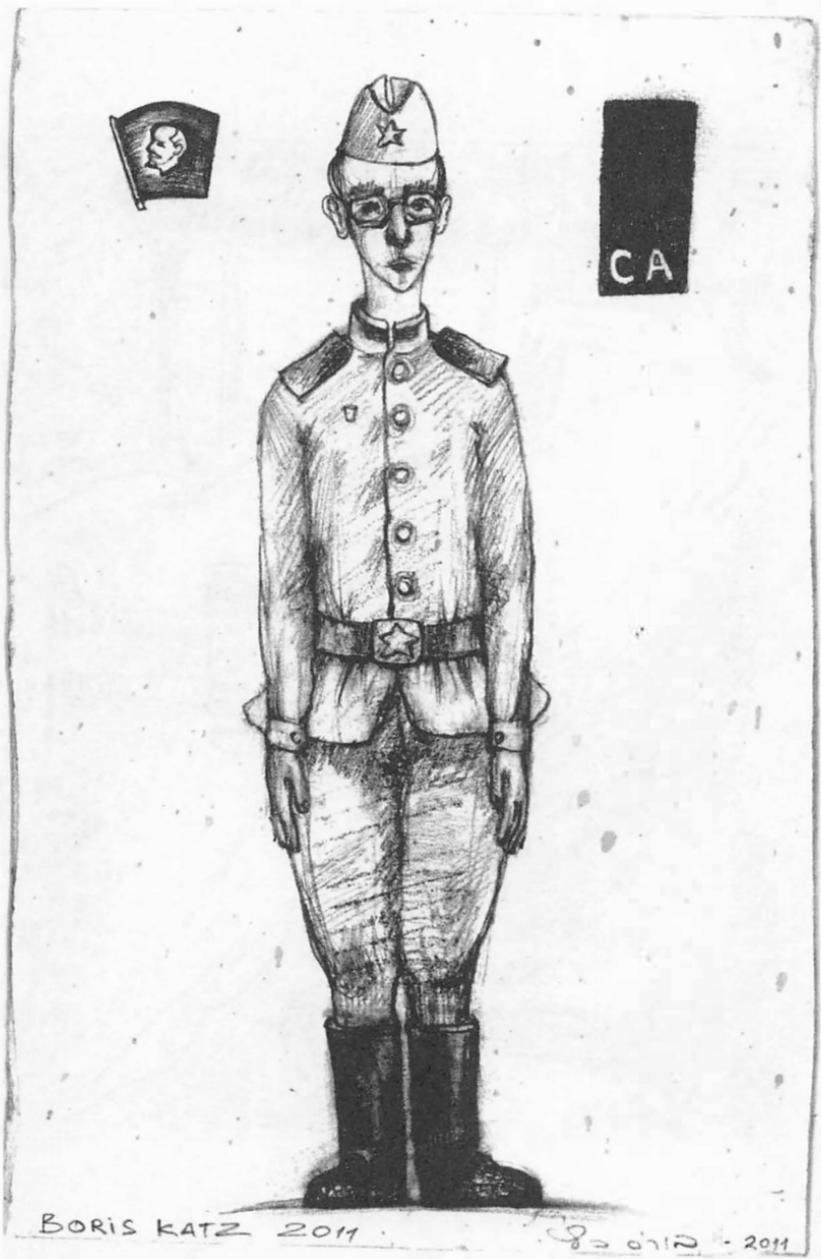


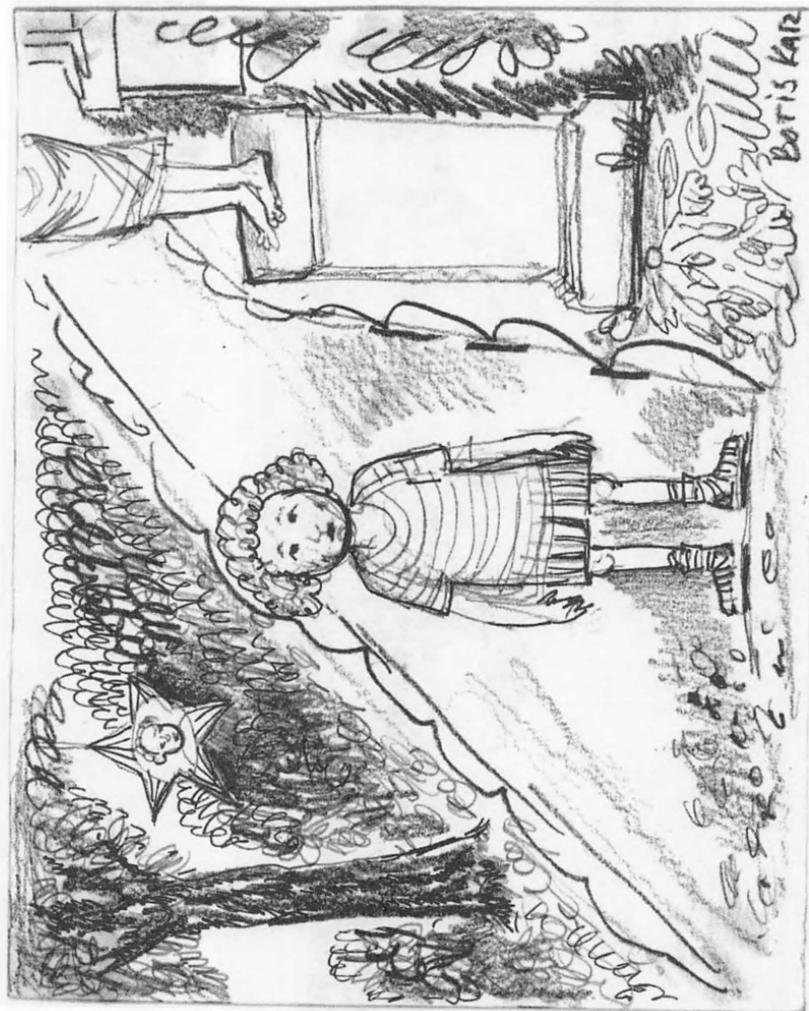
100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

ФОТО-

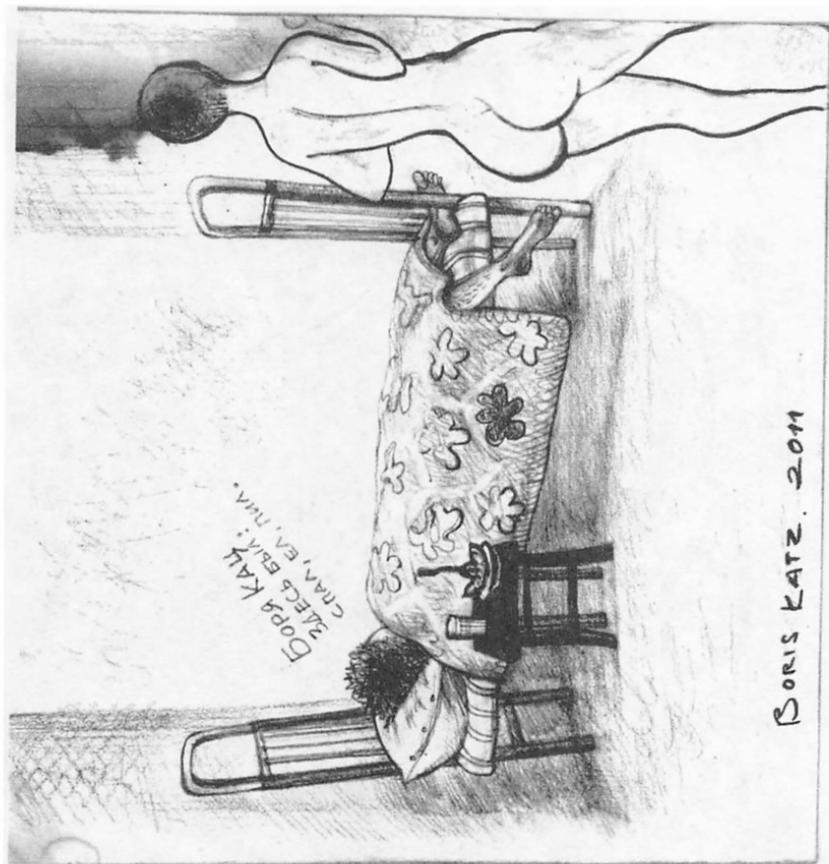
ПРОБЫ

BORIS KATZ 2011





BOTIS KAR



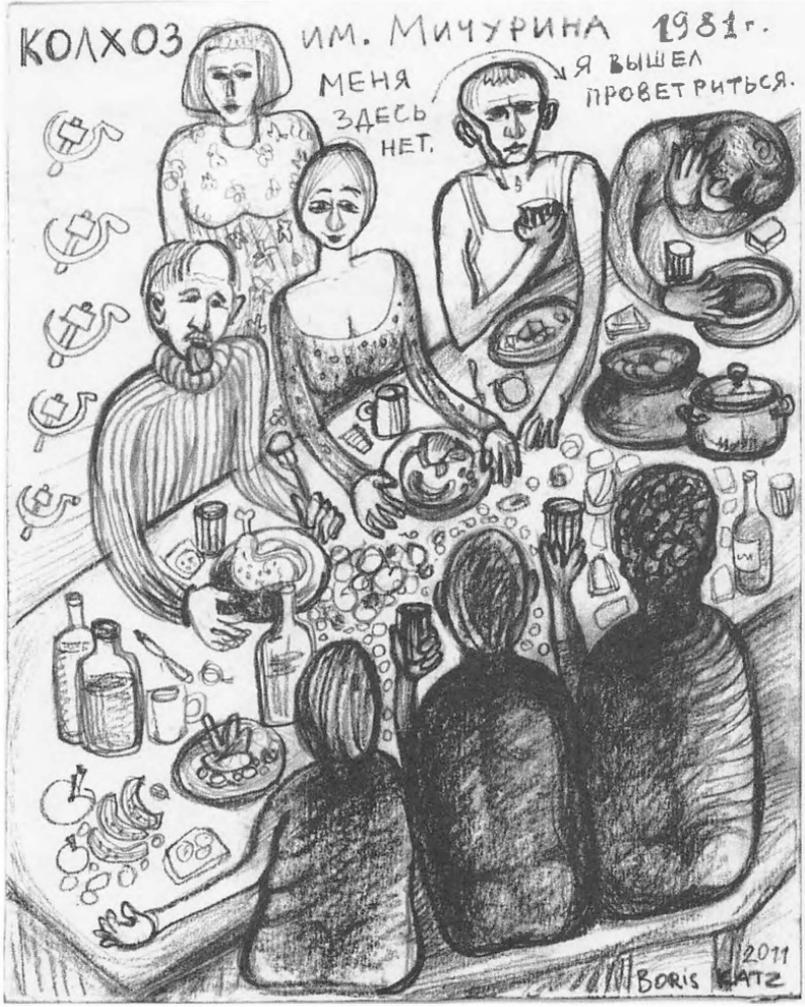
БОРИС КАТЦ. 2011

КОЛХОЗ

им. Мичурина 1981г.

МЕНЯ
ЗДЕСЬ
НЕТ.

Я ВЫШЕЛ
ПРОВЕТРИТЬСЯ.



2011
BORIS KATZ



Игорь Туберман

ВЫСОКИМ ДУХОМ НЕ ПОМИМ *

* * *

Сегодня все надеются по-разному:
на Господа, на время, на авось,
а если доверяться только разуму,
намного тяжелей бы нам жилось.

* * *

Когда я был весьма уже в годах,
душа сыскала чудное решение:
отчаявшись в надеждах и мечтах,
обрёл я в оптимизме утешение.

* * *

Заранее у Бога я прощения
просить остерегаюсь потому,
что многие в морали упущения
грехами не покажутся Ему.

* * *

Жизнь моя – крошечная аскеза,
но беда – в ещё одной беде:
два уже сидят во мне протеза,
третий хорошо бы – знаю где.

* * *

Холодную храню невозмутимость,
увидя чью-то пакостную прыть;
в себе такую вырастив терпимость,
я мог бы даже дом такой открыть.

* Из будущей книги «Восьмой иерусалимский дневник».

* * *

Мне судьба многократно дарила
приключения разных сортов,
я живу, не держась за перила,
и всегда наебнуться готов.

* * *

Забавно, что гипноз идей,
сердца и дух воспламеняющих,
слабей калечит ум людей,
гипноз умело применяющих.

* * *

Мы все полны мотивов низких,
себя любимого любя,
но дивно мне, что страх за близких
сильнее страха за себя.

* * *

Не сплю я от зова тлетворного,
бунтует мой разум пустой:
я принял пять рюмок снотворного,
и он возмечтал о шестой.

* * *

У весьма различных мудрецов
я от темноты своей лечился,
выучился я в конце концов
вовсе не тому, чему учился.

* * *

Пускай здоровье губим,
но пьём в полночный час
за тех, кого мы любим,
и тех, кто любит нас.

* * *

Конечно, утро мудренее,
чем вечер в неге и нирване,
поскольку утром нам виднее,
что наболтали мы по пьяни.

* * *

Без фарта невесел наш жизненный путь,
тоскует земля без дождя,
младенцам нужна материнская грудь,
политикам – жопа вождя.

* * *

Душа моя устала сострадать,
удачливости ей милей картина,
и рад я, когда льётся благодать
на голову случайного кретина.

* * *

Я не мыслитель, а простак,
однако зоркий наблюдатель:
порой грехи прекрасны так,
что их одобрил бы Создатель.

* * *

Глотками чтения и хмеля
я тьму в душе моей лечу,
и видеть свет в конце тоннеля
ещё покуда не хочу.

* * *

Сказал однажды Авиценна,
о чём-то думая своём:
что в нас действительно бесценно,
то мы задаром раздаём.

* * *

Я ничего не председатель
и не хриплю речей натужно,
я очень тихий обладатель
всего, что мне для жизни нужно.

* * *

Ничуть я не хочу судьбу другую,
не надо мне избытка и излишка,
собой на книжном рынке я торгую
и радуюсь доходу, как мальчишка.

* * *

В памяти грядущих поколений
буду я овеян уважением:
памятник беспечности и лени
высекут с моим изображением.

* * *

Из тихого житейского угла
мне видно, как разбой по свету рыщет,
и ясно понимаю: не могла
история светлее быть и чище.

* * *

Текла, неслась моя эпоха,
я с нею вровень поспеваю,
но был воспитан очень плохо
и виски пивом запивал.

* * *

В душе нашей рабства остатки
толкают к покорству и фальши:
душа, уходившая в пятки,
уже не такая, как раньше.

* * *

Пускай не молкнет волчий вой
и мир вокруг рычит пещерно,
еврей не должен быть свиньёй,
поскольку это некошерно.

* * *

Творец в порыве милости и благодати
являет нам порой расположение:
страдания меняются на тягости,
а рабство – на всего лишь унижение.

* * *

Пока не взорван шар земной,
пока шахид ещё в пути,
ты посиди, дружок, со мной
и рюмки захвати.

* * *

В дождливое время я думал не раз –
и пусть мои мысли нелепы, –
что это ушедшие плачут о нас,
насколько темны мы и слепы.

* * *

Забавно мне, что струйки строк
и рифмы спаренные эти
мне продлевают Божий срок
существования на свете.

* * *

На природе думать о природе
некогда учил философ некий,
я же лично думал об уроде –
губящем планету человеку.

* * *

Я стал податливее хмелю
и чушь, как раньше, не порю,
я был дежурным по апрелю,
а нынче стал – по декабрю.

* * *

Взошла румяная заря,
плывёт рассвет неторопливо,
и чувство, что живёшь не зря,
зовёт купить бутылку пива.

* * *

Людам уже очень пожилым,
плюнув на опасности злословья,
хвастаться блистательным былым
нужно и полезно для здоровья.

* * *

Едва развеется мираж,
сей миг на месте том
душе является муляж,
эрзац или фантом.

* * *

Создатель беседует с нами
на сленге божественных жестов:
циклоны, торнадо, цунами
слышнее и внятнее текстов.

* * *

Все силы положив на сочинительство,
и радость я испытывал, и муки,
а благо я творил или вредительство,
рассудят нечитающие внуки.

* * *

Высоким духом не томим,
я виски пью и в ус не дую,
я был дурак, останусь им
и всем весьма рекомендую.

* * *

По жизни так легла моя дорога,
что разных я встречал интеллигентов,
и было среди них довольно много
надменных двуххйцовых импотентов.

* * *

Когда бы не мысли о пьянстве,
я мог бы с умом и сердечностью
пространно писать о пространстве
с попутно простёршейся вечностью.

* * *

Был век бездушен и жесток,
но я – и с тем умру –
хваляю и славлю свой шесток,
берлогу и нору.

* * *

Весьма смягчить надеюсь Бога,
когда придёт моя пора:
хоть я и пил безбожно много,
но пил – во здравие добра.

Юлий Ким

ОБА НАЧАЛА

Человеку от рождения даётся корзина для впечатлений жизни, и она (корзина) с течением времени набирается и набирается, хочет того человек или нет.

И на склоне заката бывает любопытно в эту корзину заглянуть.

А у Губермана кроме неё есть ещё и походная сумка (блокнот), куда он осознанно заносит всяческие словечки, фразы, заметки и наблюдения.

Это уже необходимость писательская, профессиональная.

Он ведь писатель родом из журналистики – как, скажем, Ильф с Петровым или Зощенко, да хоть и Чехов, например, Антон Павлович.

И его проза – это монолог рассказчика в хорошей компании, к которой так приятно принадлежать.

А так как его семидесятипятилетняя корзина *очень* богата, то слушать его (читать) – одно удовольствие, потому что драгоценные губермановские зарисовки-байки-заметки, пересыпающие его затейливую речь, оснащают ещё и мысль, постоянно работающую вокруг самых животрепещущих тем и вопросов, особенно вокруг ближайших: Россия – Израиль, еврейский характер – русский дух.

Сам Губерман воплощает в себе оба начала.

Стоит только посмотреть на него, когда на Песах, в кипе, закусывая форшмаком водку, с наслаждением подхватывает он русские песни, коих знает множество, совершенно при этом пренебрегая полным отсутствием музыкального слуха, обязательного для еврея: распевая мимо нот, он попадает в них душевно.

Свидетельствую это как коренной русский бард с корейским уклоном и израильским гражданством.

Гарик, дорогой, *ad mea ve эсрим!*

Александр Окунь

МЕНЮ ПЮРЖЕСТВЕННОГО ОБЕДА

В эти дни просвещенное человечество отмечает юбилей Любимого Поэта Игоря Губермана, в дальнейшем для экономии бумаги именуемого ЛПИГОм. Естественно, каждый из нас пожелает отметить это событие надлежащим образом. Дабы этот образ не превратился в банальную пьянку, где на третьей рюмке участники забывают о причине, побудившей их собраться, предлагаем вашему вниманию примерное меню. Структура обеда определяется биографией ЛПИГа.

Итак!..

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (ЗАКУСКИ)

Главным событием этого десятилетия было рождение ЛПИГа. Тот факт, что в семье Губерманов родился мальчик, определяет наш выбор главной закуски: *небольшой*¹ *красный*² *перчик*.

Перчик рекомендуется чуть подержать в гриле³, нафаршировать маскарпоне⁴, кончик обрезать⁵. Блюдо это пристойно запивать араком, узо, ракией и другими подобными, достаточно непривычными на русский вкус⁶, напитками⁷.

По ходу застолья рекомендуется выражать восторги по поводу чуда возникновения новой многообещающей жизни, а также высказывать мудрые мысли о мечтах, ожиданиях, надеждах и удивительных и непостижимых причудах гена.

ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (ЗАКУСКИ)

Годы становления ЛПИГа проходили в окружении советской власти.

На стол рекомендуется положить газету «Правда» (или «Гаарец» – разница невелика), на нее – черный хлеб, селедку, лучок, шпроты, плавленый сырок, докторскую колбасу...

Короче – знакомый джентльменский набор.

¹ Небольшой, потому что мы имеем дело с новорожденным.

² Красный – по причине рождения в стране Советов (и по другим).

³ Метафора родильных пертурбаций.

⁴ Кроме того, что цвет и консистенция маскарпоне могут навести некоторых из нас на вполне определенные ассоциации, молочный ингредиент приличествует блюду, посвященному первым дням жизни героя.

⁵ На восьмой день жизни юбиляра представленная перчиком анатомическая деталь новорожденного ЛПИГа подверглась аналогичной операции.

⁶ Что делать, вся жизнь и творчество ЛПИГа были вопиющим контрастом тому, что было принято в стране, где он появился на свет.

⁷ К тому же, ежели в напиток добавить маленько воды, то он немедля мутнеет и приобретает молочный оттенок, что вполне соответствует теме.

Однако главной темой этой перемены будут *яйца*⁸. Итак, символ мужества, характера, самодостаточности – *бычи яйца!* А вот и рецепт:

Яйца продаются в собственной, довольно прочной кожистой оболочке, поэтому оболочку надрезаем очень острым ножом вдоль, на глубину 2-3 мм, и аккуратно пальцами выворачиваем яйцо наизнанку, отделяя центральное ядро от оболочки (примерно так снимается чулок кожа с рыбы). Очищенные яйца режем вдоль на 6 ломтиков (как апельсин) и промываем. Оболочку выбрасываем. При термической обработке яйца выделяют много жидкости и сильно уменьшаются в размерах, так что покупаем не меньше шести штук. Имеет смысл сначала отварить яйца 5-7 минут, чтобы ушла лишняя вода и яйца приобрели окончательные размеры. Отваренные яйца откидываем на дуршлаг и промываем кипятком. Далее жарим в масле вместе с репчатым луком и специями (кориандр, зира, чабрец, черный перец и др. по выбору) – очень вкусно. Жареные яйца прекрасно сочетаются с основным белым соусом. Можно использовать их и во всех блюдах вместо почек или по рецептам аналогично блюдам из почек. Яйца не имеют характерного запаха, как почки, и предварительное легкое отваривание полностью устраняет не вполне желаемые ароматы.

Это блюдо подается под занавес второй перемены, а до него, между советской увертюрой и бравурным испанистым финалом, рекомендуется отметить проявившиеся в то время таланты юбиляра поэтическим интермеццо. Мы имеем в виду *крутые*⁹ *яйца* (в данном случае куриные), фаршированные икрой¹⁰. Икринки, в каждой из которых, несмотря на малый размер, кроется целый мир, символизируют любимую форму стихосложения ЛПИГа, известную под названием «гарик», – коротко и емко.

Желтки порезать и разложить по периметру блюда¹¹. Сопровождают это блюдо пошированные перепелиные¹² яйца в белом соусе. Напиток, разумеется, водка. Водок разнообразных сегодня много, и почти все хорошие. И все же мы, за ради красоты концепции, остановились бы на русских. На традиционной «Московской», скажем. Любителям изысканной кулинарной гармонии и пуристам рекомендуется проложить ее дешевым портвейном и прополировать пивом.

Рассуждать следует об определяющей роли отрочества в жизни человека, предаваться воспоминаниям о шалостях молодости и, цитируя соответствующие стихи ЛПИГа, строить куры соседке по столу.

⁸ Во-первых, потому что у ЛПИГа они есть, и большие (мы, разумеется, имеем в виду метафорический аспект, ибо в исподнее ему не заглядывали).

⁹ Яйца крутые, потому что юбиляр – крутой мужик, а также потому, что иначе их не нафаршировать.

¹⁰ Если красной – намек на время, если черной – на качество.

¹¹ Как напоминание о золотой медали, с которой ЛПИГ закончил школу.

¹² Во-первых, перепелка – она птица и порхает. В те годы юбиляр тоже много порхал. Во-вторых, как известно, перепелиные яйца – афродизиаки и весьма способствуют потенции. В те годы ЛПИГ в них совершенно не нуждался... Сегодня же они служат нам напоминанием нам о силах и возможностях юных лет... Метафоричность белого соуса не требует пояснений.

ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (ЗАКУСКИ)

Главным событием этого десятилетия (если не всей жизни ЛПИГа) следует считать его женитьбу (со всякими вытекающими из этого акта последствиями – мы, в частности, имеем в виду детей) на Татьяне Либединской. Придумать блюдо, хоть в какой то мере соответствующее натуре и характеру избраннице и музе ЛПИГа, крайне трудно. Как ни вертись, а какая-нибудь черта, какой-нибудь оттенок непременно останется за гранью, образно говоря, кастрюли. Наиболее простым и естественным решением будет салат.

Итак, картофель, который отобразит природный демократизм супруги юбиляра. Затем грилеванная спаржа¹³. Яйца¹⁴. Лук¹⁵. Маринованные опята¹⁶. Немного петрушки¹⁷. Соус¹⁸. Горькие ингредиенты (горчица) смешаем со сладкими (мед), добавим кислые (лимон) и все примирим олеем – оливковым маслом... Сопровождает салат лучшее белое вино, какое можно достать. Чтоб не ломать голову, рекомендуем Шабли, оно никогда не подводит.

В беседе рекомендуется отмечать радости супружеской жизни, благородство и достоинства своих лучших половин, вспоминать декабристов, Софью Ковалевскую, Клару Цеткин, Марину Цветаеву и Ципи Ливни.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (ЗАКУСКИ)

В эти годы ЛПИГ, играя, с одной стороны, роль респектабельного совписа и издаваясь в официальной печати, с другой – широко публикуется в самиздате и принимает участие в выпуске подпольного журнала «Евреи в СССР». Этой сложной и многослойной, можно сказать, многоэтажной жизни ничто не подойдет более, чем своего рода *кулебяка*.

Для начала отвариваем спагетти до состояния, когда их можно согнуть, а точнее, сплести, и, смазав яйцом, сплетем из них решетку¹⁹. Этой решеткой выстилаем дно и стенки предварительно смазанной маслом чуда²⁰. Покрываем слоем недоваренной гречневой каши²¹.

¹³ Спаржа – овощ аристократический (Татьяна Губерман – аристократка в истинном смысле этого слова), а грилеванная, потому что испытания были, и все их Тата выдержала с честью.

¹⁴ У Таты их побольше, чем у иного мужика.

¹⁵ Немало слез она пролила, беспокоясь за своего супруга.

¹⁶ Тата происходит из большой разветвленной семьи, да и ее собственные потомки плодятся и размножаются исключительно успешно.

¹⁷ Помимо вкуса, с древних времен символизирует силу характера и упорство.

¹⁸ В жизни Таты было много всего – и радость, и боль, а впрочем, у кого по-другому?..

¹⁹ Намек на СССР в целом и на ожидающие юбиляра последствия его вольности, отваги и безрассудства. Кроме того, из пасты – лапши, запеченной с яйцом и другими ингредиентами, – делается культовое еврейское блюдо – кугель.

²⁰ Намек на самого ЛПИГа.

²¹ Лучше каши ничто не способно символизировать русский язык, который до появления юбиляра был, так сказать, не вполне доварен.

Прокладываем слоем спагетти вместе с неочищенным чесноком²². Ставим в духовку. Покуда содержимое запекается, отвариваем (теперь до полной готовности) еще одну порцию спагетти, тонко нарезаем шляпки мелких боровичков²³ и маринуем их (минут 10, не больше) в оливковом масле с каплей хорошего бальзамического²⁴ уксуса²⁵. Посыпаем ими верхний слой кулебяки, закрываем плетенкой из хорошо отваренных смазанных яйцом спагетти и ставим в духовку минут на 10, затем выкладываем на плетенку куриные печенки; солим, перчим и, слегка смазав малиновым сиропом, возвращаем в духовку минут на 5-7, пока из печенки не начнет выступать кровь²⁶.

ПЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (СУП)

Главным событием этого этапа была, разумеется, посадка ЛПИГа, и ничто не может символизировать ее лучше, чем *баланда*.

Для нее можно использовать любые подручные травы, как то: крапива, лебеда, черемша и т. п. Хорошо положить розмарина, он даст хороший хвойный оттенок. Если кто не в силах такое есть, пусть спросит себя, а как подобное ел ЛПИГ?.. Можно, конечно, до травы кинуть в воду пару костей или голяшку, но это, сами понимаете, компромисс – понятие, абсолютно несвойственное юбиляру. Баланду следует изрядно поперчить²⁷, но и лавровый лист²⁸ не забыть. Заправить сметаной²⁹. В тарелку положить одинокий пельмень – он отобразит одиночество и самодостаточность ЛПИГа. А если кто хочет положить много пельменей, пусть кладет, но тогда они будут символизировать краденые иконы³⁰ (особливо если пельмени предварительно обжарить с луком, чтобы они приобрели золотисто-окладочный оттенок). Выпивать, конечно же, водку. «Пять Озер», поскольку сибирская. Особо творческие и поэтические натуры могут угоститься чифирем или даже сделать коктейль «Далеко от Москвы». Рецепт простой: 50% водки, 50% чифирия. Настоять на кедровых орешках.

Беседовать рекомендуется о чувстве собственного достоинства, мужестве, легкомыслии, природе власти, превратностях судьбы и прочих подобающих блюду предметах.

²² Символ журнала «Евреи в СССР».

²³ Боровики, будучи символом качества, являются метафорой поэзии ЛПИГа, а также, поскольку у индивидуальных грибов нет имен, тогдашней анонимности стихов, ставших частью российского фольклора.

²⁴ Намек на вечность ЛПИГовых стихов.

²⁵ Намек на ироничность, язвительность и отчасти остроумие.

²⁶ Печенка, во-первых, символизирует печенку ЛПИГа, который подобно Прометею принес людям свет и которую уязвляли власти; с другой стороны, символизирует сами власти, у которых этот ЛПИГ давно в печенках сидел, короче, печенка очень полезный, емкий и удобный ингредиент. Малиновый же сироп, будучи красным, цветом символизирует сами понимаете что, а ароматом – благоуханность творчества ЛПИГа.

²⁷ Как ни крути, а этот жизненный опыт был изрядно горек.

²⁸ Слава, и даже международная, в этот период уже осенила чело юбиляра.

²⁹ В те годы в густых волосах ЛПИГа появились первые седые нити...

³⁰ Скупку которых ГБ приписало нашему герою, дабы свергнуть его в узилище.

ШЕСТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (ОСНОВНОЕ БЛЮДО)

Главным событием десятилетия бесспорно следует считать переезд в Израиль. Конечно, можно предложить фаршированную рыбу – богатейший символ! – но ЛПИГ не любит рыбу. Средиземноморский овощной салат – но юбиляр не ест зеленого (что можно принять за исламофобию, но это не так). Пойти по пуги хумуса и фалафеля слишком прямолинейно, а в гастрономическом плане, после всего съеденного ранее, неуместно. Поэтому – *мясо, тушенное в вине*. Блюдо матерое, насыщенное богатыми обертнами, еда зрелого достойного мужа.

На 1/3 мяса бычьего плеча берем 2/3 грудинки, режем на порционные куски и слегка обжариваем. В образовавшемся жире обжариваем морковь и корни петрушки и сельдерея³¹. Все это маринуем в красном вине, скажем, в дальтоновской «Барбере» или в асифовой «Сира» (не слишком дорого и очень прилично). Жарим много лука, добавляем мясо и овощи, соль, лавры, перец, заливаем вином и ставим на ночь в духовку на маленький огонь, подобно тому, как готовим субботний чолнт, а что есть поэт, ежели не наша с вами Суббота?! Поутру добавляется картошка. Начинать трапезничать рекомендуется с утра (не забывайте любимую ЛПИГом народную мудрость: с утра выпил – весь день свободен). Так что когда покончите с супчиком, и картошка дойдет. Напиток – легкое, благородное вино, типа *Nobile di Montepulciano*. Однако в соответствии с темой рекомендуются израильские вина, такие как йорденовский «Пино Нуар» или дальтоновский «Зинфандель».

Тема беседы – сионизм, общая философия, воспоминания о славном прошлом, прославление великих героев борьбы за еврейское дело, таких как Витя и Ира Браиловские и Арьюша Хнох.

СЕДЬМОЙ ДЕСЯТОК (ДЕСЕРТ)

Это годы славы, годы безусловного признания, годы гастролей по разным странам мира, годы, наполненные разнообразными, в том числе гастрономическими впечатлениями. Ничто не может представить эту тему лучше, чем *сыры*, начиная от швейцарского «Грюера», итальянской «Горгонзолы», испанского «Манчего», французского «Рокфора» и кончая не столь знаменитыми, но прекрасными голландскими, баскскими, норвежскими или германскими сырами, такими, например, как швабская «Жопка». Не забудем и израильские, особенно козий и овечьи сыры.

Рекомендуется поставить на стол виноград, груши, свежий инжир. И, конечно же, озаботиться хорошим хлебом и маслом. Сопровождать сырную фиесту должны разнообразные, в том числе белые десертные вина и хорошие старые порто.

Здесь уместно обмениваться впечатлениями от разнообразных иностранных мест, говорить об искусствах и книгах. Ни слова о политике!!!

³¹ По силе своей, упрямству, мужеству вполне можем уподобить юбиляра быку; грудинка же – мегафора груди, в которой бьется обнаженное, кровотокащее сердце поэта. Лук – переживания и испытания, морковь – фаллический символ. Корнеплоды неразрывная связь с языком (русским) – петрушка, а с народом (русским и еврейским) – сельдерей (почему, сказать не можем, но чувствуем отчетливо).

ВОСЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

За плечами 3/4 века, а впереди... хер знает, что там впереди, хотя предположить можно: радости от детей и внуков, новые путешествия и новые книги. Человек, сколько бы лет ему ни исполнялось, несет в себе приметы того возраста, когда вся его сущность проявляется с наибольшей полнотой, и в этом смысле юбиляру никак не более 16-ти, а может, и всего 14... Весьма молодой человек с многообещающим будущим. И мечта этого юноши – хоть однажды попробовать блюдо, называющееся дивно звучащим и не очень понятным ему словом *бланманже*. Собственно, в дословном переводе с французского это попросту «белая еда». Но, согласитесь, белая еда – это одно, а бланманже – совсем другое. А потому:

Кокос – 1шт. Уж и неловко повторять, юбиляр крепок, как этот плод, и так же, как сей орех, таит в себе живительную влагу (мы имеем в виду творчество, а вовсе не... ну, в общем, вы поняли...). 3 пассифлоры. Она в переводе с английского значит «фрукт страстей» – а юбиляр так страстен, так страстен, что только держись! Сливки – 250 г. Здесь симпатичная молочная параллель: младенчество – золотой возраст. Желатин (8 листиков)³². Мед – 80 г³³. Одно манго – сей фрукт и экзотичен, и благоуханен, ну – чистый ЛПИГ. 2 ст. л. сахара – тут тоже понятно: сладость стилия. 2 ст. л. белого рома³⁴. Мелисса лимонная и 1/4 ч. л. кардамона добавляют иронию и сарказм, не дающие бланманже скатиться в пропасть сентиментальности. Мякоть кокоса растереть с его же молоком (той самой жидкостью, которую мы так красиво назвали живительной влагой) до пюреобразной консистенции. Добавить мед и кардамон, растереть и оставить на ночь в холодильнике³⁵. Убедившись, что все в порядке, процедить через марлю и отжать, оставшуюся сухую массу безжалостно (в порядке необходимой саморедактуры) выкинуть. Желатин сбрызнуть водой и распустить на водяной бане. Добавить (аккуратно, по ложечке) ту самую отжатую субстанцию, а также пассифлору. Взбить сливки, смешать с субстанцией и разлить по хорошеньким посудинкам. Поставить в холодильник часа на четыре. Приготовить из манго, сахара и рома пюре, распределить по тарелкам и на пюре выложить застывшую субстанцию, воткнув в нее листик мелиссы. Вуаля!! К этому десерту рекомендуются наилучшие коньяки, виски Single malt и ликеры. Что именно и в какой последовательности, не суть важно: все уже и без того изрядно накушались.

В беседе естественны восторги и многая лета в адрес юбиляра и другие приятные сердцу собутыльников темы.

Банзай!

³² Желатин мы уподобим поэзии – клею, который пронизывает и сохраняет весь состав этой столь противоречивой и разнообразной природы. А листиков 8, потому что восьмой десяток.

³³ Как пчелка, всю свою жизнь неутомимо трудится ЛПИГ, собирая пыльцу с полей жизни и цветов литературы, и все это перерабатывает в густой, ароматный, уникального вкуса мед своей поэзии и прозы. С цифрой – понятно.

³⁴ Ром – это, конечно, романтика! Как раз та, столь важная, если не основная черта ЛПИГа, которая осталась неотмеченной, и мы счастливы, что она наконец-то находит свое воплощение, причем в его любимом блюде.

³⁵ Прежде чем обнародовать свои произведения, всегда имеет смысл дать им отлежаться, чтобы поутру поглядеть на них свежим глазом, поди знай...

Игорь Иртеньев
НАЮБИЛЕЙНОЕ

Многолетний юзер алкоголя,
Боевого секса ветеран,
Славная тебе досталась доля,
Достославный друг мой Губерман.

Двух народов ты любовью греем,
Или согреваем, что верней,
Будучи потомственным евреем,
Ты для русских – Пушкин наших дней.

Что тебе сказать, мой старший тёзка,
Всенародно признанный пиит,
Нашей жизни катится повозка,
Хоть при этом гнётся и скрипит.

Сил, тебе, здоровья и успехов,
Долгих лет и острого пера!
Тыщи верст в повозке той проехав,
Тыщи строк ты выдал на-гора.

Так подольше ей скрипеть и гнуться,
Немощи завистливой назло,
Ведь с повозки этой наебнуться
Нам покамест время не пришло.

И покуда русский мат могучий
Вольным ветром в гариках сквозит,
Этот самый медицинский случай
Нам с тобой, Мироныч, не грозит.

Светлана Аксенова-Штейнград

У ДУШИ ВОЗРАСТА НЕТ

В мой день рождения я была за всё в ответе. Если бы я не была знакома с Аллой Айзеншарф, эти строки показались бы мне несколько выпрорванными. Ну как может человек, едва родившись, быть за все в ответе? Но для Аллы – это абсолютно естественное состояние души. Еще маленькой девочкой она догадалась: человек получает в свой день рождения нечто очень важное, что ведет его по жизни, определяет его судьбу. Она чувствовала присутствие Бога, еще не зная, как объяснить это. Да и сегодня – возможно ли объяснить? Ведь само слово «Бог» – условно, каждый наполняет его своим содержанием, но безусловен внутренний свет души, частица Вселенского света, давшего жизнь всему и всем. Внутренний свет и есть, на мой взгляд, подлинная вера, которая делает осмысленными все наши поиски, поступки, мысли, чувства, желания. Для Аллы это не метафора: когда она внимательно смотрит на тебя своими ясными голубыми глазами, невозможно представить, что они последние годы почти не видят. Потому что она вас видит – и как вы одеты, и как улыбаетесь, и как чувствуете себя. И читает... чуткими пальцами рук. И когда Алла идет – высокая, статная, с длинной старомодной косой, пространство покрывается ей – будь то маленькое пространство заставленной мебелью комнаты, опасное пространство улицы с ее машинами и пешеходами или приветливо-прохладное пространство берега моря. Она чем-то похожа на пожилую Анну Ахматову – горделивой осанкой, аристократической простотой, едва уловимой одышкой, да и чертами лица.

Она родилась в 1936 году на Украине, в городе Немирове. Родилась 6 июня, в день рождения Пушкина. И единственного сына Руслана подарила самой себе тоже 6 июня. Вот такие совпадения, такие знаки судьбы. А судьба бывала жестокой, подчас немилосердной...

ВОЙНА

*В доме не было дверей.
в доме не было людей,
крыши не было на нём,
это был убитый дом,
с белой чашкой на полу,
с синим бантиком в углу.
Только птицы во все стороны
вылетали в дыры чёрные...*

Эти гениальные, не побоюсь высокого слова, строчки сочинила шестилетняя девочка, когда война отобрала у нее – дом, детство,

Редакция ИЖа сердечно поздравляет Аллу Айзеншарф со славным юбилеем
Многая лета, стихи и книги!

родителей, когда не осталось ничего. Как ничего?! Осталось самое главное – душа, по-детски наивная и не по-детски мудрая, помогающая истощенному, маленькому, продрогшему от голода, холода телу выжить. И не просто выжить, а сохранить свет. Какие удивительно точные образы, детали, эпитеты!

– Мы жили на главной улице Немирова. Это небольшой городок, и его центром был Дом отдыха. Вся жизнь вертелась вокруг него. А наш дом – совсем недалеко. Мама научила меня читать и писать на идиш. Она преподавала в еврейском детском доме – после революции, погромов было много сирот. А папа работал на спиртзаводе бухгалтером. Сейчас этот завод стал знаменитым – всюду реклама Немировской водки... Папа был красивый, высокий, с голубыми глазами и волнистыми густыми волосами. Очень любил, баловал нас с сестричкой Мэрочкой (она старше меня на четыре с половиной года). Папа был разносторонне талантливым человеком. Писал пьесы, которые ставили в городском театре. И еще он владел моментальным гипнозом. У нас была веранда большая, там всегда сидели люди, ждали папу. Он лечил, абсолютно бескорыстно – радикулит, мигрень и так далее. А иногда к нему обращались со сложными психологическими проблемами...

Когда началась война, папу на фронт не взяли, у него был тяжелый ревматизм: болели суставы, сердце. Стали прибывать беженцы из оккупированных мест. На заводе, где папа работал, дали лошадей. Мама погрузила на подводу два мешка, которые казались мне огромными. Мы выехали, но почти не продвигались: дорога была забита, немцы бомбили беспрерывно. И родители вынуждены были вернуться. Городское начальство, в том числе из Дома отдыха, удрали со своими семьями на автобусах. А город остался. Еврейский детский дом, где мама преподавала, не эвакуировали. Запомнила, как солдаты нашей отступающей армии рубили деревья в парке, я очень жалела эти срубленные деревья, плакала и просила маму, чтобы она объяснила: деревья нельзя рубить! Армейские колонны все шли и шли, старшие дети цеплялись за борта машин, их скидывали... В трех километрах от нас была железнодорожная станция, которую немцы бомбили. Самолеты летели низко над домом, нас с Мэрочкой унесли в погреб. Потом все стихло, и мы вышли. Стекла на веранде были в мелких дырочках. И я сказала: «Сколько солнышек!» А папа ответил: «Это не солнышки, а следы от пуль». Пришли немцы, и вскоре евреев (а нас в Немирове было больше 10 тысяч) отправили в гетто: две улицы на окраине обнесли колючей проволокой и всех вткнули туда. Нам досталась каморка в крайнем доме.

Папу убили 24 ноября 1941 года – во время первой акции в гетто, которая началась в шесть утра и закончилась в три дня. Поскольку наш дом стоял на отшибе, к нам пришли не сразу, но на рассвете мы услышали крики, стрельбу. Евреев сгоняли в театр и расстреливали. У нас в комнатке была широкая кровать из досок, покрытых одеялом. Оно свисало до самого пола. А наверху – перина. Родители затолкали нас под эту кровать, а потом папа и маму успел там спрятать. Ворвались немцы. Они перебили все в комнате. Рядом с кроватью стоял столик, покрытый клеенкой. Они клеенку разрезали, вспороли перину

на кровати, а под кровать, закрытую одеялом, не заглянули. Когда папу уводили, он сказал, как бы ни к кому не обращаясь: «Прощайте, Танюся и детки, я вас никогда не увижу». Выстрелы, крики продолжались, и мы лежали под кроватью – немцы могли вернуться в любой момент. Было очень холодно – ноябрь, окна выбиты. Когда все стихло, мама вышла. Она знала, что в соседнем доме есть погреб, где прячутся люди. Они закрыли люк и убрали лестницу. Мама постучала. Вначале они думали, что это немцы, и не отвечали. Наконец, услышали ее голос и открыли люк. Мама пришла за нами, взяла первую меня (я с краю лежала), принесла туда, попросила подхватить меня и бросила. Но меня не успели поймать, я упала и на всю жизнь осталась с порванными на ногах связками. А Мэрочку уже поймали, потом мама спустилась сама, и мы там прятались в полной темноте. Всех, кто не успел спрятаться, убили. В Немирове есть кладбище, где два больших захоронения: одно – для взрослых, другое – для детей. На детей даже нуль не тратили, бросали в яму и закапывали живыми...

Когда облавы прекратились, мы вышли. Мама была здоровая женщина, высокая, красивая, с тяжелой косой. Ее уводили на работу, а мы оставались одни... 2 мая к гетто подъехали машины. Помню, еще лежал снег. Взрослых загоняли в кузов, а детей брали за руки и за ноги и закидывали туда. Всех увезли в концлагерь. Он находился в бывшей школе Брацлава, где построили нары в три этажа. Приезжали эсэсовцы, выстраивали шеренги и забирали детей. В первый раз Мэрочку не заметили – она лежала на нарах, закрытая разными тряпками, а меня мама брала с собой, потому что я не могла долго ходить сама. Мама стояла крайняя и отшивырнула меня. Но она понимала, что нас все равно убьют. И придумала, как нас вывезти из концлагеря. В Немиров ездила машина. Среди рабочих, которые загружали мешки с продуктами, были женщины. Мама договорилась с кем-то, и нас спрятали в кузове среди мешков, отвезли в Немиров, а потом привели к маминому брату в гетто. Мама не знала, что в гетто оставили совсем немного людей – для работы. Всех остальных убили, в том числе жену дяди. В гетто был жуткий голод, и дядя в отчаянье собрал наши пожитки и повел нас в концлагерь в Немирове. Там на воротах часовым был венгр. Он сказал нашему дяде: «Ты старый, и я вынужден тебя принять в концлагерь, а этих девочек – куда ты привел?» И отшивырнул нас. В это время мимо проходила тетя Поля, которая хорошо знала моих родителей. И она нас увела. Дома выкупала, повязала наши головы белыми косыночками. И велела не признаваться никому, что мы еврейки. Кормить нас было нечем, брать к себе домой она боялась, но разрешила тайком приходить иногда на сеновал. Мы скитались, побирались, ночевали где придется. Это продолжалось больше трех месяцев. Муж тети Поли был сапожником, и когда он узнавал, что будет облава, находил нас и прятал. Их дом был последним, а дальше пустырь, где он вырыл яму. Он приводил нас туда, мы прятались в этой яме, сверху он накрывал ее лопухами, ветками. Во время облавы мы сидели там тихо-тихо. Немцы искали евреев с овчарками, но пустырь был запущенный, поросший сорняками, колючками, через которые собаки не могли продраться, да и немцы туда не шли.

Вот тогда Алла стала шептать первые строчки. И повторять их про себя – чтобы не забыть. Конечно, запомнила далеко не все. Она не называла их стихами, не понимала, откуда они берутся, но когда строчки приходили, не могла ни успокоиться, ни заснуть, пока не получалось так, чтобы понравилось. Обувь уже не было, сестрички ходили босиком, Алла, сочиняя, ногой отбивала ритм. Возникшая на ноге трещина превратилась в незаживающий нарыв. «Это были такие физические муки творчества», – грустно улыбается Алла.

*В лопухи завёрнутый, лежал
целый хлеб, опухший от дождя.
Целый хлеб! Его мы ели, ели,
ели, ели – больше не хотели.
Мы потом увидели, потом
Мёртвую с раскрытым настезь ртом.*

Маленькая девочка и не подозревает, что любой состоявшийся поэт многое бы отдал за эту метафору: хлеб, опухший от дождя. Она даже не знает, что такое метафора...

*На луже бабочка лежала.
Лежала вся и не дышала.
Я под неё ладошку сунула
И подняла, в лицо поддувала,
Рукой махала. Я хотела,
Чтоб улетела.
А немец, он в тени сидел,
Смотрел сюда, смотрел, смотрел,
И подошёл, и сел на корточки,
И он не страшный был нисколько.
А может, просто он забыл,
Что немцем был.*

Она до сих пор помнит его лицо – молодое, круглое, в симпатичных рыжих веснушках. Удивительно, как ребенок, уже знавший, что немцы несут смерть и разрушение, мог не озлобиться, чутким своим сердцем увидеть непохожего на остальных, *другого* немца... Как маленькая девочка из благополучной семьи, оказавшись в нечеловеческих условиях, могла сохранить надежду?

– Я думала о маме, что мама обязательно нас найдет. И еще – чувствовала, что меня охраняет та женщина, которая привиделась до войны. Наш двор, весь в цветах, а между ними – дорожка. Я споткнулась на этой дорожке и плюхнулась лицом на плитку. Лицо было залито кровью и сильно болело. Папа занес меня домой, стал отмывать, успокаивать. Взрослые спрашивали, что я хочу, а я от боли не могла говорить. И тут появилась она – высокая, красивая, в белом длинном платье. Подошла ко мне и прошептала: «Ничего. Это пройдет. Не бойся. Ты будешь жить, и когда будет очень плохо, я к тебе приду». И исчезла. Мне стало легче. Я слышала и видела ее очень четко, но поняла, что другие – нет... И никому ничего не сказала. С детства знала, что не такая, как все. И стеснялась этого, и скрыва-

ла. Когда мы скитались, я чувствовала, что она есть и спасет нас с Мэрочкой... Во время войны я видела ее явственно еще несколько раз.

Слушаю Аллу и думаю, что душу ее прежде всего спасал другой удивительный дар – полного единения с природой, ощущения, что и мышонок, и бездомная рыжая кошка с котятами, и улитка, и цветок, и дом, и даже раненая кукла – все, все, что окружает – живое, настоящее, чувствующее любовь и боль, как и она. И мир не безнадежен, даже когда беспощаден, потому что можно заглянуть в глаза цветов, и тогда:

*А если долго им в глаза смотреть,
я начинаю над землей лететь.*

Алла записала эти стихи лишь в двенадцать лет. Но, даже став взрослой, долго не хотела публиковать. Книга вышла в Ашкелоне в 2007 году. В предисловии Леонид Финкель пишет: «Ад имеет не только вход, но и выход. Читая стихи Аллы, веришь, что мир возвратится к своему изначально чистому состоянию, ибо он сохранялся даже в аду концлагерей».

– Мэрочка была моей второй мамой. Ее хотели в деревню забрать, чтобы она ухаживала за скотом, жила сытно. А я никому не нужна была, почти все время лежала. Мэрочка меня не оставила, ухаживала за мной, таскала на спине... Однажды нас кто-то выдал. Когда мы ночью лежали на сеновале, маму взяли из лагеря, и немец с полицаем привели ее в дом, где нас прятали. Нас решили расстрелять. Была сильная непогода, и немец ушел, зная, что полицай справится с беззащитными людьми. Но Анна – женщина, у которой мы прятались, – стала рыться в комод, нашла какие-то деньги и протянула полицая. Тот сказал: «Мало!» И Анна пошла ночью по селу собирать деньги. Откупились от него. Он пострелял в воздух, чтобы немцы услышали, и ушел. Мама забрала нас в лагерь, но, понимая, что всех детей уничтожат, решила на отчаянный шаг. Она подошла к Митьке, полицая, который нас не расстрелял, и сказала: «Ты нам однажды помог, помоги еще раз. Нужны украинские документы для меня и детей, я хочу удрать из лагеря». Дала ему часики, что-то еще, и он вскоре принес документы. Мы бежали ночью, группой в семь человек, которая концентрировалась в доме у немца, десятника работ. Его звали Фриц. Он был пожилым человеком. Мама рассказывала после войны, что он говорил: «Если бы Гитлер и Сталин висели на одной веревке, я бы был у себя дома, а вы – у себя». Он спас несколько групп евреев – приводил к себе. Нас искали везде, но кому придет в голову искать у Фрица? Потом, когда все утихло, мы вышли ночью, разбились на две группы. У нас был проводник Яшка, еврей. Молодой паренек. Он переводил из концлагеря в гетто – в Бершадь. В этом гетто были румынские евреи из города Ясы, что в 300 километрах от Бершади. Тех евреев, которые добирались до Бершади, немцы разрешали не убивать. Охранниками там были и немцы, и румыны. Украинские документы нам нужны были, чтобы добраться до гетто – это 75 километров от нашего концлагеря. Ноги немножко зажили, и часть дороги я шла сама, а часть – мама несла меня на руках. На хуторе заночевали, пришел полицай брать лошадей у хозяйки и спросил: «А это случайно не жида у тебя ночуют?» Та ответила: «Не, я проверила документы, они украинцы». Так мы добрались до Бершади. Внутри гетто было под-

полье, кто-то тайком даже умудрялся слушать радио из Москвы. Мама была связной – передавала сводки в партизанский отряд.

Прошло года полтора... В 1944 году приближалась Красная армия, и немцы сожгли соседнее гетто. Когда нас освободили, мы пошли вслед за Красной армией. Помню не только раненых людей, но и лошадей, и коров. Мы двигались за фронтом – иногда пешком, иногда на машине. Нас кормили кашей, хлебом. Наконец, добрались до города. Его совершенно разбомбили, но наш дом уцелел...

МИР

*А лампочка сияла в полнакала
с необъяснимо белой высоты.
Учительница горестно вздыхала –
я рисовала черные цветы,
а больше ничего не рисовала.
На всех уроках – чёрные цветы.*

Эти строки Алла напишет спустя много лет. Так выходила из души война – черными цветами. В школу она ходила редко, больше занималась дома, поскольку все время болела: обнаружили открытую форму туберкулеза, с кавернами, да еще ревматизм. В 1947 году они переехали в Бендеры, где жил брат матери с семьей. Мать, как и до войны, стала работать в детском доме. Мэра училась в школе, а Алла – дома.

– Я была доходяга, длинная, с тонюсенькими руками и ногами. Мама подрабатывала шитьем. Помню, приходили заказчицы и говорили, не стеснясь: «Вот старшая у Вас – красавица, а эта... жалко девочку». Когда у меня выделялись туберкулезные палочки, я лежала в больнице, иногда по полгода. Мама и Мэрочка терли морковь, яблоки. Тогда появился стрептомицин, но его невозможно было достать. В шестом классе я перешла в вечернюю школу. Но закончила ее только в 22 года, поскольку подолгу лежала в больницах. Зато очень много читала. Долгие годы я фактически была выброшена из общества, и вся моя жизнь, особенно в Немирове, проходила во дворе, среди травы, больших лопухов, бабочек, стрекоз, разных букашек. Там же, во дворе, была огромная противопожарная бочка, всегда наполненная водой. Когда мне бывало грустно, обидно, одиноко, я уходила туда и представляла: этот лягушонок – такой-то персонаж, эта стрекоза – такой-то. И только с ними мне было хорошо. Я маме благодарна на 200 процентов: она нас спасла во время войны и потом всю жизнь нам отдавала. Но я выросла в суровой скромности... У меня были длинные, тяжелые косы, и вот однажды я отрезала себе челку. Мама с осуждением сказала: «Ты что, ты мальчикам хочешь нравиться?» А мне уже было 15 лет. Меня любили, но какой-то строгой любовью. А там, во дворе, за бочкой, начинался мой мир. Приходила собачка с покалеченной лапкой, больные кошки. И тогда я обращалась к папе: «Папа, помоги мне, ты же умеешь!» Кляла руку на больное место, животные понимали, что я их лечу, и передавали друг другу что-то обо мне – приходили совсем незнакомые кошечки, собачки. И до сих пор приходят, приползают, прилетают – на четвертый этаж.

И до сих пор Алла разговаривает – с животными и растениями, с небом и морем, с дождем и ветром.

*Старый мой кактус
крысы подгрызли.
Лежит на боку
и вспоротым сердцем
плачет.*

К стихам Алла вернулась лет в тринадцать. Пришла в литобъединение при газете. Однажды из Кишинева приехал известный поэт Кирилл Ковальджи. Он послушал всех и сказал руководителю литобъединения: «Я хочу, чтобы эта девочка приехала в Союз писателей».

– Я была так взволнована, когда читала стихи на литобъединении, что лицо его помнила смутно. Приехала в Кишинев, пришла в Союз писателей. А там так жутко накурено – из всех кабинетов дым валл. Подошел какой-то человек и спросил, к кому я. Ответила, что к Кириллу Ковальджи. Он улыбнулся, завел в кабинет, предложил снять пальто и сказал: «Я сейчас Кирилла позову». И вышел. На улице холодина была страшная, и я подошла к печке (еще было печное отопление) погреть озябшие руки. Через какое-то время этот же человек зашел с улыбкой, протянул руку и представился: «Кирилл Ковальджи». Мы с ним замечательно поговорили, и с тех пор общались не раз, виделись на разных литературных совещаниях, фестивалях.

Алла пишет короткие стихи. Некоторые из них своей мудрой лаконичностью похожи на японские хокку. В одной из книг они объединены в раздел «Лепестки».

*Белый вьюнок
к замшелому камню прижался
в детской печали.*

*Стебель
На крыше пророс.
Сирота на ветру.*

*Что-то вспомнила вдруг воробьяха,
и сразу вспорхнула,
и корочку хлеба
с собой унесла.*

– Я поняла тогда, в детстве, что это – мое. Что в этом мире я желанная, сильная, многое могу. После школы пошла в медицинское училище. Несколько лет после его окончания работала в Бендерах. Я понимала, что могу помочь людям не только медикаментами. Однажды зашла к хирургу и почувствовала, что у нее дико болит голова. И сказала: «Хотите, избавлю вас от головной боли?» В те годы боялись т а к о е говорить! Но она почему-то поверила и попросила медсестру выйти... Смотрю, ее глаза светлеют, боль прошла. Я не могу объяснить, как это получается. Но последовательность такая: сначала нужно расслабиться, потом собраться, растереть руки. Потом начинаю руками водить вдоль тела. После этого подставляю руки под воду и стою пару минут. Без воды у меня не получится. И когда воз-

вращаюсь к человеку, я уже про него многое знаю. Я не вижу отдельно органы, хотя хорошо знаю анатомию, но чувствую проблемы. И знаю, как помочь человеку. Больные меня любили. У нас была амнистия, а почти все сидевшие в тюрьме были больны туберкулезом. Целую камеру отправили к нам на лечение. Там рецидивисты, у них убийства, у некоторых не по одному. Врачи боялись зайти в палату. А мы по суткам дежурили. И врачи ждали, когда будет моя смена, чтобы вместе сделать обход. У меня перед ними страха не было, и никто никогда даже словом грубым не обидел. Как-то залетела в палату летучая мышь. Я захожу к ним утром температуру измерить, смотрю, раковина накрыта каким-то стеклом. А под ним бьется эта несчастная. И все лежат, закрывшись одеялами с головой. Это они-то боялись летучей мыши! Я отодвинула стекло, взяла ее в руки и выпустила в окно...

СИБИРЬ

*Мне суждена такая сила,
такая боль мне суждена.
Иначе как бы я спросила,
зачем мне эти времена?*

Сила и боль. Сила, вырастающая из боли, преодолевающая боль. У Аллы – нежной, лиричной, доброй ко всему живому – очень сильная воля. И бесстрашие. Да это само собой разумеется – иначе немислимо было бы выйти из войны, беды, болезни и остаться романтической девушкой, мечтающей уехать далеко-далеко.

– Я приехала в Сибирь в 1961 году. Долго добивалась комсомольской путевки, писала в ЦК комсомола. Меня тянуло в Сибирь, в тайгу, я видела перед глазами домик под огромными соснами, заваленный снегом... И я лечу людей. Так и вышло. Приехала в Бискампжу, что в Аскидском районе Красноярского края. Этот район больше, чем весь Израиль. Оттуда все медики разбегались: продуктов нет, стройка отодвинулась, зарплата нищенская. Пришла в медпункт. Это был маленький домик, в комнатке, на столе – кусок разбитого стекла, а под ним лекарства и записочки: «Ат живота, ат головы, ат спины». Приходилось делать все – и лечить, и раны зашивать, и принимать роды. При огромном дефиците самых элементарных лекарств. Зима, сибирские морозы. Тракторист решил, что лед крепкий и можно переехать речку. Он провалился вместе с трактором. Выбрался обледеневший и остался лежать на льду – подняться сил уже не было. Когда его обнаружили и привезли на санях в медпункт, он был абсолютно черный, без сознания, даже зрачки не реагировали. Я подумала: а если попробую? Спроса с меня никакого уже не будет, а вдруг удастся спасти. У меня был спирт. И шприц. Села возле него: давление очень низкое, пульс едва прощупывался, долго пришлось искать вену. Наконец, нашла и по капельке стала вводить этот спирт внутривенно. Часа полтора вводила. Такое делать, конечно, в обычной ситуации нельзя. Но в тех условиях это был его единственный шанс. Когда он открыл глаза и улыбнулся, у него такая чудесная улыбка оказалась...

Это те мгновения счастья, которые ни с чем не сравнить! Или вот еще одно зимнее воспоминание... Девочка ходила с бабушкой на подледный лов рыбы и провалилась в прорубь. Ее вытащили, но она уже была без сознания, хрипела, температура зашкаливала. А это кержаки, особый народ – здоровый, красивый. Они никого не выпускают в свой мир. Там нельзя было ни прививки делать, ни лекарства давать – ничего! Фельдшер, которая была до меня, настаивала на прививках, так они увезли ее в тайгу, выкинули, и она погибла... Но бабушка этой девочки прибежала ко мне и сказала: «Что хочешь делать, только спаси!» Они жили в пяти километрах от медпункта. Мы побежали. Зашла в дом, и меня охватил ужас: горела тусклая лампадка, вдоль стен комнатки в два этажа – полати, и отовсюду из темноты – только глаза, глаза, глаза лежащих на полатах людей. Слышала их дыхание. Оно казалось мохнатым, темным, они же овчинами укрывались. Меня провели в какую-то конурку, где лежал этот несчастный ребенок. Я сказала, что надо срочно в больницу. Мне пригрозили: если заберу, со мной сделают то же, что с той женщиной-фельдшером. Но я понимала: уйду – девочка погибнет. И сказала: «Хорошо, я приду с милицией». Милиции они боялись. Это – власть, с которой не хотели вступить в конфликт. И согласились, чтобы я вместе с бабушкой забрала девочку в медпункт. Запрягли сани и повезли. Районная больница далеко, девочку в таком тяжелом состоянии нельзя было сразу перевозить. Бабушка сказала: «Я внучку не оставляю, будем вместе ее спасать». Бабушка была потомственной знахаркой, умела лечить, но когда кержаки видели, что человек в безнадежном состоянии, то не разрешали это делать. «Бог дал, Бог взял». А в медпункте бабушка варила отвары из трав, которые взяла с собой. У меня был аспирин, что-то еще. Я звонила в больницу, угрожала: «Если не пришлете лекарства и ребенок умрет, будете отвечать». И они прислали антибиотики, что-то еще. И когда девочке стало немного легче, ее забрали в больницу. Девочка выздоровела, ее бабушка была очень благодарна мне и сказала, что теперь она меня научит своему ремеслу. Пришла весна, и мы пошли в тайгу. Знахарка показывала травы, рассказывала об их целебных свойствах. Садилась на корточки, и она говорила: «Понюхай эту траву и поймешь, годится она или не годится для лечения». Она меня приучала к какому-то звериному чутью: животные ведь находят себе исцеление... Я ездила к больным и в товарных вагонах, и на дрезине, и на мотовозике. Как-то ночью возвращалась на мотовозике с очередного вызова. Отроги Саян. Там был мост над пропастью – только рельсы и шпалы. И тоненькие перила. Машинист ехал дальше в другую сторону, поэтому высадил меня и уехал. У меня в одной руке – чемоданчик с инструментами и медикаментами, другой ухватилась за эти тоненькие перильца. Скользко, все заледенело, а подо мной – пропасть! Я понимала: чуть поскользнусь – и свалюсь туда. И тогда явилась та женщина, из детства, и произнесла: «Идем, идем, не бойся, помнишь меня?» Я полчаса шла по рельсам, медленно переставляя ноги, и уже ничего не боялась. Как это объясняю? Есть вещи, которые рационально трудно объяснить. Существует же понятие: ангел-хранитель. Он

есть у каждого, только не все это чувствуют. Может быть, папа так заботился обо мне, душа его... Это, конечно, явление нематериальное. А материальный образ возник еще в детстве, чтобы я поняла и поверила. На самом деле что-то происходит на уровне подсознания... Однажды приезжаю по вызову на срочные роды. Домик маленький, мальчик лет двенадцати. А муж пьяный вдрызг: «Доктор, моя баба рождает. Я хочу второго сына, только попробуй мне принять девку!» В доме все пропито – ни белой простыни, ничего. На столе – клеенка, бутылки, грязные стаканы. Я сгребла все в угол и попросила горячей воды. Завесила комнату одеялом. Роженица маленькая, хрупкая... Роды были тяжелыми. Ребенок шел не головкой, а ножками. А это очень опасно даже в условиях больницы. Я встала над ее животом, смотрю на него и думаю сосредоточенно: повернулся бы, повернулся бы, повернулся бы! Вижу, живот вспучило и какое-то движение происходит. Я аж глаза закрыла! Открываю – головка появилась! Сделала все, что положено. Родилась девочка. Муж услышал плач, заглядывает в комнату: «Ну?» Я говорю: «Ой, такая красавица, на вас похожа». – «Дочка?» – «Да, но так на вас похожа! И другой такой нету!» А сама думаю: убить ведь может. Но он вдруг говорит: «Все, я еду на соседнюю станцию, в магазин. Что надо? Селедку, хлеб?» – «Да всё, конечно. Только скажите женицинам, чтобы они принесли молоко».

ЛЮБОВЬ

*Две тайны на земле, две тайны –
любовь и смерть. В чаду, в бреду
одну открыла я случайно
и за второй с тех пор иду.*

Все остальные тайны нашей земной жизни поддаются объяснению, эти две – нет! Любовь так же загадочна и необъяснима, как смерть. И все наше существование осмысленно благодаря этим двум тайнам. Остается только один экзистенциальный вопрос, скорее даже сомнение: любовь так же всесильна и неизбежна, как смерть? Не знаю, разве можно взять на себя смелость утверждать, что любовь случается не со всеми и не у всех? Особенно если речь идет не только о любви одного человека к другому, а вообще о способности испытывать это чувство – к кому-то, чему-то... Неужели есть на свете такие отверженные, такие лишены, лишены этого? Не знаю... Но уверена в другом: есть избранные, родившиеся с этим чувством. Алла Айзеншарф принадлежит к их числу. И маленькая бездомная девочка посреди чудовищной войны на мгновение становится счастливой:

*Дождь закончился, и мушка
обсыхает, чешет брюшко.
Я её не прогоняю,
я же тоже обсыхаю,
я же тоже вся дрожу
и внутри себя жужжу.*

И немолодая женщина так же остро чувствует единство мира, нежность, печаль, быстротечность жизни:

*Мечется в ладонях мотылёк.
– Потерпи, сейчас окно открою.
Крылья опаленные, дружок,
обернутся нам теперь бедою:
взмах рукой – и в небо падать срок.*

Но есть любовь – единственная, та, о которой и сегодня, спустя годы, пережив очарование, разочарование, расставание, вспоминается так остро, будто это случилось вчера:

*Мне показалось, будто это ты
с цветами белыми стоишь сейчас за дверью,
и был так жуток этот миг доверья –
лететь к тебе и падать с высоты,
раскинув руки и теряя перья.*

А ведь и правда: сила любви, ее тайна – в бесконечном доверии одного существа к другому. Прочность любви – когда этот миг – на всю жизнь. И ее хрупкость – если доверие обмануто... Алла рассказывает о любви и преображается так, что совсем несложно представить себе ту застенчивую и решительную девушку – с сияющими голубыми глазами и тяжелой длинной косой...

– У меня не было парней, и даже интереса к ним довольно долго не было. Я работала в стоматологической клинике и мчалась по коридору от протезного кабинета до кабинета врача – носила снимки, слепки и так далее. А коридор был длинным и очень узким, с двух сторон сидело множество пациентов. Однажды шла и вдруг почувствовала какой-то сильный толчок. Оглянулась и увидела: сидит парень, очень несчастный, с флюсом, держится за опухшую щеку. Я в тот же момент поняла, что это мое. Не могу, до сих пор не могу этого объяснить! Он дождался своей очереди, я еще раз, уже специально, пробежала мимо. Остановилась в двух шагах от него, прислушалась к себе и подумала: «Да, да, он будет моим мужем». И ушла... В то время я посещала читальный зал в библиотеке. Это было самое уютное место в моей жизни. Однажды захожу и вижу – тот парень сидит и держит в руках какую-то книгу. Пригляделась – учебник по анатомии. Оказывается, он был студентом медицинского училища, которое я закончила. Его, правда, быстро отчислили, так как он учился в молдавской школе и плохо владел русским языком. В тот вечер я спешила на вокзал, надо было встречать маму, которая возвращалась из Винницы. Ухожу, а он: «Можно, я вас провожу?» Представьте, первый раз в жизни ко мне подходит молодой человек, а я с ходу отвечаю: «Да!» Вася меня встречал каждый день. Первое чувство – нежность и какая-то жальность. У меня как-то так: я люблю, когда жалею. Может, жалость и есть любовь? Может, я и животных так люблю, и природу? Дома рассказала маме, и она встала на дыбы. Не конкретно против Васи, но... во время войны мы видели, как сосед выдавал соседа или (совсем ужасно!) муж – жену. И мама считала, что еврейке нужно быть только с евреем. В это время я уже рассылала письма, чтобы уехать

по комсомольской путевке. Я уехала в Сибирь, а он – поступать в Кишиневский университет. Расставались мы очень тяжело... Вдруг получаю восторженную телеграмму: «Ура! Сочинение провалил, еду, целую. Вася». Я сшила себе из парашютного шелка белое платье, отпросилась с работы и трое суток ждала его в маленьком домике станции. Это был очень длинный путь, с пересадками, и было неизвестно, когда он придет. Наконец, появился – уставший, заросший. Мы приехали в мой домик под соснами, и у нас началось счастливейшее время. Пришли в сельсовет – регистрировать брак, а там висит ржавый замок. Председатель сельсовета тил беспробудно, но мы разыскали его и расписались. Было лето. Мы взяли продукты, какие были, и ушли вместе с еще одной молодой парой в тайгу. Палатки не было, сделали шатер из веток, костер разожгли, песни пели. Славик, муж приятельницы, хорошо играл на гитаре. Было замечательно...

Твое дыхание так жарко,
мои объятия легки.
Тихонько кружится байдарка
на лунном пламени реки.

Это не тогда написано, это сегодняшнее воспоминание, такое живое...

– Вася устроился на работу, которую никогда не делал, – электриком. Он забирался в «кошках» на девятиметровые столбы и в дождь, и в снег. Зимой приходил заледенелый, в фуфайке, которая ломалась от холода, и приносил охапку мерзлой рябины. Мы жили так: комната у соседки, комната у нас, а в коридоре – каток. Вася снимал фуфайку, обнимал меня, и мы на этом полу танцевали вальс... Когда у меня были срочные вызовы, он, после тяжелого дня работы, добирался до любой станции – встречал меня. Дома у нас было холодно, под кроватью замерзала картошка, есть было нечего, раз в месяц привозили в поселок деньги, водку и какие-то продукты – муку, сахар. А мы были счастливы. Так прожили больше полутора лет. А когда я забеременела, решили вернуться в Бендеры. Я приехала с целой тетрадкой стихов о Сибири, издала ее в Кишиневе. Однажды Вася тайком от меня отправил стихи на конкурс в Литинститут. Они конкурс не прошли. И Вася догадался почему: фамилия Айзеншарф была явно неприличной. Стихи я всегда подписывала только этой, папиной фамилией, а в жизни носила двойную – Васю обижать не хотелось, и я стала Айзеншарф-Варфоломеевой. Так вот, на следующий год, в 1968-м, он послал те же самые стихи под фамилией Варфоломеева, и они прошли легко, с четырьмя плюсами. Я поступила в Литинститут, училась на заочном, стихи публиковала только под своей фамилией.

После возвращения из Сибири пошла работать в туберкулезную больницу. Туда люди не очень хотели устраиваться, так как боялись заразиться, а у меня после выздоровления был стойкий иммунитет. Вася работал оператором на железной дороге. Материально жили трудно... Но это не мешало миру и согласию. Я ценила его отношение ко мне и к нашему сыну. Вася достаточно далек от поэзии, но как было замечательно, трогательно, когда он приходил домой с книжечками стихов, которые всюду разыскивал и покупал для меня. И я была с

ним очень счастлива лет семь. А потом он встретил свою первую любовь, потом стал пить, и пошло-поехало... Но развелись мы, когда Руслану исполнилось шестнадцать. Я уже не могла продолжать такую жизнь, но знала, что никакой другой мужчина не займет его место. Когда мы с сыном уезжали в Израиль, пообещали ему, что вызовем. Вася тоже в Израиле, мы практически не видимся, но все равно продолжаю к нему хорошо относиться.

*И тоска, не раскрыв парашют
затянувшегося броска,
обращается свистом минут
у горячих зрачков, у виска.
Боли нет, только тающий дым.
Каждый был, хоть недолго, любим.*

Но есть у нее другая, неизменная, всепоглощающая любовь – к сыну. И когда Алла говорит: «У нас с ним на двоих – одна душа», я понимаю, что речь идет о привязанности без привязи, об узах без узды, о том родстве душ, которое встречается редко. На первой странице каждой ее новой книги – посвящение: «Сыну с любовью».

– Еще до его рождения я знала, что будет сын. Назвала Русланом. Мне кажется, в этом имени – особая энергетика. И я решила, что сын с самого начала будет моим другом. Сын пришел в этот мир как-то особенно: дети ведь плачут при рождении, а он смеялся. У моей мамы было свое представление о воспитании. Она учительница и считала, что нужно быть строгой, соблюдать дистанцию. Но я этого не умела и не хотела делать, никогда на него не повышала голоса, никогда не наказывала. И это, представьте, не разбаловало Руслана. Наоборот, я даже побаивалась, что накладываю на сына непосильную тяжесть: стоило мне просто строго посмотреть на него, он так переживал, так заглядывал в глаза! Руслан был очень увлеченным мальчиком, сочинял стихи лет с трех. Вечером мы ходили гулять от вокзала до Днепра по главной улице. Помню, ему было лет пять, и он воскликнул: «Мама, посмотри, какая тетя идет!» Шла очень воздушная девушка, в белом платье, и он встал перед ней на колени. И сказал: «Как вы пахнете! Как цветок!» А я подумала: Боже мой, он женится лет в пятнадцать! Зря тревожилась: это было всего лишь искренним восхищением, но вырос он таким романтическим... Руслан закончил школу и поступил в Кишиневский университет на факультет испанского языка и литературы. Пишет стихи на русском и на испанском. После окончания университета преподавал в школе, потом стал работать в клубе для трудных подростков. Когда ему было лет восемь, я поняла по его стихам, что они обращены к какой-то высшей силе, хотя сам он этого тогда еще не осознавал. Но это было не только в стихах... Помню, однажды он увидел, что в мышеловку соседней попала мышка. Соседи прибежали за мной, потому что сами ничего с этим ребенком не могли сделать. Он стоял на коленях перед мышеловкой, рыдал и кричал: «Боженька, помоги мышке, чтобы она выжила!» Он просил Бога, хотя я тогда с ним на эту тему не говорила. Однажды, уже после университета, Руслан поехал в Москву. Остановился у знакомых – в семье Гарбузов, и они его серьезно приобичили к иудаизму. Рус-

лан учился самостоятельно по книгам, а когда приехали в Израиль, он работал и учился в ешиве. Взял еврейское имя – Исраэль. Женится, родилась дочь, которой сейчас пятнадцать лет. Руслан стал раввином, и его послали от Министерства образования и Раввината в Ригу. Он преподавал Тору в еврейской школе и на отделении иудаики Рижского университета, вел цикл радиопередач. Сейчас география его лекций расширилась – это не только Латвия, но вся Прибалтика. И он продолжает преподавать Тору, еврейские традиции – детям и взрослым, проводит свадьбы, готовит к гиюру.

ДАР

*Я жизнь люблю. Я знаю этот сад.
Он и моё произведение тоже.
Докрашу холст, и будет всё похоже,
и золотые пчёлы налетят,
и будут хоботки вонзать до дрожи,
отчаиваясь: где же аромат?
А холст как холст, и он не виноват.*

Талант – подарок, дар Бога. Даже если кто-то сомневается в божественном происхождении этого дара и утверждает, что он достался тому или иному человеку по наследству или благодаря случайной комбинации генов, это не меняет его бескорыстной сути. Болезнь, говорят, тоже дается нам свыше, как некое духовное испытание на стойкость или как «следы» наших прошлых жизней, приключений, грехов, которые в этой, нынешней, мы призваны понять и исправить. Но это – только схема, а разобраться, что, почему и зачем, удастся далеко не каждому... Алла что-то знает о своих прошлых воплощениях, что-то вспомнила еще маленькой девочкой, когда увидела себя в зеркале. Но говорить об этом не хочет – слишком личное... Тогда я формулирую вопрос по-другому: в чем наше бессмертие, в чем смысл нашей духовной работы или того, что в каббале называют словом «тикун» (исправление), если мы умираем каждый раз окончательно, потому что, когда душа (если в это верить) рождается заново в новом теле, мы не помним, что было с нами. А значит, все начинаем сначала?

– Тут ведь рассудочно не объяснишь... Для меня Бог – это Абсолют, который растворен во всем. Если говорить современным языком – это суперкомпьютер, который видит, учитывает, просчитывает все в бесконечной Вселенной, где мы – лишь микроскопические частицы целого. Но – разумные частицы, созданные для осмысления. Эта связь – взаимная, это диалог: человек так же необходим Богу, как человеку – Бог. Как мне кажется, есть такой гвоздь, который больно заган в человека, – гордыня. Мы думаем: почему я должен подчиняться, соблюдать, делать что-то, если мне не объяснено и не показано? Почему я должен принимать эту иерархию, во главе которой стоит Бог? Я не хочу, пусть мне докажут! А существующий мир ничего доказывать не должен: взглядишь, прислушаешься, вчитайся, задумайся, и тогда многое откроется. Подготовленные люди понимают, что смерть – это переход, что душа не исчезает. Какой-то период

после смерти душа вспоминает все свои рождения. И потом память полностью не стирается, просто уходит глубоко в подсознание. А иначе человек не мог бы начать жизнь заново. У души должен быть выбор, чтобы она могла решить задачи, которые когда-то не решила. Это ее шанс – приблизиться к источнику Вечного Света...

Да, я читаю об этом и у Мартина Бубера, и у Адина Штайнзальца, и у других еврейских философов. Читаю и пытаюсь поверить. Без этой веры жизнь порою кажется бессмысленной и безутешной. Нет, я никогда не была атеистом и всегда знала, что существует некая высшая, непонятная, бесконечная сила, короче говоря – Бог. Но какова степень Его вмешательства в нашу жизнь, степень Его присутствия в ней?

*Я ваша должница и ваша заступница
в заветных пределах, где совесть и Бог.*

Она и себя утешает мыслью о том, что всегда, даже в самые тяжелые времена, в мире присутствуют совесть и Бог. Вера в чудо спасла маленькую девочку. Но отсюда, из военного детства – болезни, и в том числе та, которая, казалось, неумолимо обрекала ее на небытие...

– У меня начались и быстро нарастали такие головные боли, с которыми уже не могла справиться. Меня обследовали и диагностировали аденому гипофиза. Конечно, опухоль назревала постепенно, годами, и, как и туберкулез, была следствием военного детства: меня страшно избивали в концлагере, били по голове, по всему телу... Знакомые устроили меня в одно из лучших лечебных заведений СССР – Ленинградскую Военно-медицинскую академию. Прилетели с Васей в Ленинград. Меня обследовали и сказали: опухоль не злокачественная, но очень большая, нужна немедленная операция. А я уже ходить не могла, почти ничего не ела, зрение стало резко падать: опухоль пережала зрительный нерв, началась его атрофия. Но я посмотрела на больных после операции – многие заново учились разговаривать, ходить, писать. Начинали с кубиков, с лоскутков. И подумала: Господи! Мне такое не нужно! Врачи уговаривали: иного выхода нет, без операции я очень скоро погибну. Но какое-то внутреннее чувство, скорее даже четкое знание, подсказывало: если останусь на операцию, уже не выйду отсюда живой. И я наотрез отказалась. Вернулась домой, лежала и умирала. А у меня был очень хороший друг, который занимался йогой, – Андрей Афанасьев. И он привез из Подмосковья, из Красково, экстрасенса, Вадима Сергеевича Смирнова. Он был летчиком, которого сбили. И он еле выжил. Пришел в Москве к знаменитому целителю Порфирию Иванову, учился у него, занимался по его системе. Андрей привез его ко мне. Он полтора дня со мной возился и сказал: «Можешь делать снимок, твоя опухоль дальше не будет развиваться, я ее «умял», сократил, насколько мог». Я почувствовала себя значительно лучше, а снимок показал, что опухоль уменьшилась наполовину. Потом я к нему приезжала в Москву, он еще со мной работал. И сказал тогда: «Ну и биополе у тебя – полтора метра!» Я ничего не знала, не понимала, как это происходит, когда лечила сама... Еще один год я работала, но зрение все ухудшалось, и я уволилась, получала скудное пособие по инвалидности. Появилось свободное время. И большая потребность проник-

нуть в суть предметов, увидеть их как-то по-другому. Постепенно поняла, что руки учатся чувствовать и видеть. Я начала рисовать. Всю жизнь очень любила деревья, а тут остро ощутила, что они хотят себя рассказать. Однажды в магазине покупала кухонную досочку, взяла ее и почувствовала – там такое было! Она просилась ко мне! Я с ней спала, гладила ее, потом стала карандашом проявлять ее линии, и появился рисунок. Собирала деревянные доски, рисовала на них. Вначале фактуру дерева прочитывала. Гуашью – на досках, а позднее на холстах – маслом. Уезжая в Израиль, отправила багажом. Один ящик пришел пустой – разграбили. Много потом увезла к Руслану в Ригу. А однажды (я не помню, какая-то бумага лежала), где было напечатано крупными буквами. Я положила руку и вдруг прочла, что там написано. Сама не знаю, как это происходит... Но работы по дому, стихов, рисования было мало. Я не хотела чувствовать себя выброшенной из жизни. И решила заняться детьми. Мне не нравилась советская школа – этот стандарт, эта муштра. Например, заслуженная учительница в классе Руслана восьмого марта говорила: «Так, первый ряд встает и дарит цветы». Ну и так далее. Непослушных била линейкой. Конечно, я протестовала, противостояла этому, поддерживала Руслана дома, но думала о том, что делают с другими детьми, как их лишают индивидуальности, творческого начала. Я обошла почти все школы, но, узнав, что у меня нет педагогического образования, меня отсылали во Дворец пионеров. А я ведь предлагала работать с детьми бесплатно! Только в одной школе разрешили. Помещение дали в самом красивом здании – в городской библиотеке. Вначале занималась с ребятами только из той школы, а потом стали приводить из других, и в том числе детей из неблагополучных семей. Возникли три группы: дошкольная и две школьных. В первые полгода я только играла с ними. Хотела, чтобы они почувствовали себя личностями, из нервных, возбудимых превратились в свободных, раскованных. Так постепенно возник класс эстетического воспитания «Светлячок». И девиз мы с детьми придумали вместе: «Добро. Истина. Красота». Я с ними рисовала, играла. Например, становились в кружочек, и я в центре. Каждый бросал мячик мне, а я возвращала другому, мячик шел по кругу, все быстрее, быстрее. Это была игра, которая их увлекала. Потом начались занятия – астрономия, основы медицины, устная речь. И, конечно, они учились рисовать и сочинять стихи. Развитие речи тоже шло через игру, круг, мячик. Я посылала кому-то мячик и слово, например, лес. Тут же надо было вернуть с определением, какой лес, но нестандартным. Я стою в центре, они не знают, что я закручиваю энергетически этот кружок, помогаю высвободить творческую энергию. В Израиле попробовала то же самое со взрослыми, у меня года три был литературный салон. Приходили люди разного возраста. Я просила заранее приготовить бумагу и ручку. Становились в круг и начинали играть в мячик, все убыстряя темп. На каком-то этапе у каждого появлялась потребность выразить себя. Причем получались интересные вещи даже у людей, до этого никогда не писавших. Ведь творчество отличает человека от всего остального живого мира.

Это наиболее возможное приближение человека к Богу. При воспитании ребенка есть еще одна очень важная вещь – общение с природой, бережное отношение к ней. Недаром же говорят, что каждый человек в жизни должен посадить хотя бы одно дерево. Это сделали мои воспитанники из «Светлячка». Мы получили саженцы и высадили аллею в парке на берегу Днестра. А в ямку под корни клали записочку, чье это дерево. Сейчас, когда кто-нибудь из земляков едет погостить в Молдову, я спрашиваю после его возвращения: «Ну, как там Бендеры?» И мне рассказывают, что многое изменилось, но аллея в парке жива. А еще – весь город и округа – в фиалках. Это мы с Русланом перед отъездом в Израиль купили полтора килограмма семян фиалок, и ходили, и сеяли в землю, в клумбы, за городом эти семена. Мне хотелось оставить что-то после нас. Фиалки – это любовь, это жизнь, это память.

ИЗРАИЛЬ

В Советском Союзе у Аллы Айзеншарф вышло две книги стихов, в Израиле – тринадцать. Стихи для нее – это интимный разговор с Богом, природой, сыном, самой собой. Но в Израиле этот разговор стал интенсивнее. Алла объясняет: «Не только потому, что чувствую себя свободной. Глаза мои не видят, пальцами рук читаю значительно меньше. А времени больше. Когда у меня накапливается много стихов и я начинаю чувствовать, что это меня захлестнет, издаю книгу. Она выходит, и становится неуютно – слова как бы отстранились от меня. Но через какое-то время появляется острая потребность в новых стихах». В ее стихах воспоминания и, конечно, сегодняшние чувства, сегодняшнее ощущение мира, новые, острые и неожиданные образы:

*Рванный ломтик лимона
у столетий в зубах.
И в пески погребенный,
и восставший в песках...
Я живу в Ашкелоне,
в двух шагах...*

В Ашкелоне, в амидаровской квартире, Алла живет последние двадцать лет. Но Израиль начинался с Иерусалима, где божественное присутствие, о котором – деликатный намек в стихотворении, даже не в двух шагах... Я не спрашиваю, почему они с сыном уехали. Ответ известен – каждый из нас принимал это решение не только из-за своих личных обстоятельств. А если задуматься о странной судьбе нашего народа, возникнет подозрение, что от нашей личной воли в этом волевым решении зависит далеко, далеко не все. И вместо ответа появится изумленный вопрос: «Как же это так получилось, что вековой завет наших предков “В будущем году в Иерусалиме” удостоены выполнить именно мы?»

– Об отъезде я долгие годы не думала, понимала, что это невозможно. Мое сопротивление было в том, чтобы сохранить живую душу – себе, сыну, детям из «Светлячка». А лечить старалась незаметно, люди часто даже не догадывались об этом. Ведь все нестандарт-

ное было под запретом, меня даже за любовь к животным... судили и объявили ведьмой. Я всегда кормила бездомных кошек и собак, но однажды приехала семья с Урала, женщина устроилась на работу дворником в нашем ЖЭКе. И она написала жалобу, что я развела во дворе кошек и собак, которые ходят за мной и слушаются меня, что я ведьма, ну и так далее. Я получила повестку из ЖЭКа на товарищеский суд. Это было так абсурдно, что я пошла из любопытства, а подруга – для поддержки. Но оказалось, мы зря смеялись. Подвал, красный уголок, сидят ветераны войны – в медалях и орденах, и на полном серьезе зачитывают обвинение, что я занимаюсь пропагандой колдовства, что ко мне приходят животные, прилетают птицы, что это мешает остальным жильцам. И выдают мне решение: безобразия прекратить, заплатить штраф в 500 рублей! Чтобы выплатить такие деньги, мне надо было полгода работать. Возвращаюсь домой совершенно расстроенная: во-первых, как теперь кормить животных, во-вторых – где взять такие деньги? И встречаю по дороге директора школы, где Руслан учился. Она спрашивает, что случилось. Я рассказываю и протягиваю лист с их постановлением. Она возмутилась, пошла в народный суд и добилась, чтобы с меня сняли штраф и все обвинения... А я все острее чувствовала, что задыхаюсь там. Накопилось! К соседу приезжал внук из Ленинграда, и дедушка учил его ивриту. Бедного этого деда – просто за уроки языка таскали в КГБ, грозили, что посадят. Жена его от всех этих потрясений скоропостижно скончалась... Как только стали разрешать, мы с Русланом решили уехать. Но удалось только спустя два года, в 1988-м. Пыталась уговорить маму с Мэричкой: «Мы уезжаем, а вам придется эвакуироваться: тут будет война!» Они мне не поверили – еще было тихо, спокойно в Бендерах. Но так оно и вышло, они бежали в 1992-м – мама, Мэричка и один из сыновей сестры. Он сейчас живет в Кармиэле, а другой сын Мэрички – в России, в Якутии. Когда мы встретились в Израиле, были так счастливы! Ведь в те годы уезжавшие боялись, что прощаются навсегда. Такое прощание, увы, случилось, но позже: я их обеих здесь похоронила, не смогла помочь: мама была уже очень старой, а у Мэрички диагностировали онкологию... Но другим помогала. Мы приехали с Русланом в Иерусалим, квартиру сняли в Рамоте Алаф. Рядом был Рамот Далет. Там жили москвичи и ленинградцы, многие из которых решили стать религиозными. Но они не были психологически готовы к такому резкому переходу из одного мира в другой. Начались депрессии, неврозы, а затем и соматические болезни. Я помогла одной соседке, другой, пошла молва. И ко мне стали обращаться. Я предупреждала: денег не беру, потому что есть вещи, которые нельзя оценивать деньгами...

В последнее время Алла часто и подолгу болеет, поэтому пациентов не принимает. Но любое общение с ней – даже по телефону, даже когда она говорит тихим, с одышкой, голосом – улучшает настроение, успокаивает, заряжает тем особым внутренним светом, которым озарена ее душа. Это тело стареет, а у души возраста нет.

*Живу, как хочу:
каждой Твари в ответ улыбаюсь,
каждой Твари Творца.*

Юлий Ким

И ВОТ ТАК ИЗ ГОДА В ГОД

Нашей дружбе с Ряшенцевым 56 лет.

Однажды в Екатеринбурге после моего выступления ко мне подвели смущённую девушку и сообщили: «А вот наша Танечка, ей 21 год – ровно столько, сколько вы у нас не были».

Так что если к нам с Юрой подведут такую танечку как ровесницу нашей дружбы, то это, пожалуй, будет уже смущённая бабушка.

Наши с ним жизненные дороги были разные – до поры. А потом вдруг пошли рядом. После нашего общего пединститута оба мы немного поучительствовали, а затем он стал поэтом, мастером, профессионалом, а я – бардом, сотрудничающим с кино и театром.

И вдруг оба оказались в одном драматургическом цеху, у обоих за плечами по несколько десятков фильмов и спектаклей с нашими песнями и либретто.

Ни одного облачка, ни единой тени какой-либо ревности либо зависти не набегало на наш небосвод. Израиль тому свидетель: здесь мы несколько раз выступали вместе, и авторское чтение (Ряшенцев) прекрасно соседствовало с авторским пением (я).

Правда, за Ряшенцевым числится некий постоянно подаваемый повод для самой чёрной зависти (не только моей) – это полностью воплощённая в нём древнеримская формула «в здоровом теле – здоровый дух». Год назад вытащил он (79) меня (74) на теннисную площадку размяться – я через 10 минут отпал, а он ещё целый час безостановочно прыгал, ничуть не уступая своему следующему спарринг-партнёру (45).

Хотя и на его долю пришлось немало всякого лиха, которое в течение жизни непременно достаётся человеку с сердцем, умом и талантом.

Вторая моя к нему зависть – это его постоянная готовность заступить за лирику. Когда Юра с Галей, его женой и соавторшей, завершают очередное либретто либо серию песенных текстов для экрана или сцены, он с облегчением вздыхает: «Ну вот, слава Богу, наконец-то хоть стихов напишу». И идёт, и садится (на диван, на шезлонг, на пляж, на стул) – и пишет себе! Ручкой в блокноте. Всё равно как вместо рыбалки.

Так он и будет – то на теннисной площадке, то с блокнотом, то на очередной премьере в кино или театре, то на эстраде с книжкой своих стихов – из года в год, сколько ему определено, дай Бог побольше.

* Редакция ИЖа от всей души поздравляет Юрия Евгеньича со славным юбилеем и полностью присоединяется к замечательным пожеланиям Юлия Черсаныча!

Григорий Левзнер

«ВСЕМ ХОТЬ КАПЕЛЬКУ ЛЮБВИ!..»

15 мая исполнилось бы 80 лет Александру Андреевичу Дулову...

Должен признаться, это «бы» пришлось из себя выдавливать. Прошло три с половиной года, а возникшая пустота так и не зарубцевалась.

Дулов – классик жанра авторской песни, писавший и на свои стихи, но прежде всего, озвучивший сотни стихотворений – от поэтов «серебряного века» и до, к примеру, Шаламова и Жигулина. Вспоминаются слова Веры Романовой: «... "Хромой король", "Несчастливая девчоночка", "Ну, пожалуйста", "Три сосны", "Античная ваза", "Баллада о неандертальском Прометее", "Сырая тяжесть сапога", "Вот и лето прошло" ... Да я просто с трудом прерываю список "самых-самых" песен. Не раз видела, и не только у Костромина, но и на кузнецовской школе – после какой-нибудь песни очередной "посторонний" слушатель начинает интересоваться: "Вот здорово, а чье это?" – а ему, со смехом: "Да Дулов это, Дулов, – все хорошие песни написал Дулов!"»

Шутки шутками, но из множества песен, созданных Александром Андреевичем, многие «ушли в народ» – потеряли имя автора и поются везде. И всё же доселе сказанным "феномен Дулова" не исчерпывается... Не исчерпывается он ни этим, ни дуловской – то серьёзной, то озорной, но неизменно покоряюще-благородной – манерой исполнения и общения с залом, ни неповторимой улыбкой, не улыбнуться в ответ на которую просто невозможно, ни даже чёртиками в глазах, которые появляются, когда он на подъёме. Феномен Дулова с этого, пожалуй, начинается, а сам он неизмеримо больше всего сделанного им в той или иной области

Первый свой текст об Александре Андреевиче я написал незадолго до гибели очень молодого и очень талантливого поэта, барда, прозаика, эссеиста, а в свободное от этого время подающего надежды биохимика Виктора Шнейдера. И Дулов – вот ведь причуды судьбы – стал постоянным участником родившегося в Мюнхене фестиваля имени Вити, знаковой фигурой этого слета.

Он не умел быть гостем и чувствовал себя ответственным за всё, к чему прикасался. До смешного. Расстроился и обиделся, когда ему после одного из фестивалей не дали таскать со всеми мешки с мусором.

...Поразительная вещь, мистика. Каким-то образом Дулов регулярно оказывался у истоков всяких хороших вещей. В Германии он стал, например, «крёстным отцом» Вуппертальского фестиваля – самого масштабного в стране. Да и у нас в Марбурге «жизнь» – приезды бардов – началась с посещения Дулова. Он ведь невероятно заразителен – от него расходится какая-то эпидемия доброты (извините, в прошедшем времени, не могу!). После знакомства с А. А. наша германская компания превратилась в «Клуб любителей Дулова». Периодически объясняемся друг другу в любви к нему, и настроение улучшается.

Владимиру Ланцбергу принадлежит термин «личностная песня». И в феномене Дулова личность наполняет, окрыляет и перекрывает всё остальное. Возможно, мир наш всё ещё как-то скрипит именно благодаря таким людям, как он! Если не говорить о родителях, жене и т. д., мне хватит пальцев на руке, чтобы назвать людей, оказавших на меня существенное влияние, определивших мою жизнь. Дулов среди них, хотя к моменту нашего знакомства мне было уже за сорок. Какое всё же счастье, что мне было подарено десять лет общения с ним!

Мы познакомились с Александром Андреевичем в начале 1998 года в Бонне, на домашнем концерте в доме наших друзей Оганянов, которые влюбились в него с первого взгляда и для которых он тут же стал членом семьи. Саша при этом хотел попасть в Амстердам...

Стоп! Дописался... Александр Андреевич Дулов. Человек на поколение старше меня. Доктор химических наук, автор замечательных песен, с части которых жанр, можно сказать, начинался. Я отношусь к нему с предельным пиететом и зарекался называть его здесь Сашей. Какой он мне «Саша»? Он – мэтр! Но что же поделать, если Дулов – мэтр... «неправильный»? Если он приходит с концерта весь улыбающийся, «наэлектризованный» и что-то такое замечательное излучающий? Если вместо того чтобы рассказать одну-две заготовленные «байки», коротко посидеть с хозяевами, отдавая долг вежливости, и пойти спать (назавтра – отъезд, назавтра – опять концерт!), он оказывается в кругу всех присутствующих, и гитара идёт по этому кругу, и, при отсутствии у упомянутых присутствующих умения как петь, так и играть, стесняться почему-то не хочется, и из себя и гитары что-то такое извлекается, а в два часа ночи Александр Андреевич, по своему категорическому настоянию ставший уже для поражающихся своей наглости присутствующих Сашей, поёт своё громоподобное «Алаверды», в ответ на что не привыкшие к таким «колыбельным» немецкие соседи звонят и пытаются что-то объяснить насчёт («Nachtruhe» (ночной покой им, видите ли, потребовался!)?

Впрочем, другие, немецкие же, соседи говорят, мол, как чудно у вас вчера пели и нельзя ли, мол, почаще.

Дулов не зря создал столько песен на стихи поэтов «серебряного века». Он сам в чём-то оттуда. За годы общения мы не слышали от него ни о ком дурного слова. Произносить подобное он был, похоже, органически неспособен. Оценки от сдержанно-положительных до восторженных. Когда одна известная дама поступила неблагоприятно и все от неё отвернулись, Дулов остался рядом. Не потому, что не осуждал, а просто потому, что нельзя же, мол, чтобы все в одного швыряли камнями. В его присутствии потребность и самому быть добрее, порядочнее и терпимее ощущалась чисто физически.

...Москва, 2001. Мы провожаем Дулова после работы – его сотрудник после операции на мозге неадекватен, агрессивен; жена не справляется. У самого А. А. аритмия, вид измученный, но о том, чтобы пойти домой, не может быть и речи – он будет ночевать там, где плохо, где он нужен.

...Есть люди, задающие планку. Владимир Ланцберг незадолго до смерти подготовил программу для Вуппертальского фестиваля. Почти глухой, почти слепой, не держащийся на ногах, с неслушающимися руками, до и после концерта почти теряющий сознание. Первые минуты были страшны, из гитары не извлекалось ничего похожего на музыку, и ясно было, что ни о каком выступлении не может быть и речи. Это нам было ясно. А Володе было ясно другое. Так что постепенно пришлось подчиниться и гитаре, и голосу. И была программа по песням Краснопольского и программы памяти ушедших бардов. А назавтра ещё и занятие по видению текстов стихов и песен.

...Когда болезнь догнала Александра Андреевича всерьёз и стало понятно, что можно бороться за время и самочувствие, но исход предрешён, Дулов остался Дуловым. В 2006 году я послал ему тексты моей готовящейся к выходу книжки. Уже знающий о неизбежной скорой смерти, Дулов немедленно отозвался кучей тёплых слов и пародией:

*Свершается! И ждёт планета вся,
Чтоб в книжку Гришину душою окунуться...
Лёд тронулся! Точнее – тронулся.
Точнее – собирается тронуться.*

Дулов сочинял песни на чужие стихи, считая неуместным писать на собственные, когда есть чьи-то, по его мнению, лучшие. Но последнее, что он оставил, это как раз не песня, а приснившееся ему незадолго до смерти стихотворение, воспринимающееся как завещание:

*Я люблю, расправив перья,
Над землёю взмыть любимой.
Отдохнуть на Джомолунгме,
В Ниагаре понырять.
Пролететь, дыша свободой,
Над землёй необозримой,
Порезвиться с кашалотом,
С львом в саванне полежать.
Но заметивши людишек,
В мир палящих и друг в друга,
Камнем с неба я срываюсь
В океан, на дно, в крови.
И молюсь я: дай им, Боже,
И молюсь я: дай мне, Боже,
И молюсь я: дай нам, Боже,
Всем хоть капельку любви!*

Дулов остался Дуловым. Продолжал жить, интересоваться всем и всеми и... творить. Хотя давалось это ох как нелегко. В мае 2006 года, сильно похудевший и ослабевший, он пел как ни в чём не бывало на своём юбилее. Да что там – даже 18 марта 2007 года (15 ноября 2007 года Дулова не стало), когда было уже совсем плохо, Александр Андреевич пел на презентации своего нового диска «На коне» (Да! Только так и не иначе: «на коне»!!!). И вряд ли непосвящённый понял бы, что поёт больной, обречённый на скорую смерть.

...Кстати, три песни Ланцберга, написанные им в самые последние месяцы жизни, – мои самые любимые.

...Году в две тысячи пятом, незадолго до того, как онкология заявила о себе в полный голос, услышав Александра Дулова на «Втором канале», Ольга Чикина восхищённо произнесла: «Не перевелись ещё мужики на Руси! Не всех война повыбила!»

Есть, повторяю, люди, задающие планку. Дулов олицетворяет честность, совесть и благородство. Он, кстати, и в советские времена не любил приспособливаться к реалиям и не шибко это делал.

...Да, смерть – штука злая. Да, Дулов не придет больше на гастроли. Да, мы не сможем ему позвонить, не сможем заехать, попав в Москву. Но остальное ведь останется с нами – голос из динамиков, лицо на экране. И никто не помешает нам и дальше мысленно к нему обращаться. Пока живы мы, любившие его и любящие, он будет жить в нас. А потом в наших детях, у которых в душе и он, и его песни давно занимают то место, на которое кому бы то ни было другому претендовать бесполезно. Но и к их детям, и, хотелось бы верить, к детям их детей Дулов будет приходить! Это не страшно, что лишь с экрана. Всё равно не влюбиться в него невозможно!

Старший друг моего отца, фронтовик, перед своей внезапной смертью успел скомандовать, чтобы на похоронах было море водки и пелись солдатские песни. Мы не будем петь солдатские песни. Закончу своим поздравлением (на базе Сухаревско-Никитинского) Александру Андреевичу Дулову к его прошлому, 75-летнему юбилею:

Саша Дулов – хранитель основ.

Для юнцов он подобен иконе,

И у жанра крутых паханов

Почитается бардом в законе.

Но закон ему, видно, не впрок –

По своим по законам, похоже,

Он мотает с гитарою срок

И на химии трудится тоже!

Этот срок – он пожизненный срок,

И амнистий, надеюсь, не будет.

Речь аккордов и музыка строк

Пусть и дальше без усталы будят

Всё, что жизнь усыпляет в душе,

Нас тряся, как вагон арестантский.

Вы тех самых теней атташе,

О которых писал Левитанский!

Нету века, а есть человек!

Вы поёте и век создаёте.

Каждый век – он серебряный век,

Если Вы в этом веке живёте.

Пусть эпохи неясен исход,

Пусть вокруг в основном не испанцы –

Извините, Вы – мой Дон Кихот!

И возьмите меня в Санчо Пансы!

Михаил Басин

СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ

ПЕСНЯ О РОДИНЕ

Зуб за зуб цепляется в механизме,
око – за облако, за окоём окна.
Греются микрочипы в моей отчизне,
греются чипсы в масле. Плывёт страна.

Чипсы жарят на чистом машинном масле.
Им не испортишь, сколько ни положи,
ни этого места, где был почему-то счастлив,
ни этого времени, в коем зачем-то жив.

Время обстоятельно мелет воду,
каждый толкует про то, чему знает счёт.
Вшивый – про баню, генерал – про свободу,
я – про тебя, конечно, про что ж ещё!

Этой страной правят наивные технократы –
вредные ископаемые, добываемые из огня.
Жаль, что страна полезными небогата.
Я бы сменял. Но кто бы спросил меня.

Эта страна, как тинейджер, полна гормонов.
Если горит – то во всех четырёх углах.
Если украсть – то не меньше трёх миллионов!
Если уж мясо – то с кровью и на углях!

Истина где-то здесь, но её не видно –
под телами мобильных спряталась – и молчок.
Это бы ладно... а вот за футбол обидно.
Видимо, денег нету, чего ж ещё!

Денег вообще не хватает – это закон природы,
фундаментальный не менее, чем насос.
Тот самый, которым исправно качают воды
из древнего озера, уже просвечивающего насквозь.

Но не беда, ибо водный баланс в округе
мы восстановим свежим притоком слов.
Боже, пошли нам (хоть за былые заслуги)
даже не логику, просто приличный слог!

Нету пространства, всё затопило время.
Времени много. Оно никуда не течёт.
Жарятся чипсы. Мотивчик буравит темя.
Крутится вентилятор... Чего ж ещё?

БЕЛАЯ ПАРАНОЙЯ

О. П.

Лето как лето... Белый клубок... Зной...
Знай, что под ним пал не один Рим.
Знай, что под ним ходим, как под Ордой.
Помни, что здесь лучше быть молодым.

Я твой дружок-муженёк. Твой собак. В пасть
муха влетит, если буду сидеть-петь.
Если в маразм вовремя не впасть,
Белая Власть всех заберёт в сеть.

Я параноик. Это зовут так.
Но, знаешь, есть у меня небольшой блат.
Там в небесах Белый Большой Брат...
Он иногда мне подает знак.

Вот и хожу-сторожу, как чудной сад,
душу твою от пришельцев и новостей.
Я не садовник. Я сторож. Но я рад
душу стеречь, и жизнь заодно с ней.

Мне до них не дотронуться – далеко.
Нам, сторожам, не велено за забор!
Но, понимаешь, так радостно и легко,
если случится вдруг заглянуть во двор.

Там говорит трава и поёт куст,
Там вечереет и подают чай.
Лёгкий речной запах, простой блюз
и твоего платья цветной край...

Шаг по периметру... Шаг... И ещё шаг...
Вёдом до мелкого камушка этот путь.
Враг не пройдет – Белый Большой Враг!
Я – на посту.
Только ты будь.
Будь.

НОЧНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Месяц был из белого металла,
а слова – из кварца и слюды.
«Этот город мёртв, – она сказала, –
нет людей и замело следы.

Ели, пели, ждали и служили...
Кроме неуверенного "...ли"
под холстиной времени и пыли
что ещё они уберегли?

Или спать ушли, да не заснули
где-то под корнями у сосны?
Где теперь их чада и кастрюли,
их собаки, лошади и сны?»

Он промолвил: «Если на века
сам Господь оставил это место,
для кого мерцают облака
ломтиками лёгкого асбеста?

Театральна света суета,
безупречна смена декораций,
но свободны в зале все места
и не будет зрительских оваций.

Взял песок дороги и мосты,
сгнули ремёсла и искусства,
может, только чувство пустоты –
тоже человеческое чувство...»

Он умолк и не окончил фразу.
И ему почудилось, и ей,
как пространство заполняют сразу
легионы маленьких теней.

Тени были, плыли где-то рядом –
не мертвы и живы не вполне –
ни дыханьем не задев, ни взглядом
тех двоих, застывших на холме,

что глотали воздух, будто взвесь
терпкого учительского мела,
и молчали, отчего – бог весть...
А вдали дороженька немела.

ГОРОСКОП

Книгу я уже написал. И сына родил тоже.
Дом построил (хоть он и рухнул в один момент).
Дерево посадил – его спилили, но всё же
корни его ещё и сейчас во мне.

Звёздный прогноз лаконичен и сух, как веник:
«Новая книга будет лишь тенью *той*,
на новый дом не хватит ни сил, ни денег,
ну разве что дерево зашелестит листвою...»

Если отвлечься на миг от своих основных инстинктов –
этих маленьких бусин надёжно засевших внутри, –
понимаешь, что жизнь – носорог, которого гладишь по спинке,
и что версий теперь возможно всего лишь три.

Первая – это грядущая дряхлость души и тела.
Впрочем, хрен с ней, с душой, а вот тела зачем-то жаль.
Оно ведь летать умело, оно летело...
со всеми его потрохами летело вдаль.

Другой сценарий – это победа духа
над энтропией в отдельно взятой судьбе.
Живчик-сперматозоид влетает в ухо...
Бац! – и опять ты весел и мил себе.

Третья схема – банальность иного класса:
просто пойти и тихо отдать кредит.
Вернуть небольшой остаток обратно в кассу,
отвесив поклон тому, кто в окне сидит.

Всех-то и дел, что выбрать из трёх дорожек,
у коих начало здесь, а конец – нигде.
Я вот не смог. И гороскоп не сможет.
Может быть, только дерево, только де...

ПЛОЩАДЬ ГОЛЛАНДИИ

Никольский

НЕПОДАЛЕКУ И РЯДОМ

* * *

Гортань сначала
лишь молочный вкус различала
и кричала, если
мать сидела в далеком кресле,
но оощенья требовали добавки и приращенья,
как пиковым нужны трефовые, червовые и бубновые.
Существу, с которым совершается превращенье,
необходимо новое, и гортань пробавлялась мовою
в Киеве (язык в подмогу),
речью – в Москве, а в Берлине шпрехала понемногу.
Каждую неделю существо себя забавляло
тем, что мирозданье по понедельникам прибавляло,
шло навстречу ристаниям и сраженьям,
увлеченное непрекращающимся сложеньем.
Оно перед витринами продуктовыми застревало,
и попробовать новое было надо,
оно пило за обедом и целовало
точно такое же – лишь на губах помада.
Оно оправдывалось, просило, теряло зубы,
смазывало растрескавшиеся губы,
ело спелое и уже не могло зелёное,
переходило на несолёное,
хрипело, слова не находило.
Не оощало многого. И легко
глотало таблетки, переходило
на обезжиренное, безвкусное молоко.

* * *

Рядом с карманом нагрудным мы пребываем
взглядом, и мыслью, и слухом, который пока безупречен.
Только потом, когда всё навсегда пропиваем,
жизнь и грядущее перемещаются в печень.
А в месте святом, где карман, и цветок, и петлица, –
что-то стучит, шевелится.

Это случилось рядом с нагрудным карманом,
тёплой зимою в одну из январских вакаций –
он был дыханьем её и духами её одурманен.
Женщина стала свыкаться
с мыслью-мечтой о вакансии занятой и замещённой,
о домике рядом с акацией, об ампула наречённой.
И второпях покупала билет на Люфтганзу
и торопилась к поганцу.

Это случилось неподалёку и рядом.
Произошло далеко-далеко – за морями,
в новом отеле, который за площадь упрятан.
Прошлой зимою... Потели, но прóстыни не замарали...
Недалеко под костюмною тканью, под твидом
женщина встретилась с новым и странным подвидом
и задымилась на несколько месяцев танком подбитым.
Несколько месяцев долгих она остывала,
не добравшись, как Че Гевара, до перевала,
в одиночке своей горевала.

Владелец костюма сидел в ресторане, раззявсь,
в обществе новых красавиц.
Жизнь протекала в парадах и маршах, почти без промашек,
он нервно тянулся и щупал в кармане бумажник.
Свято место его было пусто и невредимо –
пустовало, как гостевая у нелюдима,
и деревянным было, как Буратино.

* * *

Внутри была пружина, она дрожала,
и женщина тоже дрожала. Не понимала
почему – когда кофту свою снимала
и любовь таким образом выражала.
Это о главной, скрытой внутри пружине,
от неё зависят действия и поступки,
она работает в спецрежиме
двадцать четыре в сутки.
Женщина в солярии загорала,
оголяла тело и думала, не пора ли?
Или ещё секунду, минуту, малость?
Пила воду с примесью минерала –
это пружина распрямлялась и разжималась.
Не для пружины воскресение и суббота.
Воды потопа, огонь пожара,
горечь крушений и поражений
не ослабляют её завода.

Пружина была железной и порыжелой,
а тело шуршало и трескалось, как фанера.
Пружина всегда сжималась и нарушала
большинство разумных распоряжений,
мешала, блокируя полушарья. Она звенела
самолично и беспричинно.

Снаружи почти не слышно её работы,
никогда не видно её на фото.

Женщина выпила капучино,
вообразила, что было вообразимо,
встала, смешалась с марширующими полками,
напрягаясь и звякая, если её толкали.

* * *

Он говорит: «Приду». Она думает – навсегда,
он думает, что на вечер.

Она уверена, что прочен как никогда,
он думает, что не вечен.

Она проводит черту, говорит: «Пусти!» Он вспоминает про ту,
которую знал когда-то, и говорит: «Прости». Она на плиту
ставит кофе, и тот бурлит. Он повторяет

и ещё сто раз повторит.

Она теряет нить, словно это японский, финский или иврит.

Он видит морщины, сухие пальцы, пялится одурело.

Она улыбается – знает, что нисколько не постарела.

* * *

Руку ей на плечо положить, и, если она не сбросит,
не отодвинется, не попросит немедленно перестать –
с нею можно завтра же переспать,
пока язык чего-то лишнего не сморозит.

Пять пальцев, штурмующих палисад –
штурмующих платье, где находится адресат –
дева, у которой тело, дыхание, просесть,
которую после будут рыдания сотрясать.

Руку на плечо. Устремляясь к концу прямой,
где бывают дети, но чаще услышишь вой,
где домой приходят в четыре. И дом тьюрмой
кажется, а прямая – запутанною кривой.

Тронуть её за платье и ощутить тепло.

Мысленно оправдываясь, что тебя тоже не пощадит,
если... если... Бесхарактерное добро
противоречит тому, что чешется и зудит.

«DE IMITATIONE CHRISTI»

Господин в костюме, искавший образ
того, которому он подобен,
в дорогой обстановке и мягких стульях,
в том, чтобы гордо ходить не горбясь,
ехать ровно и избегать колдобин.

Он глядел снисходительно на сутулых.
Его кожа рыбой не провоняла,
его дева из спальни не прогоняла,
он был профилем, фасом и не кривлялся,
ездил в Зволле, бритвой водил по коже –
вёл себя не хуже оригинала,
ему казалось – вполне похоже
и что он справлялся.

Словно лис в курятнике, вор на воле,
с греющей, но не горячей шапкой,
он ходил в фаворе, преображался,
когда в новое наряжался.

А когда земля под ним стала шаткой,
начались рецепты, врачи и боли –
принимал таблетки, сводил коросту
и ни разу не облажался.

Подражая, подражая и подражая,
сам себя удивляя и поражая,
как это легко и просто.

* * *

Ему нужны
ножны для меча,
ей – меч для ножен,
потому ночи их не скучны,
кровь горяча,
диалог возможен.
Они готовы опять и снова,
пока ему не понадобится обнова,
ей не понадобится обнова.
Ему нужна слушательница монолога,
ею станет одна из целого каталога,
она станет незаменима и дорогá.

Их дорога совпадает, она кивает
и слушает дурака,
вспоминая подругу, которая выпивает
и готова за старика.

В небе виден провал, провал,
виден разлом, разрыв,
туда засосало, как пылесосом,
всех, кто из адресных книг пропал,
из домов пропал,
из богаделен пропал, молоко разлив
и очки разбив.
Кто-то голубем улетел, кто-то уплыл лососем.
И за ними идущие по пятам
оказываются там.
Ему нужно, чтобы кто-то очки протёр
и пятно на полу затёр,
ей нужно, чтобы кто-то завел мотор.
Ей нужен монтёр,
ему – повар и фуражир,
Ему надо, чтобы его кто-то обязательно пережил,
Ей надо, чтобы её кто-то обязательно пережил.

НИКОГДА НЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ ХОРОШО

Даже если бы ключ подошёл и трамвай подошёл,
если б не раздражал два сезона подряд дирижёр,
если б галстук не жал, а потом не навис потолок,
если б за руку взял и с концерта её уволок.
Даже если б на кухне в титане кипел кипяток.
Ели б мясо в сметане, лапшу и капусты вилок...
А ещё б не увяз коготок ни в одном полушарье
и кольца ободок не мешал и ещё не мешали
тыща разных иных.

Позабыв о рефлексах спинных,
а ещё о наручных, песочных, вокзальных, стенных.
Даже если б друг друга нашли, и замёрз водоём,
и по льду перешли, и надолго остались вдвоём.
И дрова б не кончались, а мир соблюдал декалог,
если б тот диалог... и она б не была неправа.
Если бы обвенчались сперва...
Если бы, обвенчавшись, не жили два года в дыре,
не сменили язык на морзянку – на точки, тире,
не кричали всю ночь, что условия теперь таковы...
Если бы да кабы, да кабы, да кабы, да кабы.

НИДЕРЛАНДСКИЙ ПЕЙЗАЖ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА

Солнце слепило зимой и весну обещало,
люди земные клялись, начинали сначала,
ночь наставала, луна их назад возвращала.
И на равнине – от Ассена до океана –
что-то бубнили потом покаянно о времени трудном,
об океанной привычке, о смутном, о крупном
и просыпались от звона пустого стакана.
Вот они встали и вышли на площади града,
вот они в таре уносят пустую посуду,
рада чему-то толпа, у суда тарактит эстакада,
люди повсюду!
Вот женихи провожают невест из чертога,
в зеркало каждая дева глядится и не наглядится...
Захмутила голландца чертовка с востока,
захмутила бельгийца.
Из Приднестровья на запад летят голубицы,
аж до флорид долетают и до калифорний,
сразу готовы влюбляться, навеки влюбиться.
Хочется быть им за сильным, живым и за сытым.
А у Днестра под землёю мужчины лежат в униформе,
каждый надёжно засыпан.
(Кто же захочет пойти за убогих, убитых?)
Роз не хватает, поедем на рынок купить их,
химию в вазу насыпем и свежими долго продержим.
Едет кортеж за кортежем.
Стража застыла на страже, а дирижеры за пультом,
пушка гремит в Бауртанге у самой границы,
хоры церковные песню заводят в больнице,
чтобы счастливее были больные инсультом.
Руки, и ноги, и что-то ещё выступает из торса,
он прохудился за годы, сломался, истёрся,
вот на прогулку его на колесах вывозит сиделка,
поит калеку бульоном, гранатовым соком,
возле окурка очки, возле копчика грелка.
Кто-то здоровый идет по дороге, жену обнимая.
Птица кружится над низкой землёю, над морем высоким,
всё это видит и ждёт наступления мая.

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Алла Боссарт

ПАСИТЕСЬ, МИРНЫЕ КОРОВЫ...

* * *

Зачем летает авиатор
так невысоко надо мной?
Я затыкаю уши ватой,
страдаю болью головной.
Мешает мне с природой слиться
турбин бесчеловечный рёв.
В иллюминатор смотрят лица
и видят маленьких коров,
домишки, речки и дороги –
весь предпосадочный наив.
Они бессмысленны и строги,
и я неинтересна им.
А впрочем, будем откровенны,
кому я интересна тут,
на всей земле благословенной –
и в глубину, и в высоту?
Мой путь оставшийся недолог,
за скобки скоро отлечу,
звонит мне только стоматолог,
поскольку я ему плачу.
Паситесь, мирные коровы,
пилот над пастбищем, кружи...

А выше – дедушка суровый,
Ему – что люди, что стрижи.

ПОЛЬСКИЕ АРТИСТКИ

Волос тяжелая кольчуга,
округлость шей, продлённость ног
и носика резное чудо...
Ах, пани польского кино!
У наших нет таких усмешек
и обморочной тени той,
в глубоком вырезе... От Мнишек
их род шляхетский золотой,

от офицерских звёзд Катюны,
от жён царевых и папесс...
Так пепел розовый не стынет,
в алмазе строит козни бес.
Святые, прачки, королевы
с неуловимою блядцой,
как в Божий храм, идут налево,
росой ополоснув лицо.
Я обожаю ваши речи,
как будто с ягодкой во рту...
Ах, пани, пани, вы как реки,
журчащие сквозь темноту.
Красавиц – я не знаю сколько.
Но чтобы утонуть в реке,
ищите, режиссёры, польку
с черешнею на языке.
С ума сойти от вас, наяды
с волною пепла надо лбом...

А взять Литву – буквально рядом.
И что там? Только баскетбол.

* * *

Лица учёных китайцев, как у младенцев, бесстрастны.
Им скрытый космос понятен любого из россиян.
Не отвлекают их наши надломы, прорывы, контрасты,
Поскольку начала у всех одинаковы: инь или ян.

В теле у всех одинаково расположены точки,
Их миллионы, и каждую знает китаец в лицо.
Как на ладони, пред ним моя матка, суставы и почки –
Независимо, Рыбой являюсь я, Девой или Стрельцом.

Кто я – тётка в летах или, может, мужик забубённый,
За душой у которого, собственно, только душа, –
Информация лишняя, ибо доктор, словно ребёнок,
Видит суть и копает упорно, размеренно, не спеша.

Мы с душою безмерной своей китайцам неинтересны,
Взгляд их косою то ли узок, а то ли слишком широк.
Будет давить мне на вещи точки, покуда не тресну.
В этом мощь культуры китайской и русской культуры порок.

Всё душа да душа, без конца, без структуры, без центра...
Как найти в ней болезнь? Непонятно, откуда считать.
И куда она денется, бедная, если, допустим, бессмертна?
Что нам делать-то с нею теперь? С чего бы, к примеру, начать?

Иероглифом быть – разумно, красиво и чисто.
И меня впечатляют капканчики доктора Шу,
Сталь ручонков его, иллюзиониста и дзюдоиста
И, конечно же, мастера философской системы у-шу.

Но точки на территории Ру живут коммунально,
Стеснённые обнаглевшей, многострадальной душой.
Невозможно лечить нас иероглифом многоканальным...
Что китайцу полезно и здорово – россу нехорошо.

И прости за назойливость, маленький гений массажа:
Кто ты был (по Конфуцию – или не знаю кому)?
Двоеполюй певец ли – тот, что на кол для смеху посажен?
Или дворник Запретного Города, убежавший во тьму?

Или девочка с ножками в непоправимых тисочках?
Злодей-пасквилянт, на крюке подвешенный за язык?
Папаша, расстрелянный за сверхнормативную дочку?
Или вождь плоскомордый, баттерфляем переплывший Янцзы?

В общем, Шу, как ни кинь, ваша карма довольно плохая –
Не особо прекраснее чёртовой русской судьбы.
Зря, ей-богу, ребята, вы припёрлись сюда из Шанхая
Морщить над нашей хворобой ваши многоучёные лбы.

Елена Игнатова

НИЦШЕАНЦЫ

«Серебряный век» в сознании следующих поколений представлялся временем расцвета культуры, искусства, жестоко оборванным социальными потрясениями. Это был миф о коротком, но ослепительном взлете, и нам оставалось только скорбеть о тех временах или пытаться связать нити, продолжить прерванную традицию. Среди «реставраторов» были талантливые поэты, но, пожалуй, убедительнее всего некоторые особенности «серебряного века» воссозданы в творчестве петербургского поэта Елены Шварц.

Начало двадцатого века было отмечено кризисом традиционной церковности, стремлением реформировать православие, сопровождавшимся в среде русской интеллигенции ростом интереса к другим религиозно-философским учениям: теософии, антропософии, оккультизму, к идеям Владимира Соловьева, Николая Федорова – всего не перечислить. Однако наиболее значительное влияние на культуру «серебряного века» оказали идеи Ницше, в частности, его апология дионисийства – темного, стихийного начала в творчестве наряду с гармоничным, «апполоническим». Первыми идею о противоречивой природе творчества восприняли символисты, и не случайно двойственный образ «Зверь-Цветок» Елена Шварц позаимствовала у символиста Константина Бальмонта. Наряду с идеей дионисийства Ницше выступает с апологией Сверхчеловека, которого противопоставляет миру «маленьких людей», и с проповедью имморализма, которые получили развитие в литературе «серебряного века». Ницшеанству в творчестве Владимира Маяковского и одного из самых ярких современных поэтов, Елены Шварц, посвящены эти заметки.

Выбор не случаен, поскольку широко образованная, рафинированная Елена Шварц в числе наиболее значимых предшественников неизменно называла Маяковского. Ему посвящено эссе Шварц «Реквием по теплому человеку, или Маяковский как богослов» – декларация сверхчеловеческой, высшей природы Поэта, которому присущи «дионисийское бешенство, нечеловеческое сострадание ко всему, само над собой издевающееся, и гигантизм». У Маяковского, правда, дионисийское бешенство чаще всего проявляется в агрессивном самоутверждении, но это характерно для «сверхчеловеков»: как иначе убедить мир, что ты – «сверх-...»?

«Человек ли он? – размышляет Елена Шварц. – Он – поэт, значит, уже нет или еще нет, а человеком только прикидывается». Экстатический культ Поэта – важный элемент культуры «серебряного века», в предыдущие и последующие времена до подобных крайностей, кажется, не доходило. Итак, Поэт-Сверхчеловек следует своим законам, отвергая все этические установления и враждуя с теми, кто им следует. По словам Ницше, «маленьким людям нужны маленькие добродетели –

трудно мне согласиться, чтобы маленькие люди были нужны!». В дореволюционных стихах Маяковского «маленькие люди» – это буржуазное общество, в советских – бюрократы, мещане, классовые враги и т. д., но разницы, в сущности, нет, все они – бесполезные, сорные существа рядом с тем, кто только прикидывается человеком. Строка Маяковского «я люблю смотреть, как умирают дети» – гротескный вызов миру «маленьких людей» – перекликается со строками Шварц о младенце – *кровоавой ягодке*, которого мать *выплюнуть на свет решила*.

Потоки крови и жертвенная кровь Поэта, окропляющая мир, жестокость, агрессия, тлен – все это в избытке в произведениях обоих авторов, и не случайно Елена Шварц горячо вступает за собрата в своем эссе. Ее рассуждения о Маяковском-богослове из разряда словесной эквилибристики, примечательнее другое – в начале эссе Шварц оговаривает термины: «душевный» значит – не духовный, «хороший» – судящий других с определенных этических позиций. Ее сочинение посвящено книге «Воскресение Маяковского», но главным образом ее автору, Юрию Карабчиевскому, и здесь позиция «нечеловеческого сострадания» предстает во всей красе. Карабчиевский ограничен и ущербен, поскольку он «хороший» человек и достоин лишь циничной насмешки над тем, что своей гибелью «собезьяничал» смерть Маяковского. Наступление на святотатца идет по всем фронтам, не всегда убедительно, но со страстью, и суть его сводится к сентенции Ницше: «...для духа быть добрым – болезнь... вы добрые и справедливые! В вас много смешного и особенно ваш страх перед тем, что до сей поры называлось "дьяволом"!» Однако судьба самого Ницше свидетельствует о том, что дьявола все же стоило опасаться.

Поскольку, по утверждению Ницше, Бог умер, дьявол мог беспрепятственно заниматься привычным делом – оболыщать людей, исполняя желания – власти, славы, любви, – а затем губить их. Маяковского прельщала идея изменения старого мира и создания нового, в котором он, Поэт-Сверхчеловек, займет должное место. Он неоднократно обращался к этой теме («Облако в штанах», «Человек», «Владимир Маяковский»), и послереволюционное время, казалось, открыло возможность осуществить честолюбивую мечту. Можно было провозгласить себя главнокомандующим «армии искусств» и издавать приказы, требовать, чтобы к штыку приравняли перо, объявлять себя полпредом советской культуры за рубежом, обличать, прославлять, не замечая, что оказался в рабстве, превратившись, по собственному признанию, в советского чиновника. Ницшеанство бесплодно, и Сверхчеловек лишь орудие и, в конечном итоге, жертва враждебных, демонических сил.

В произведениях Маяковского поражает обилие христианских реминисценций, он ведет яростный спор с Богом и с «оплеванным голгофником» Христом, кощунствует, проецирует на себя жизненный путь Спасителя, грозит зарезать «божика», декларирует желание «потеснить» Творца, воспроизводя таким образом библейский миф о дьяволе, который решил соперничать с Богом и был за это низвергнут с небес. Завершение жизни Маяковского напоминает этот сюжет. 30 декабря 1929 года, за несколько месяцев до его гибели, у Маяковского собрались друзья, чтобы отметить двадцатилетие его литературной деятель-

ности. Всеволод Мейерхольд оформил торжество как маскарад: из театра привезли костюмы, и гости в причудливых нарядах расселись вдоль стен в ожидании хозяина. Далее, повествует мемуарист, входит Маяковский и в центре комнаты «садится верхом на стул, надевает на себя маску козла и козлиным бляением отвечает на все "приветствия"». Сюжет легко узнаваемый – это сборище ведьм, чертей и прочей нечисти в Вальпургиеву ночь вокруг своего повелителя – Дьявола, появляющегося в образе козла. Маяковский не мог не знать этого, и его появление в роли Дьявола – последний, шутовской вызов Богу. Самоубийство Маяковского, произошедшее в Страстную неделю 1930 года, читается как финал притчи о бунте и поражении Сверхчеловека.

Через столетия после завершения «серебряного века» образ Сверхчеловека-победителя изрядно поблек, но сохранил основные черты: «дионисийское бешенство» творцов, одаренных особой духовностью, презирающих милосердие, доброту, все этические ценности «маленьких» людей. Провозглашенная Ницше смерть Бога, враждебность к христианству – «религии сострадания», проповедь имморализма, крайней степени индивидуализма таили в себе опасность, и драму человека, выбравшего этот путь, можно проследить в творчестве Елены Шварц. В ее поэзии важное место занимает мотив богоборчества, но, в отличие от Маяковского с его прямым вызовом Богу, она выбирает путь, о котором Ницше писал, обращаясь к «маленьким людям»: «В вас много смешного и особенно ваш страх перед тем, что до сей поры называлось "дьяволом"».

Поэтический мир Елены Шварц в значительной степени связан с демонизмом, в его темной стихии она черпает вдохновение и энергию. Примечательны ее слова о своем «средневековом сознании»: поэтессе с юности привлекала эзотерика, оккультизм, а также средневековая патристика, в которой важное место уделено природе и проявлениям демонизма. «Когда долго вглядываешься в пропасть, пропасть начинает вглядываться в тебя», – заметил Ницше, и это вглядывание вызывает духов из темных глубин. Множество произведений Шварц посвящено бесам, ведьмам, ведьмакам и прочим демоническим существам:

*Близка Вальпургиева ночь,
Возьмем с собою крошку-дочь
И там её съедим.
Пускай не знает наших мук,
А мы с тобою, милый друг,
Червя себе родим.*

Один из сквозных сюжетов поэзии Елены Шварц – отождествление ее героини с ведьмой со всеми мифологическими приметам – кружением перед полетом («Верченье»), колдовством («При черной свече»), зловещими обрядами:

*Скинула семь шкур, восемь душ, все одежды,
А девятую душу в груди отыскала,
Она кротким кротом в руке трепетала...
Я ей глазки проткнула, и она умерала.*

В этом фантастическом мире, где *демоны, как воробьи, / Сидят на проводах*, все вывернуто наизнанку: тьма – это свет, ангел – это демон, а душа поэта – *что ни родит она: хоть ангела, хоть чёрта, / Она для опытов чудесных рождена*. Однако поэт не ограничивается эмпирическим описанием бытования бесов и ведьм, а излагает теорию, объясняющую высшее назначение и ценность этих существ. В эссе «Вид на существование, или путь через кольцо» Елена Шварц раскрывает истинную цель сотворения мира и назначение человека в этом мире. «Земля была задумана чем-то вроде трудового воспитательного лагеря для падших демонов», а человек не создан по образу и подобию Божьему, он не «зверь-цветок», а всего лишь орудие для исправления бесов. Бог «сотворил человека, через которого [им] и открыт путь спасения. Ведь человека нет вообще», он только оболочка, в которой вселившиеся бесы искупают свои грехи. Когда все они перевоспитаются и вернуться на небеса, отпадет надобность и в человеке. Утомительные уверения в ничтожности человечества как средство самоутверждения характерны для приверженцев Ницше, который признавался: «Великое отвращение к человеку – оно душило меня». Однако в суждениях Елены Шварц нередко встречаются комические штрихи, заметно снижающие эффект. «Можно возразить, – пишет она, – "бесы веруют и трепещут, а многие люди – нет, значит – они не бесы". Но ведь Юнг доказал присутствие во всякой душе, в ее бессознательном, глубокой веры». Ну уж если сам Юнг доказал, то ни людям, ни бесам больше рассчитывать не на что.

«Есть и такие, которых тянет вниз: их демоны тянут их. Но чем ниже они опускаются, тем ярче горят их глаза и вожделение их к своему Богу», – заметил Ницше. Состояние «вожделения», одержимости передано в стихах Елены Шварц с предельной яркостью:

*Там звери чьё-то тело тащат
В нагроможденье скал,
И с глазом мёртвым, но горящим
В колодце тёмном и кипящем
Бог, погребен, стоял.*

.....

*В их чёрно-белой долгой мессе
Ползу и я в снегах с любовью,
Ем серый снег вразмешку с кровью.*

Все связанное с Богом, религией отталкивает и страшит.

*Это сокол – мощный, хищный.
Он клюёт, плюёт мне в темя...
Этот сокол – сам Господь.*

Или:

*Алмазные глаза икон
По-волчьи в ночь мою смотрели.*

...И все же ни у кого из современных поэтов так часто не встречается слово «Бог». В стихах Елены Шварц Он является в разных, порой

неожиданных ипостасях. Вероятно, Ницше был неточен, Бог не умер, но, утратив святость и мощь, был как бы приручен: вот Он мается в очереди в пункте приема бутылок («Горбатый миг») или играет, как бойкий львенок, с Ноевым ковчегом (*Со дна достанет, закружит и в пасти носит*); Его можно пожурить (*Я не Бог, я жалею собак*) и даже поймать на удочку (*А на сонной воде может Сам им прельститься – / Бог клюёт хорошо в камышах*). К этому земноводному существу бессмысленно обращаться за помощью, и в трагические минуты она взывает и к другой силе:

*Никого, кроме Тебя,
Нету больше у меня,
Никого же, ничего же –
Кроме боли и огня.
Божеская немота,
Человечья глухота,
Над Тобюю высота,
Под Тобюю глубина,
Высота и глубина.
И в одном глазу лазурном
Дырочка видна,
А в другом глазу пурпурном
Нету дна.*

Тот, к кому обращена эта мольба, Дьявол, который не знает пощады и жалости и не собирается упускать свою добычу. Тема союза с демоническими силами в обмен на возможность стать творцом-Сверхчеловеком – одна из важных в творчестве Елены Шварц, так же, как развязка этого союза в изображении ада, населенного бесами («Гостиница Мондэхель»). В этот фантазмагорический, сумрачный мир было бы невозможно заглядывать, если бы не чистый звук в тех стихах, где отступает наваждение и появляются гармония и свет. Судьба поэта нередко складывается как притча, и Елена Шварц, не дожидаясь интерпретаторов, сама выбрала ее сюжет в традиции романтизма: посланец Бога в последний миг спасает душу грешника от адского пламени.

*Когда же ангел душу понесёт,
Её обняв в тумане, – и во пламя,
Нет тела у меня и нету слёз,
А только торба в сердце со стихами.

Но прежде чем влететь в распахнутый огонь,
Не жги – молю – оставь мне эту малость,
И ангел говорит: оставь её, не тронь,
Она вся светлым ядом напиталась.*

Борис Камянов
ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ *

* * *

В 1967 году мы с Игорем Городецким поступили, наконец, в институт – на вечернее отделение филфака МГЗПИ (Московский государственный заочный педагогический институт), созданное для москвичей. Занятия проходили трижды в неделю: два – в будние дни, одно – по воскресеньям в помещении Пединститута имени Ленина на Пироговке.

Деканом была у нас Антонина Михайловна Скрובה. Когда я, работая над воспоминаниями, вошел в Интернет, чтобы уточнить ее отчество, то нашел там о ней одно упоминание: «Родилась 26 июня 1914 г. Ветеран Великой Отечественной войны. Кандидат филологических наук...». Далее следовало стихотворение Скрובהвой «Мы любили Жукова», которое начиналось так:

*Маршала Жукова любили
И все мы верили ему.
В какой бы части ни служили,
Мы знали: он защитит страну.*

При всей своей вопиющей безграмотности она была доброй и простецкой теткой. Читала она нам лекции по стихосложению и однажды произнесла слово «клаузула» (конечные слоги стихотворной строки, следующие за последним ударным слогом) с ударением на втором «у». Я, подняв руку, поправил ее:

– «Кла́узула», Антонина Михайловна.

– Ты уверен, Боря?

– Уверен.

– Хорошо, я проверю дома и на следующем занятии скажу, кто из нас прав.

Через несколько дней перед началом лекции она сказала:

– Ребята, Боря был прав, а я ошибалась.

После этого случая наша группа ее зауважала. Скрובה запомнила эту историю и через несколько лет, утверждая темы сдвоенных уроков, которые каждый из нас должен был дать во время преддипломной практики, она предложила мне прочитать обзорную лекцию по стихосложению для старшеклассников, сказав:

– Это ведь твой конек, как мне помнится?

Одним из самых сложных предметов была для нас историческая грамматика русского языка. Преподавал нам ее профессор Андрей Иванович Павлóвич, много лет, по слухам, отсидевший в лагерях. Это

* Фрагменты из книги воспоминаний «По собственным следам». Глава «"Знамя строителя" и его знаменосцы» опубликована в «ИЖ» № 16.

был седой худенький старичок, веселый и бойкий. Однажды сдавал я ему экзамен, явившись прямо с работы в засаленной телогрейке – другого вида верхней одежды я не признавал. Он посадил меня, бородатого работягу-еврея, рядом с собой и спросил:

– Кем ты работаешь?

– Бригадиром грузчиков, – ответил я.

– Так ты, наверно, крепкий парень?

– Да вроде ничего...

– А ну-ка напряги бицепс, – попросил он и, пощупав мою руку, сказал удовлетворенно: – Иди, пять.

То, что со своей бородой и в телогрейке я выглядел на московских улицах не совсем привычно, я понял однажды после случая с алкашом, шедшим мне навстречу. Он заступил мне дорогу и потребовал – именно потребовал, а не попросил:

– Дай рубль!

– А не пошел бы ты на хер! – сказал я ему.

Он разочарованно и как бы с сожалением посмотрел на меня и произнес:

– И ты такой же мудака, как все! – и добавил: – Только своеобразный.

* * *

В начале лета 1968 года я взял на базе отпуск и решил уехать куда-нибудь из Москвы, чтобы спокойно поработать над рукописью своей первой книжки, которая, пролежав без движения в разных издательствах несколько лет, пополнилась за это время новыми стихами. Посоветовавшись с друзьями, я выбрал Тарусу, райцентр в Калужской области, расположенный на высоком левом берегу Оки, при впадении в нее речки Таруски. Место это оказалось и впрямь потрясающим. Тамашняя природа, с любовью описанная жившим в этом городке Паустовским в рассказе «Ильинский омут», подобно бальзаму д'Артаньяновой матушки, быстро излечивала душевные раны, а у меня они были еще совсем свежими: я только что расстался со своей любимой и разрыв с ней переживал очень болезненно.

Сняв комнату, я две первых недели из трех отпускных не выходил из нее, наслаждаясь тишиной и покоем и работая с утра до вечера: правил старые стихи, перепечатывал их набело на одолженной у кого-то из знакомых машинке и писал новые – пока в один прекрасный момент не почувствовал, что начинаю обрастать мхом, как валун. Поутру я вышел из дома и обошел городок вдоль и поперек. На берегу Оки, неподалеку от двухэтажного шалмана, где торговали бочковым пивом, я набрел на родник с бочажком, наполненным прозрачной водой. Никогда больше, ни раньше и ни позже, не доводилось мне пить такую вкусную воду, даже прекрасная ключевая вода Голландских высот, продающаяся в Израиле под маркой «Мей-Эден», не идет в сравнение с той, тарусской.

Потом я отправился к Ильинскому омуту. Как бы я ни описывал его, мое скромное дарование не сравнится с могучим талантом Паустовского, из рассказа которого приведу только небольшую цитату:

«К Ильинскому омуту надо спускаться по отлогому увалу. И как бы вы ни торопились поскорей дойти до воды, все равно на спуске вы несколько раз остановитесь, чтобы взглянуть на дали по ту сторону реки. Поверьте мне, – я много видел просторов под любыми широтами, но такой богатой дали, как на Ильинском омуте, больше не видел и никогда, должно быть, не увижу». Подписываюсь обеими руками.

* * *

Литературная жизнь между тем была в Москве весьма бурной, хотя по сравнению с началом шестидесятых она и пошла на спад. Многотысячных аудиторий поэты уже не собирали, но вечера поэзии еще привлекали публику. Те из нашей команды, кто продолжал поддерживать связь друг с другом, выступали в молодежных кафе – всяких там «Алых парусах», «Аэлитах» и «Бригантинах», дворцах культуры и даже в престижном большом зале Ленинки.

Помню диспут, который проходил в Измайловском доме культуры. Публика, в том числе и мы, молодые поэты, сидела в зале за столиками, а на сцене расположились мэтры, среди которых были уже хорошо известная читающей публике Юнна Мориц и Виктор Урин, поэт-фронтовик, автор многочисленных стихотворных сборников. В тот вечер он прочитал стихотворение, в котором были слова «Беллы гвардейцы» – имелись в виду поклонники творчества Беллы Ахмадулиной. Как только он кончил читать, возмущенная Мориц вскочила с места и вскричала:

– Какое вы право имеете так оскорбительно играть словами! Вас же никто не назвал «урологическим поэтом»!

Мы с Уриным были знакомы шапочно, но в начале 1976 года он, узнав, что я «в подаче», обратился ко мне с просьбой устроить ему вызов из Израиля. Я его просьбу выполнил, и через год он эмигрировал в Америку. В 2004 году он умер.

Всех нас, молодых, как магнитом тянуло в ЦДЛ – Центральный дом литераторов на улице Герцена. Каждый вечер там собирались за всегдатаи: кто побогаче – в ресторане с великолепной кухней, кто победнее – в одном из двух кафе, где были буфеты, торговавшие водкой, коньяком, пивом и холодными закусками. Писатели подсаживались за столики друг к другу и к редакторам издательств, у которых тоже был доступ в ЦДЛ, крепко пили и устраивали свои литературные дела. В большом зале часто крутили фильмы, которые не показывали в кинотеатрах, в подвале была бильярдная, в вестибюле – книжный киоск, где можно было разжиться дефицитом. Попасть в этот рай земной начинающим писателям было ох как непросто: в дверях при входе стоял маленький щуплый еврей по прозвищу Крошка Цахес и требовал у каждого членский билет Союза писателей. Пройти нам удавалось только в том случае, когда нас проводили с собой счастливые обладатели заветных корочек.

Постепенно не только мы стали узнавать постоянных посетителей ЦДЛ и завязывать с ними знакомства, но и сами становились узнаваемыми фигурами. Однажды, помню, стоял я в туалете Дома, справ-

ляя у писсуара малую нужду, и вдруг обратил внимание на то, что мой сосед, занимавшийся тем же, внимательно смотрит на меня.

– Простите, – сказал он, – вы не Борис Камянов?

– Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней... – позволил я себе извратить цитату из классика.

...В середине шестидесятых в ЦДЛ была организована постоянно действовавшая Студия молодых писателей. Ее организационные рамки часто менялись, занятия проходили не только на улице Герцена, но и в других местах, так что сегодня вспомнить всех руководителей семинаров и их подопечных совершенно невозможно. Прозаиков пестовал Юрий Трифонов, к нему ходили три моих близких друга – Игорь Городецкий, Андрей Пирлик и Филипп Берман, эмигрировавший в 1981 году в США и издавший там роман «Регистратор».

Поэтическими семинарами руководили Арсений Тарковский, Борис Слуцкий и другие признанные мастера. Я сначала ходил на семинар поэта-песенника Ильи Львовича Френкеля, автора популярной во время войны песни «Давай закурим», который он проводил у себя на дому, но продолжалось это недолго: чувствовалось, что он и его жена, Эминэ-ханум, ортодоксальные советские люди, меня не любят и опасаются, видимо, подозревая в диссидентстве. От Френкеля я перешел к Аркадию Акимовичу Штейнбергу, великолепному поэту и переводчику – прежде всего, Мильтона и Ван Вэя. Ко мне он относился хорошо, приглашал домой, где меня гостеприимно встречали молодая жена Аркадия Акимовича Наташа и их огромный добрый пес. Но больше, чем меня и остальных своих учеников, он ценил Эдика Лимонова, незадолго до этого приехавшего в Москву из Харькова. Посещал я и семинар, который возглавлял Евгений Винокуров, но на занятиях он появлялся крайне редко, фактическим руководителем был Вадим Сикорский.

Время от времени Союз писателей устраивал для молодых литераторов семинары в подмосковных домах отдыха, длившиеся несколько дней. На них я познакомился со многими талантливыми поэтами. Назову некоторых из них, хотя рискую пропустить кого-то достойного, за что нижайше прошу прощения. Прежде всего, это Александр Тихомиров, великолепный, ни на кого не похожий поэт, ставший одним из моих ближайших друзей. Выделялись на общем фоне Татьяна Бек, Евгений Блажеевский, Александр Зорин, Алексей Королев, Валерий Краско, Владимир Леванский, Надежда Мальцева, Лариса Миллер, Сергей Мнацаканян, Лариса Тараканова, Марина Тарасова, Александр Юдахин. Из переводчиков назову прежде всего Евгения Витковского, Григория Кружкова и Владимира Тихомирова.

...Какая-то из маминых подруг была знакома с маститым переводчиком с языков народов СССР Яковом Серпиным, рассказала ему обо мне, и тот пригласил меня к себе. В качестве пробы он дал мне подстрочники нескольких айрен (стихотворная форма армянской средневековой поэзии) Наапета Кучака. Я эти айрены перевел, и моя работа Серпину понравилась настолько, что он подбросил мне халтурку, отказавшись в мою пользу от Манука Карапетяна, переводы которого меня потом долго подкармливали. Когда я впоследствии побывал в Армении, то выяснилось, что имя этого симпатичного прохиндея стало

в писательской среде нарицательным: о человеке, взявшем после долгой осады какую-то казавшуюся неприступной издательскую крепость, говорили: «Он их оманучил». Из моих переводов айрен (они никогда не были опубликованы) сохранился только один:

*Ночью я по улице гулял:
Для любви я девушку искал.
Ангел смерти встал передо мной.
Говорит: «Я за твоей душой».*

*Я ему ответил: «Погоди,
Лучше в дом соседа ты войди.
Я еще и к жизни не привык,
Молод я, а он уже старик.*

*Ты войди к нему. Там у него
Чаша есть, а в чаше той – вино.
Он из чаши никогда не пьет
И другим напиток не дает.*

*Молодую женушку в уста
Не целует, потому что стар.
Запер, не пускает со двора...
Ты возьми его. Ему – пора».*

* * *

Всю жизнь у меня было много друзей, составлявших целый ряд компаний, которые почти никогда не пересекались. Одна из таких «ячеек» состояла из трех человек: Вадима Ковды, Александра Тихомирова и меня. С Саней меня познакомил Вадим на одном из семинаров в Подмоскowie. Вскоре после этого я пригласил его к себе на Астраханский, мы взяли бутылку водки и ящик пива и читали друг другу стихи весь вечер и всю ночь.

Однажды после застолья по поводу дня моего рождения Саня поздно вечером возвращался домой. Нетвердо державшегося на ногах, его заметил милицейский патруль. Офицер и сержант затолкали Саню в коляску мотоцикла и отвезли в участок. Когда тот стал доказывать, что он не пьян, а лишь немного навеселе, его положили лицом вниз на скамью и сделали «ласточку»: офицер, стоя над ним, уперся коленом ему в позвоночник, а сержант спереди подсунул Сане руки под плечи и резко дернул их вверх. Результат – перелом позвоночного отростка. Саня подал заявление в милицию, там, конечно, пытались замять дело, но суд все же состоялся, и два садиста получили тюремные сроки. В 1981 году Саня погиб: его сбила электричка. К тому времени преступники уже должны были выйти на волю, и я вовсе не исключаю того, что это они свели с ним счеты.

Вадим и Саня были очень разными. Вадим – единственный из нас, часто публиковавшийся в прессе, хотя книжки его проходили очень трудно. Между первой его тоненькой книжкой «Будни», вышедшей в 1971 году, и второй, уже более солидной – «Полустанок», – прошло

пять лет. Саня же свою первую, тоже тоненькую книжку – «Зимние каникулы» – выпустил только в 1973 году и крайне редко печатался в периодике. У Вадима было много друзей, но и немало недоброжелателей: он всегда говорил то, что думал, а при необходимости мог и морду набить. Саня же был человеком крайне деликатным, бесконфликтным. Все его любили, свое полуеврейство (по отцу) он не скрывал, но и не афишировал, в отличие от Вадима, публиковавшего и читавшего публично стихи о своей маме-еврейке. До сих пор не могу понять, почему Саню почти не печатали – небольшая вторая книга – «Белый свет» – и представительная третья – «Добрым людям» – были опубликованы только после его смерти.

* * *

Однажды Вадим раздобыл для меня номер телефона Бориса Абрамовича Слуцкого, многие стихи которого я любил. Было это в 1970 году. Я не терял надежды пробить глухую защиту издательств и выпустить свою первую книгу, но прекрасно понимал, что без помощи именитых «толкачей» это невозможно. Набравшись духа, я позвонил мэтру по телефону-автомату и представился:

– Меня зовут Борис Камянов, я пишу стихи и хотел бы вам их показать.

Слуцкий сказал:

– Вы же понимаете, Борис, что ко мне часто обращаются с такой просьбой, а я человек занятой. Прочтите мне по телефону одно стихотворение, там посмотрим.

Я прочитал ему только что написанные стихи «Воздух птичий, воздух ранний...» и услышал:

– Запишите мой адрес и приходите завтра.

На следующий день я, захватив с собой папку с рукописью, сидел у Слуцкого на кухне. Прочитав буквально все – на это я не смел и надеяться, – он сказал:

– Вы человек талантливый, но полностью находитесь под влиянием Ходасевича. Вам необходимо избавиться от него и найти свою дорогу в поэзии.

– Но Борис Абрамович! – воскликнул я. – Да я ни одной его строчки не читал, как-то не попадалось.

– Трудно поверить. Значит, у вас просто родственные натуры. Почтайте его стихи, большой был поэт.

С трудом удалось мне достать сборник стихотворений Ходасевича, кажется, это была «Тяжелая лира», и, хотя я полюбил его с первых же прочитанных строк, со Слуцким согласиться никак не мог – хотя бы потому, что Ходасевич всегда серьезен, а в моих вещах трагическое восприятие мира постоянно уравновешивается юмором.

Прямо обращаться к Слуцкому с просьбой о помощи в издательских делах я не стал, а он ничего подобного не предложил. Тем не менее после той нашей встречи у него дома он во время своих выступлений на писательских форумах называл мое имя в перечне молодых поэтов, которых считал самыми перспективными.

В 1973 году, написав поэму «Похмелье», я попросил у Бориса Абрамовича разрешение прочитать ее на его семинаре.

– «Похмелье», говорите? – спросил он, внимательно глядя на меня. – Антисоветчина, конечно?

Я кивнул – а что мне оставалось делать...

– Не разрешаю! – отрезал он.

Поэма эта посвящена замечательному писателю Юрию Домбровскому, о дружбе с которым я хочу рассказать.

* * *

Но прежде всего – краткое отступление о роли алкоголя в моей жизни. «Боренькина рюмочка», умилявшая сначала моих родных, сопровождала меня всю жизнь, разросшись к окончанию школы до размеров стакана. Лет до шестнадцати «зеленый змей» еще одерживал надо мной редкие и кратковременные победы, но довольно быстро сдался и стал ручным, чему весьма способствовало поистине богатырское здоровье, дарованное мне Создателем. В стремлении научиться пить не хуже представителей титульной, как сегодня принято говорить, нации я настолько преуспел, что еще в юном возрасте мог тягаться с опытными тренированными бойцами на равных, а то и перепивать их.

Если я говорю о том, что в такой-то день поехал, к примеру, на базу, где работал грузчиком, а вечером трудился в дикой бригаде, расчищавшей от строительного мусора подвал на Полянке перед капремонтом, то выношу за скобки выпитые за это время пару стаканов «беленькой» на основной работе и еще один – на шашашке. В свободные от работы дни я, как и весь советский народ преимущественно мужского полу, забегал время от времени в «Гастроном», кооперировался с двумя обладателями родственных душ и под плавленный сырок, припасенное одним из нас яблочко или сто граммов «хора Пятницкого» – развесной жареной кильки – оприходовал очередной стакан водки, при этом стеклянный «аршин» изымался из автомата с газировкой. Еще одним местом, где «соображали на троих», было так называемое кафе «Запашок» (вариант – «Ромашка») – тамбур между мужским и женским общественными туалетами. Старушка-уборщица давала кирюхам стакан, а те оставляли ей за труды пустую поллитровку. Эту ситуацию увековечил замечательный анекдот. Стоит на улице у стены дома человек и справляет малую нужду. Подходит милиционер: «Как вам, гражданин, не стыдно – тут же за углом общественный туалет!» «Как можно! – отвечает тот. – Там люди выпивают, закусывают». (Есть и другой вариант ответа: «Что у меня, шланг, что ли!» – но это уже из иной оперы.)

Все это не считая встреч с друзьями по вечерам дома или в ЦДЛ, а также посещений пивных баров по дороге, скажем, из одной редакции в другую. Я уже не говорю о самих визитах в редакции: к примеру, в «Московский комсомолец», где заведовал отделом поэзии Саша Аронов, я без поллитры или как минимум чекушки не приходил.

Что же касается пивбаров, то больше всего я любил бывать в «Яме» – подвале в Столешниковом переулке – и двух шалманах с общим прозвищем КПЗ: Киевский пивной зал, неподалеку от Киевского

вокзала, и Колхозный пивной зал, напротив больницы имени Склифосовского, наискосок через Садовое кольцо в сторону Сретенки. «Яму» я любил за то, что там работал самый честный на свете официант Жора, которого я называл Георгий-Обедоносец. В начале каждого своего визита я давал ему рубль, и пиво, которое он приносил нам с друзьями, было неразбавленным. О Киевском зале я еще напишу, а Колхозный был баром-автоматом, где пили пиво и водку, стоя за круглыми столиками и закусывая вареными креветками и бутербродами с сыром и колбасой.

Однажды вечером я стоял там до закрытия, а с самого утра пришел туда опохмеляться, благо жил в двух шагах – в доме на углу Астраханского и Грохольского переулков. Денег хватило только на одну кружку, а зажевать пивко было нечем. Стою я, пью жигулевское, а напротив поправляет здоровье какой-то хмырь. Смотрит он на меня и говорит:

– Небось не отказался бы от креветочки, да денег нет?

Я кивнул.

– А ты в бороде у себя поищи.

Запустил я руку в бороду – и вытащил за хвост здоровую креветку, застрявшую там с вечера.

– Извини, друг, – сказал я хмырю, – не могу с тобой поделиться – самому мало. Но спасибо от души!

* * *

В последние годы перед отъездом из России я бывал в КПЗ на Колхозной довольно часто. Коммунальный быт не располагал к стихосложению, и я писал стихи в баре. Стою я однажды, кропаю что-то в блокноте, а напротив возвышается беззубый старик с ввалившимся ртом и внимательно смотрит на меня. Я заметил это и понял, что ему не терпится вступить со мной в беседу. Так оно и оказалось.

– Простите меня, молодой человек, а что вы там пишете?

– Послушай, дед, – раздраженно сказал я, – пей свое пиво и не приставай к людям.

– Мне кажется, – прошамкал старик, не обращая внимания на мою грубость, – что вы пишете стихи.

– А тебе-то что! – взорвался я. – Стой, сопи себе в две дырочки и помалкивай.

– Понимаете, – сказал он, – я ведь не просто так интересуюсь, я и сам писатель.

Тут я отложил блокнот и иронически посмотрел на своего визави. Вдруг мне стало казаться, что я его уже где-то видел.

– Ну и что же ты написал, дед? – поинтересовался я.

– Есть у меня две книги, последняя – повесть «Хранитель древностей».

И тут я понял, почему этот дед показался мне знакомым: я давно купил эту книгу и часто перечитывал, а на первой ее странице был портрет автора.

– Юрий Осипович! – взмолился я. – Простите меня, дурака! Вы можете посторожить мое пиво, я через десять минут вернусь?

Домбровский, явно довольный изменением ситуации, милостиво кивнул, и я поспешил домой. Вернувшись с книжкой, я попросил у него автограф.

– Почитайте-ка мне сначала свои стихи, – сказал он, а то вы меня знаете, а я вас – нет.

Я прочел Юрию Осиповичу с десяток стихотворений, и он оставил мне в книге следующую надпись: «Моему любимому другу – великолепному поэту – дарю эту книгу. Повторяю: великолепному поэту! Домбровский». Неловко цитировать такую неумеренную похвалу, но против фактов не попрешь...

С того дня мы подружились и часто встречались в КПЗ. Домбровский сообщил мне, что его родители – оседлые цыгане (тут он почему-то сказал неправду: отец его был крещеным евреем, мать – русской), что он при Сталине трижды арестовывался и много лет провел в лагерях, что Клара из «Хранителя древностей» не вымышленный персонаж, а реально существующая женщина, ставшая его женой. Юрий Осипович, как выяснилось, писал и стихи, опубликованные через много лет после его гибели: в 1978 году его избили до смерти в Москве, неподалеку от ЦДЛ. Я узнал об этом уже в Израиле. Стихи он писал в основном в лагерях, приведу здесь одно из них:

*Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых наостренных топора.
По всем законам лагерной науки
Пришел, врубил и сел на дровосек;
Сижу, гляжу на них веселым волком:
– Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком...
– Домбровский, – говорят, –
ты ж умный человек,
Ты здесь один, а нас тут... Посмотри же!
– Не слышу, – говорю, –
пожалуйста, поближе!
Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая,
И знают: это смерть сидит в дверях сарая,
Высокая, безмолвная, худая,
Сидит и молча держит топоры!
Как вдруг отходит от толпы Чеграш,
Идет и колыхается от злобы:
– Так не отдашь топор мне?
– Не отдашь!
– Ну, сам возьми!
– Возьми!
– Возьми!
– Попробуй!
Он в ноги мне кидается, и тут,
Мгновенно перескакивая через,
Я топором валю скуластый череп,
И – поминайте, как его зовут!*

*Его толкнул, но дровосек сел снова:
«Один дошел, теперь прошу второго!»
И вот таким я возвратился в мир,
Который так причудливо раскрашен.
Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,
На гениев в трактуре, на трактор,
На молчаливое седое зло,
На мелкое добро грошовой суги,
На то, как пьют, как заседают, крутят,
И думаю: как мне не повезло!*

Там же, в КПЗ, вскоре после нашей первой встречи, я написал поэму «Похмелье» и посвятил ее Юрию Осиповичу. В то время он находился в Голицыно, в доме творчества, и я отправил ему поэму с заказной. Вскоре пришел ответ:

«Дорогой Борис, здравствуйте. Я был очень рад и горд Вашим посвящением, тем более что это, безусловно, крепкая, злая, нежная и беспощадная вещь, изложенная с великолепной поэтической логикой. Я ее показал О. Чухонцеву, А. Битову и <нрзб>. Кроме того, вслух прочитал заехавшему ко мне другу по каторге. Буду очень польщен и благодарен за посвящение, но вот наше общее опасение: ведь наверняка кого-то из двух этих стариков сочтут, прочтя посвящение, моим прототипом, и хорошо, коли Дунькиного мужа, а то ведь и с/с (сексота. – Б. К.). Не смогли бы Вы (если уж посвящение, то посвящение) отвести от меня эту опасность двумя-тремя строками поэтического посвящения, уже прямо обращенного ко мне? Ведь если посвящение, то и обращение, правда? А вообще очень Вам благодарен и с удовольствием вспоминаю о нашей встрече в “храме на крови” (это очень хорошо!). Ваш Домбровский».

Я выполнил его просьбу и написал четыре строчки:

*Вам, добрый мастер, посвящаю я
Своей души печальное созданье.
Я знаю: боль великая моя –
Лишь мох под деревом Вашего страданья.*

Вскоре я получил от Юрия Осиповича еще одну открытку:

«Дорогой друг, спасибо вам. Очень тронут. Порядок! Я бы, конечно, и не просил бы Вас об этих четырех строках, конкретизирующих посвящение, – но жена и друзья! Битов, Чухонцев, еще другие, которых я показывал, – как, мол, ее будут толковать наши историки! Мне-то на историю плевать, меня и от нашего вранья мутит, к тому же я знаю, что на ее роточек не накинешь платочек, но хоть, по крайней мере, мне не придется отвечать на глупые вопросы слушателей и читателей. Я ее многим даю. Она, повторяю, крепко сбита. Как Аввакумовский сруб. И мораль тоже верна. Оба – жертвы, и не с кого спрашивать. С той же истории только, а персональные виновники либо в могиле, либо в истории. Извините, что запоздал (очевидно, с ответом. – Б. К.). Кланяюсь Вам, благодарю и обнимаю. Ваш Домбровский».

Однажды наша дружба была омрачена дурацким недоразумением. Мы с Юрием Осиповичем встретились случайно в ЦДЛ, он уже был крепко подшофе. Я подошел к нему и сказал:

– Юрий Осипович, давайте я вас провожу и посажу на такси.

Я вывел его на улицу Герцена и стал ловить машину, но, как назло, ни одна не останавливалась. За углом, на площади Восстания, была стоянка такси, и выхода не было – следовало идти туда. Домбровский же с трудом стоял на ногах и идти, как мне казалось, был не в состоянии. Я приставлял его к стене дома, но он все время норовил сползти на асфальт. Тут из ЦДЛ вышел кто-то из знакомых, и я попросил его присмотреть за Юрием Осиповичем, пока я сбегаю за машиной. Такси, однако, не было и на стоянке. И тут я вижу такую картину: Домбровский, избавившись от своего опекуна, под сорокапятиградусным углом к земле зигзагом бежит к троллейбусной остановке. Я, естественно, бегу за ним, понимая, что в таком состоянии он до дома на троллейбусе, да еще и с пересадкой, вряд ли доберется. Тут появляется троллейбус, Юрий Осипович устремляется к нему, но не успевает: водитель уже закрыл двери, и троллейбус начал двигаться. Юрий Осипович с разгона не успел притормозить и стал падать под колеса. В этот момент я поравнялся с ним, схватил его в охапку и с силой дернул на себя. Мы оба упали, но он тут же поднялся, бросился к троллейбусу (испуганный водитель, видевший в зеркало эту картину, затормозил и открыл двери) и вскочил в салон. Я всю ночь не спал, предполагая всякие страсти, но на следующий день встретил Юрия Осиповича на Сретенке.

– Слава Богу, вы живой! – обрадовался я.

– Я-то живой, а вот зачем вы меня вчера под троллейбус толкнули?

– Да я вас спасал, а не толкал!

Домбровский постепенно сменил гнев на милость, и «разбор полетов» продолжался уже в КПЗ...

Остается добавить, что Юрий Осипович был на моих проводах под Москвой, на «поляне Лунца», облюбованной отказниками и активистами алии, но об этом событии речь пойдет ниже.

* * *

Со временем круг моих друзей, и без того широкий, стал разрастаться. Так, Вера Копылова познакомила меня с поэтом Алексеем Кондратьевым. Алеша был прикован к постели в результате паралича. Его жена Оля тоже была парализована, но ходила, хотя и с трудом. Мой новый друг оказался одним из самых добрых людей, которых я встретил в своей жизни. На его широком лице всегда была улыбка, он радовался каждому, пришедшему к нему впервые, как ребенок новой игрушке, интересовался всем происходившим в мире, был в курсе новостей в писательской среде, всегда просил поэтов, приходивших к нему, читать новые стихи. Все старались помочь этой семье по мере сил. Мы с Верой обычно приезжали вместе, усаживали его в инвалидную коляску и гуляли с ним в Парке культуры имени Горького. Он любил анекдоты и реагировал на них глуховатым прерывистым смехом. Написав стихотворение, я читал его Алеше по телефону, а он частенько

проверял свои новые вещи на мне. Приведу образец Алешиного творчества из его первой книги «Незнакомый человек»:

*Служила тень слепцу поводомырем,
И в яркий день на солнечной дороге
Она ему твердила:
– Мы дойдем.
Недаром Бог тебе оставил ноги.*

*Вокруг него густел вечерний дым,
И были звёзды за него в ответе.
И лаяли собаки перед ним,
И плакали испуганные дети.*

*И, молча подаяние беря,
И лаем провожаемый, и плачем,
Не звал он своего поводыря
И до восхода оставался зрячим.*

Писал Алеша и стихи для детей, короткие и очень смешные. Вот пара примеров:

*Уронила на козу
Бабка горькую слезу,
А для бабки нет слезы
У бесчувственной козы.*

*Лев укротителю друг.
А вдруг?..*

Однажды я страшно провинился перед Алешей, и воспоминание о том, что случилось, преследует меня всю жизнь. Как-то я принес ему листочек с новыми офонаризмами, не сообразив, что среди них присутствует слово «параличность», которое придумалось вне всякой связи с Алешей. Во всяком случае, записывая это слово, я не думал о своем друге. Вернувшись домой и перечитывая эту страничку, я понял, что натворил, и ужаснулся. Что делать? Позвонить и извиниться означало только усугубить неловкость ситуации. Я от этой мысли отказался, а Алеша с присущим ему тактом не подал вида, что оскорблен, и наша дружба продолжалась, как будто ничего не произошло. Стыд я испытываю до сих пор. Надеюсь, что его добрая душа простила меня и принимает мое покаяние, находясь в месте своего вечного пребывания.

* * *

С Юликом Альтманом меня познакомил Вадим Ковда. Холостяк Юлик был счастливым обладателем отдельной однокомнатной квартиры на Садовом кольце с большой кухней, в которой он потчевал гостей самогоном собственного изготовления. Во время нашей первой встречи, когда он чихнул и я сказал ему: «Будь здоров!», он буркнул: «Не твое дело!» – и мне стало ясно, что мы непременно подружимся.

Я знал в своей московской жизни только двух людей, надолго обеспечивших себе постоянный источник дохода, приложив к тому минимальные усилия. Это, прежде всего, Ася Городецкая, сочинившая в ранней молодости стихотворение «Уходит детство через мой порог...», с легкой руки композитора Шаинского ставшее шлягером и принесшее со временем автору и ее семье кооперативную квартиру и постоянно капавшие из Агентства по охране авторских прав проценты за исполнение песни по всему Союзу. Второй такой человек – Юлик. Этот гений изобретательства напридумывал целую кучу разнообразных изделий, выпускавшихся какими-то артелями, где числился за это на зарплате, являясь туда лишь дважды в месяц – за авансом и получкой. Самым большим спросом пользовались в народе изобретенные им накладные ресницы, продававшиеся в наборе, куда входили также, если не ошибаюсь, клей, кисточка для его нанесения и тушь.

Юлик в основном сидел дома, и мы с Вадимом и Сашей Тихомировым часто у него бывали. Однажды он приобрел где-то трофейный «виллис», перегнал его на дачу к приятелю и там, в гараже, смастерил к нему металлический кузов, к чему и я приложил руку. Когда все было готово, мы с ним вернулись в Москву, причем Юльтман, как я его называл, наскоро преподав мне азы вождения, посадил меня за руль, и я проехал несколько километров на прямом участке загородного шоссе.

К моему отъезду из России он подарил мне два ведерных стеклянных баллона отлично очищенного самогона. Я вез этих «гусей» через всю Москву в метро, направляясь за город, на «поляну Лунца», отмечать отъезд, и хотя они были надежно спеленаты тряпками и помещены в огромные сумки, запах фирменного напитка был столь всепроникающ, что мужчины в вагоне раздували ноздри и плотоядно облизывались.

Невысокий и сутуловатый Юльтман имел типичную семитскую внешность, носил рыжеватую бородку, в которой начинала пробиваться седина, и был уже далеко не юношей – старше меня лет на десять. При этом классическом бабнике (как, впрочем, и все мы тогдашние) всегда паслись молодые девицы. Незадолго до моего отъезда он сошелся с милиционершей и часто повторял с полным на то основанием: – Ебал я советскую милицию!

Юлика Альтмана не стало, когда я уже был в Израиле.

* * *

В Союз писателей меня без книги не принимали, книгу не издавали, и нужна была какая-то отмазка от милиции, чтобы не попасть в категорию тунеядцев. Для таких, как я, существовало несколько организаций, которые назывались профессиональными комитетами литераторов (литератор, надо понимать, – это недописатель, второй, так сказать, сорт). Большая часть моих пишущих друзей были членами Профкома литераторов при издательстве «Советский писатель», к которому, впрочем, комитет не имел равным счетом никакого отношения. В эту организацию меня приняли, более того: коллеги, быстро уловив во мне общественную жилку, избрали меня вскоре сначала заместителем председателя, а потом председателем секции поэзии.

* * *

В 1973 году я развелся – и пресловутый квартирный вопрос больно клюнул меня в то место, куда обычно делают уколы. Три года, до отъезда в Израиль, я жил где попало. Ходил по всяким советским учреждениям, сидел на приемах у депутатов горсовета – все тщетно. Прописка у меня была в коммуналке в Астраханском, а метраж на человека в нашей комнате даже превышал норму. Однажды написал письмо с отказом от участия в выборах в Верховный Совет с объяснением причин и вручил его агитатору, но ни на кого этот жалкий демарш впечатления не произвел. Более того: мама приехала в избирательный участок, к которому я был прикреплен, и проголосовала вместо меня. Узнав об этом вопиющем нарушении закона со стороны членов избиркома, я было собрался строчить кляузы, но, пораскинув мозгами, плюнул и решил не начинать склоку – ничего, кроме неприятностей для мамы, ожидать от советской власти не приходилось. Жилья не предвиделось, книгу никто издавать не собирался, и я стал всерьез подумывать об отъезде. Никаких перспектив в России у меня не было. Я оказался в тупике.

* * *

В нашей семье принадлежность к еврейству никогда не подчеркивалась, светлое будущее родители видели исключительно коммунистическим, а языком ежедневного общения был русский – даже значение слова «поц» я узнал только лет в пятнадцать от Саши Островского, который, правда, сначала меня разыграл, сказав, что это аббревиатура слов «Парень Очень Ценный», и лишь потом сообщил его истинный смысл. Несмотря на это, я всегда чувствовал свою инородность в окружении, с интересом и симпатией относился к Израилю. При всем этом я любил Россию, природу среднерусской полосы, русский фольклор и русскую литературу и считал все это своим, не имея ни малейшего представления о наследственном национальном богатстве, которого меня лишила советская власть и добровольно отказавшиеся от него мои родители. Эти духовные ценности я обрел только в Израиле, да и то далеко не сразу после приезда. Но врагом России я, повторяю, не был никогда. Однако (а может быть, именно поэтому) участвовать в ее судьбе, учитывая историю моей семьи, я не желал категорически. Именно поэтому я никогда не лез в диссиденты.

* * *

Не довелось мне ни осваивать целину, ни строить БАМ, и я об этом ничуть не жалею. Но вот в глобальных проектах по спасению природы страны, в которой я прожил полжизни, поучаствовать мне довелось.

На северо-западе России, на Валдайской возвышенности, стали гибнуть леса. Болотистая почва, на которой они росли, по непонятным (по крайней мере, мне, неспециалисту) причинам начала еще больше заболачиваться, и деревья стали гнить на корню. Ученые приняли решение прорыть в этих лесах сеть каналов, по которым

почвенные воды будут стекать в многочисленные в этом регионе реки. Начать решили с лесов, примыкающих к реке Жукопа, правому притоку Волги, к югу от озера Селигер. Были определены трассы каналов, и прежде чем завести туда бульдозеры, надо было обозначить эти трассы просеками, по которым и должна была двинуться техника. Узнав каким-то образом о наборе для этой цели лесорубов, мы с Яшей Зугманом и Эдиком Молчановым нанялись на эту работу и вместе с нашим начальником, геодезистом Юрой, прибыли на место.

С Эдиком Молчановым меня познакомил в свое время Юра Табанский, уволившийся из Ленинки и устроившийся дворником в Пушкинский музей, где Эдик работал оформителем. Эдик учился на филфаке МГУ, как он писал мне в письме, «в качестве вечного студента, статус которого приобрел после участия в митинге на Пушкинской площади в 1965 году». Был он убежденным антисоветчиком и антикоммунистом и стал известным деятелем оппозиции во время «перестройки».

Прибыли мы на станцию Жукопа, добрались пешком до расположенной неподалеку одноименной деревни на двадцать пять дворов, сняли жилье и приступили к работе.

Деревня эта располагалась на правом берегу полноводной, шириной метров пятьдесят, реки, на краю леса. В ней были магазин, почтовое отделение и Дом культуры. Поблизости находилась психиатрическая лечебница, которую местные жители называли «Дом ха-ха». Тихие безвредные идиоты ходили из дома в дом, где их подкармливали в благодарность за помощь по хозяйству.

Красота там была неопишуемая, и тем тяжелей было видеть, как погибают больные деревья. Мы прорубали просеки, проваливаясь по колено в болото, ставили деревянные реперы там, где трасса должна была отклониться под прямым углом, изготавливая их из наименее пораженных гниением стволов, бегали с рейкой, по которой Юра наводил нивелир... Работа была трудной, к вечеру мы очень уставали, но настоящим нашим бичом были слепни: они кружились вокруг нас и больно жалили, предпочитая почему-то места за ушами – там у нас, должно быть, самая сладкая кровь. Болезненные желваки от укусов кровопийц прошли у нас в Москве очень нескоро.

В лесу водились медведи и лоси, мы видели их несколько раз и пили воду через соломинку из следов, которые они оставляли в болотистой почве. Однажды ранним утром, рыбача с лодки у берега Жукопы, я увидел лося, прыгнувшего в реку с некрутого обрыва. На середине реки голова сохатого закрыла собой восходящий солнечный диск, и эта картина напонила мне гениальную операторскую находку в фильме «Жаворонок», где Геннадий Юхтин вылезает из танка и открытый люк машины заслоняет солнце. Но если в кино эта сцена появилась благодаря внезапному счастливому озарению человека, то увиденное мной было результатом ежедневной будничной деятельности того, Кто создал и лося, и речку, и солнце, и меня, чтобы я всей этой красотой любовался. В те годы я уже понимал, что материя вторична, а первичен – дух, и постепенно становился религиозным...

Река буквально кишела рыбой, и крупные лещи постоянно были на нашем столе – в жареном и копченом виде. На лесных полянах

росли в изобилии черника и голубика; во время послеобеденного отдыха можно было расстелить брезент, лечь и обрывать ягоды вокруг себя, не вставая в течение часа. Однажды поздним вечером, когда мы ехали на вездеходе лесничего по наезженным в центре широкой просеки колеям, фары высветили в одной из них крупного глухаря. Он бежал и бежал вперед, не догадываясь, что у этой дороги смерти есть обочина, на которую можно выпорхнуть – и так спастись. Шофер аккуратно, не газуя, наехал на крыло птицы и остановил машину. Разделявая глухаря, чтобы сварить из него суп, мы увидели, что желудок его наполнен кашеобразной массой синего цвета – это были черника и голубика, входившие в его рацион. Если бы на его месте был я, мои внутренности выглядели бы точно так же...

* * *

Временную работенку в журнале «Библиотекарь» мне устроил Игорь Городецкий, прочно обосновавшийся в редакции в качестве завотделом патриотического воспитания. О трех разделах журнала, перешедших в мое ведение, я говорил: «Мне, нищему, предстоит вести тему “Экономика”, мне, верующему, доверена тема “Атеизм”, мне, многогрешному, поручена тема “Мораль”...»

Редакция располагалась в здании, принадлежавшем Библиотеке имени Ленина, но не в основном ее корпусе, а в доме напротив, через Моховую. Издание было органом Министерства культуры РСФСР и выходило двухсоттысячным тиражом. Главным редактором был Борис Николаевич Бачалдин, человек славный и вполне интеллигентный, его заместителем – Григорий Андреевич Жидков, стукач и юдофоб, уверявший всех, что на самом деле он Житков, а букву в фамилии ему заменили злокозненные евреи, окопавшиеся в паспортном отделе. Ответсекретарем журнала была Софья Ивановна Ефремова, очень толковая сорокалетняя женщина, прекрасно чувствующая русский язык.

У нас сложилась теплая компания – Игорь, я, Софья и еще три человека: редакторы Владимир Федорович Земсков, известный есениновед, и Оскар Антонович Важко, парторг редакции, а также машинистка Таня Богоявленская, веселая разбитная молодая бабенка, постоянно носившая за чем-то парик, из-за чего я называл ее паричной женщиной. После работы мы затоваривались водкой и шли в ближайшую пельменную там же, на Моховой. Иногда Володя, живший под Москвой в деревянном доме с женой и сыном, приглашал нас к себе (он был одним из тех, у кого я время от времени ночевал после развода). Однажды он принес на работу из химчистки белье с пришитыми новыми метками, где по чьему-то недосмотру значилось «В. Земеров», и я так с тех пор и стал его называть. Приходя в их гостеприимный дом, я неизменно говорил с порога:

– Здравствуй, здравствуй, Вэ Земеров – друг бездомных людей!

Володя жил очень трудно и экономил на всем, за исключением дружеских застолий. Он научился сбрасывать с помощью иголки показания электросчетчика, каким-то образом заставляя его крутиться в обратную сторону, и однажды пришел на работу в расстроенных чувствах.

– Кто-то позвонил в дверь, – рассказывал он, – я посмотрел в глазок – из Мосэнерго, а у меня как раз счетчик на сброс вертится. Я иголку вытащил и – делать-то нечего – открыл дверь. Мужик вынул свой талмуд, стал записывать показания – и вдруг поднял голову и посмотрел на меня. «Прошу прощения, товарищ Земцов, от имени государства – оно, оказывается, еще осталось вам должно».

Володя умер вскоре после моего отъезда в Израиль от туберкулеза.

Пройдут три года, и редакцию журнала «Библиотекарь», ставшего к тому времени всесоюзным, разгонят – отчасти по моей вине. На моих проводах в Израиль на «поляне Лунца» Игорь записывал на магнитофон все, что там говорилось, среди прочего мою новую песенку в моем же исполнении – «Рыбный день»:

*– Сегодня рыбный день, –
сказала мне жена, –
и Брежнева до маршала повысили. –
С опаской я гляжу
на площадь Ногина:
чего-то там опять они замыслили...
Советский человек!
Ешь серебристый хек
за здоровье полководца гениального!
Потратишь полрубля –
затычку купишь для
ненужного отверстия анального.
...Позавтракав селедкой,
поспать прилег я в тень,
но явь не отдалилась, а приблизилась:
мне снилось, что в стране
введен говенный день
и Леонид Ильич – генералиссимус...*

Придя на следующий день на работу, мой друг не нашел ничего лучшего, как прокрутить эту запись при стечении народа, среди которого оказался новый сотрудник, немедленно стукнувший куда положено. Софью и Оскара выгнали с работы, а Оскара еще и из партии, людей по одному тягали в КГБ, и кончилось это благополучно, как это ни странно, лишь для прямого виновника скандала – Игоря. Почувствовав, что пахнет жареным, он обратился к знаменитому диссиденту Владимиру Яновичу Альбрехту, автору самиздатских пособий «Как быть свидетелем» и «Как вести себя на допросе», с которым я свел его перед отъездом, за консультацией. КГБ это, естественно, просек и, видимо, решил оставить Игоря в покое.

* * *

Хотя налог на высшее образование был уже отменен, для отъезда все равно требовались деньги. Их надо было где-то заработать. И тут на помощь пришел Саня Тихомиров, трудившийся тогда на Долгопрудненском кладбище рабочим по установке памятников и оград.

– Иди в нашу бригаду халтурщиком, – сказал он, – рублей триста в месяц будешь иметь как минимум.

Бригада Сани состояла из двух человек: его самого и Ильи Шифрина, поэта и математика, автора нескольких кандидатских диссертаций, написанных им для других людей – за гонорар, разумеется. Илья собирался эмигрировать с семьей в Америку, и ему тоже были нужны деньги, для этого он и устроился на кладбище.

Работа на Долгобе – так мы вкратце называли это место – была организована следующим образом: бригад, устанавливавших памятники и ограды, было три или четыре, каждая состояла из двух-трех человек на зарплате. Впрочем, зарплату там никто не получал, работы оставляли ее директору и смотрителям, только расписывались в ведомости за получение, а жили с навара, который превышал ее многократно. В каждой бригаде были так называемые халтурщики, которым бригадир платил ежедневно в конце дня, – они-то, в основном, и делали всю работу, в то время как их официально оформленные коллеги «проясняли клиентов» – бродили среди могил на отведенных им по общей договоренности участкам и предлагали свои услуги посетителям кладбища.

Особняком держались землекопы, которые тоже имели хорошую копейку. Основным источником их заработка было «рыжье» – золотые зубы, которые они собирали при перезахоронении останков и «подселении» только что умерших в родственные могилы. Это не говоря уже о трешках, пятерках и десятках, которые им давали родственники каждого покойника после похорон. Смотрители имели свой навар прежде всего с продажи под новые захоронения «бесхозных», то есть заброшенных могил на сухих старых участках, близко от входа.

Деньги крутились там бешеные. Члены бригад зарабатывали по несколько тысяч, халтурщики – по несколько сотен. Чтобы попасть в штат, надо было выложить директору кругленькую сумму. Кладбищенские рабочие четко делились на две категории: «завязавшие» уголовники – и интеллигенты, среди которых было немало евреев. Конфликты между входившими в эти группы практически не возникали, если только кто-то из них не пытался прояснить клиента на чужой территории. Вскоре после того, как меня взяли к себе в бригаду Саня и Илья, я невольно стал «нарушителем конвенции». То ли ребята недостаточно подробно обрисовали мне границы нашего участка, то ли я неправильно их понял, но отловил-таки жирного зайца на чужом поле. Оскорбленные такой наглостью соседи подошли к Илье и сказали:

– Смотри, Удав, твой новый халтурщик совсем обгорел. Укороти его, а то сам знаешь, что за это бывает.

А бывало за это вот что: человек бесследно исчезал, и даже те, кто его замочил, уже через день-другой не могли бы найти на огромной территории кладбища могилу, куда убитого бросили и завалили землей.

Прозвище Ильи «Удав» было очень точным: этот высокий бородастый еврей с литыми узловатыми мышцами смотрел клиенту прямо в глаза, обсуждая заказ, и тот, как замороженный, соглашался со всеми условиями. За умение додавливать самого капризного и прижимистого клиента я называл его не Удавом, а, как больше приличествует еврею, Давидом.

Илья строго поговорил со мной, мы купили водку и закуску на две бригады, выпили, я покаялся и был на первый раз прощен.

Законы человеческого общежития соблюдались на кладбище – да и то не всегда – только между его работниками. С клиентами же все вели себя предельно нагло, соревнуясь, кто кого перещеголяет в цинизме. Завидев одинокую старуху, кто-то из работяг подходил к ней и задавал стандартный вопрос:

– Ну что, бабка, всю пенсию принесла?

На кладбище продавались ограды двух типов: уродливые клетки со стенками, сваренными из жестяных полос, списанных на каком-то заводе как отходы, с дырами разной конфигурации, оставленными после вырубки из них разнообразных деталей, – и вполне приличные, хотя и очень низкие, но из довольно прочных прутков, иногда витых, с бордюром в форме колец, под которым на каждой стороне был приварен в одном из верхних углов прутки в форме полукруга, а от него расходились веером лучи. Называлась эта красота почему-то «абхазское солнышко». Первая ограда стоила двадцать семь рублей, и ее образец стоял перед конторой у входа на кладбище, вторая – сорок, и покупатель, которому ее демонстрировали в сарае, служившем складом, должен был выложить сверху двадцатку.

Обычно проясняли клиента так: подойдя после похорон к родственникам покойника, кто-то из нас говорил:

– Памятник к сороковинам надо поставить, а оградку хорошо бы побыстрее, чтоб по могиле никто не ходил, – и добавлял, назвав свое имя: – Спросите меня, все сделаю в лучшем виде.

Когда заказчик появлялся на кладбище, то, если он человек наивный и неопытный – таких кладбищенские психологи видели издали, – его подвели к образцу оградки-уродины и говорили:

– Плати двадцать семь рэ в кассу, и она твоя.

При этом работяга легонько толкал ногой одну из жестяных полос, и она начинала болтаться, держась только на верхнем сварном шве, – нижний был обломан заранее.

– Они что – все такие? – спрашивал клиент.

– А ты чего хотел – это же работа государства, а не частного. Да ты не тушуйся: проволокой притянешь – лет десять простоит, а то и одиннадцать. Зато дешево.

– А чего-нибудь получше у вас нет?

– У нас, как в Греции, все есть, только стоять это будет подороже.

И тут-то начиналась настоящая работа по прояснению клиента. Следующим этапом был склад с «абхазским солнышком», а если клиент попадался состоятельный, с ним шли на участок и показывали товар лицом: он мог выбрать любую понравившуюся ограду, и работяги заказывали такую же у своих постоянных сварщиков. Те изготавливали их на совесть на заводах, где работали, а потом привозили к нам в сарай – у каждой бригады был свой, где мы держали левые ограды, инструменты, передевались и пили водку. За приличную, солидную ограду мы платили, скажем, восемьдесят рублей, а с клиента брали сто двадцать.

Опытные и денежные заказчики сразу говорили:

– Пошли на участок, я сам выберу.

Договорившись, мы заказывали ограду, а когда ее привозили, грузили на тачку лопаты, песок и цемент, доставляли все это к могиле, рыли ямы под каждую из ножек, на месте делали раствор и плотно притягивали калитку к ближайшей стойке, чтобы, пока он схватится, стенки не перекошились. Красить ограды мы считали ниже своего достоинства; на кладбище крутились поселковые мальчишки (Долгопа находилась за городом, добираться туда надо было на электричке с Савеловского вокзала) и взрослые алкаши, которые выполняли эту работу за трояк.

Начинали мы день с установки плановых оград – тех самых, двадцатисеми- или сорокарублевых, а потом работали на себя. Пили по черному, но публика эта была тертой и держалась стойко. Каждая бригада, кроме нашей, подкармливала бродячих собак, и я поначалу умилялся любви наших коллег к животным. Но вскоре вспомнил бессмертный вопрос Пятачка, друга Винни-Пуха: «Любит ли Слонопотам поросят? И как он их любит?» Работяги приманивали псов покрупнее и, когда собака набрала достаточный вес, ее убивали и готовили из нее шашлык. Так что Воробей, герой Сергея Каледина из повести «Смирненное кладбище», который всего лишь садистски ошпарил песика в котельной, – большой гуманист по сравнению с нашими коллегами. Мы с Саней и Илей, несмотря на приглашения, собачатину не ели.

Деньги эта публика любила страстно, но была способна и на широкие жесты. Однажды мы с Саней и Илей заметили, что в сарай соседней бригады главный их «прояснитель» завел нестарую бабенку. Минут через пять он вышел, его сменил другой – и так до тех пор, пока там не побывал последний из этой компании.

– Муж у нее умер, – сказал нам потом их бригадир, – а денег на оградку и на установку нет. Ну мы и вошли в ее положение – работу сделали, а взяли натурой.

Одно из лучших стихотворений Сани Тихомирова тоже написано на кладбище:

*До чего же безумное лето!
Побезумнее света того...
Фантастичней видений поэта
Необъятная совесть его.*

*У поэта – ключи от сарая,
А в сарае – кладбищенский хлам,
Что в дары мусульманского рая
Превращается по вечерам.*

*Ржавый крест – в ресторанную люстру,
Чьи-то слезы – в бутылку пивца,
Мат смотрителя – в том Заратустры,
И надгробья – в ступени дворца...*

*Так брожу среди сладкого тленья,
Похоронные марши пою;
У оградок встаю на колени –
Проверяю работу свою.*

Разгуливая в свободные минуты по участку, Саня меланхолически напевал песню, ставшую шлягером в исполнении Марка Бернеса, меняя в ней всего одно слово: «Просто я работаю, просто я работаю мошенником, мошен-ни-ком...» Если день выдавался неудачным и вырочка была скудной, он успокаивал нас с Ильей:

– Будет день, и будет тыща.

Что касается «ресторанной люстры», то мы с Саней погуляли в те полгода моей кладбищенской работы от души: прежде всего, мы, конечно, могли себе позволить ходить в ЦДЛ гораздо чаще, чем раньше, хотя сидели там по-прежнему в кафе, а не в ресторане, экономили: у него была семья – жена Лидия Медведникова, прозаик, и маленький сын Митя, а я раздавал долги и собирал деньги на отъезд.

Теперь самое время вспомнить и об упомянутом выше втором КПЗ – Киевском пивном зале, между вокзалом и Дорогомиловским рынком. Ходили мы туда большой кладбищенской компанией, двумя-тремя бригадами. Завидев нас, швейцар на входе радостно улыбался и пускал всех нас без очереди, за что получал свой честно заработанный трояк. Стоявшие в очереди не роптали, понимая всю бессмысленность протеста, и терпеливо ждали своего часа. Когда первый из нас появлялся, поднявшись по лестнице, в зале второго этажа, официантки бросались к нам с криком:

– Наши мальчики пришли!

Как бы плотно ни был забит зал, всем приходилось потесниться, освобождая место для двух столов, появившихся в мгновение ока откуда-то из-за кулис. Счастливица-официантка, подсуетившаяся быстрее своих товарок, приносила нам свежайшее пиво и отборных раков или креветок в зависимости, как в те годы говорилось, от разблюдовки – экое замечательное вспомнилось слово! – в этот день. Мы доставали принесенную водку – и начинался гудеж...

* * *

В последние годы своей жизни в России я подружился с замечательной семьей. Глава ее, Георгий Борисович Федоров, среди своих – ГэБэ, был известным археологом и писателем, автором многих книг, из которых самой популярной была в то время «Дневная поверхность». В аннотации к последней прижизненной книге Георгия Борисовича «Басманная больница», вышедшей в 1989 году, когда я уже давно жил в Израиле, говорится: «Доктор исторических наук Георгий Борисович Федоров посвятил свою жизнь истории Подунавья и Приднепровья, участвовал в раскопках древнего Новгорода». Эту книгу он прислал мне с оказией в Иерусалим с трогательной надписью: «Любимому другу Боре Камянову сквозь годы, тысячи километров, границы и все остальное с неослабевающей любовью».

ГэБэ был, возможно, первым абсолютно свободным внутренне человеком из всех встреченных мною в жизни. Он брал с собой в экспедиции, на раскопки, гонимых властью знакомых и незнакомых людей, в том числе освободившегося из лагеря Наума Коржавина, опального историка Александра Некрича, диссидентов Илью Габая,

Вадима Делоне, Веру Лашкову, что спасало их от преследований по обвинению в тунеядстве. Работал у него одно время землекопом и Саня Тихомиров. ГэБэ дружил с открытыми противниками режима, подписывал письма протеста; на кухне его просторной квартиры недалеко от метро «Академическая» можно было встретить самых разных людей, которых объединяло одно: они были интересны хозяевам, любимы ими и отвечали им взаимностью. ГэБэ, его жена Майя и сын Миша тепло привечали и таких знаменитых людей, как Аркадий Стругацкий, Юлий Ким, Игорь Губерман, и никому не известных молодых поэтов и художников.

Жена ГэБэ красавица Майя, Марианна Григорьевна Рошаль-Строева, – дочь известных кинорежиссеров Григория Рошала и Веры Строевой. Она пошла по стопам родителей и тоже стала режиссером кино. На Одесской студии Майя сняла фильм «Белый пудель», а на студии «Молдова-фильм» – «Орлиный остров» (вместе с М. Израилевым). Когда я познакомился с этой семьей, Майя уже оставила работу в кино и занималась переводами: в начале войны Георгий Борисович был тяжело контужен, впоследствии перенес какое-то неправдоподобное количество инфарктов – что-то около десятка, он сам перестал вести им счет – и в годы моего общения с ним нуждался в постоянном уходе.

Их сын Миша, художник-концептуалист, был моложе меня на двенадцать лет, но мы с ним крепко сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Умница и симпатяга, он обладал, как и родители, редкостным чувством юмора. Миша был самым молодым участником знаменитой «бульдозерной выставки» в Беляеве в 1974 году, вместе с Виктором Скерсисом и Геннадием Донским основал перформанс-группу, родившуюся вскоре после этого. В 1975 году на ВДНХ прошла выставка молодых художников, где в павильоне «Дом культуры» Миша вместе с Витей и Геной высиживал яйца в двухметровом гнезде, высмеивая тем самым присутствие художников на сельскохозяйственной выставке, после чего их группу прозвали «Гнездо». Через много лет его работы «Коммуникативная труба» и «Железный занавес» прославились благодаря фильму Сергея Соловьева «Асса».

...Георгий Борисович и Майя в начале девяностых годов переехали в Лондон, куда ГэБэ был приглашен читать лекции студентам. 7 февраля 1993 года он скончался. Майя осталась в Англии, я пытался установить с ней связь, но безуспешно. Миша умер в Москве в 2007 году в возрасте пятидесяти лет – уснул и не проснулся.

* * *

Литфонд СССР. 1975. II.3. Зачислен на должность старшего инспектора сектора лечебно-бытового обслуживания московских писателей. 1976. III.1 Освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В моей трудовой книжке эта запись – последняя.

Литературный фонд был основан в 1934 году при Союзе писателей СССР для оказания материально-бытовой помощи писателям. В мое время за членство в Литфонде готовы были многое отдать писатели, не

состоявшие в СП (члены Союза становились членами Литфонда автоматически). Большой штат сотрудников заботился обо всех нуждах своих подопечных: выдавал денежные пособия, ссуды и средства на поездки по стране для сбора материала для книг, распределял путевки в дома творчества и санатории – и это далеко не все, на что имели право счастливые обладатели заветного членского билета. В частности, они могли быть уверены в том, что когда литфондовская поликлиника признает свое поражение и они завершат свое земное существование, их за счет Литфонда похоронят и поставят на могиле памятник.

Все годы этим видом услуг занимался там легендарный Арий Давыдович Ротницкий, похоронивший, по слухам, еще Льва Толстого. Родился этот великий человек в 1885 году и прожил девяносто семь лет, но где-то в начале семидесятых женился и вышел на пенсию. Я не был с ним знаком, но, по рассказам знавших его, Ротницкий был начисто лишен чувства юмора, зато был объектом неисчислимых шуток. Приведу здесь только одну, самую мою любимую. Светлов, называвший его Колумбарием Давыдычем, однажды сказал:

– Каждый из нас споет арию Давыдыча.

На смену Ротницкому пришел Лев Наумович Качер – крепкий мужичок средних лет, бойкий, деловой и расторопный, но вскоре выяснилось, что нестарый здоровяк Качер не справляется с объемом работы, которую исполнял престарелый и больной Арий Давыдович. Тот успевал и хоронить писателей, и организовывать изготовление и установку памятников на их могилах, а Качера на все это никак не хватало. И тогда администрация решила разделить его обязанности на двоих и подыскать ему в помощь нового сотрудника. Не помню уж, кто рекомендовал меня литфондовскому начальству и сыграл ли в этом деле роль мой кладбищенский опыт, но в начале 1975 года к Качеру присоединился еще один еврей – я, твердо решившийся на отъезд и все еще нуждавшийся в деньгах, – а работа обещала быть хлебной. Похороны были теперь целиком в ведении Левы, а я занялся памятниками. Бывали, правда, случаи, когда нам с Качером приходилось по разным причинам подменять друг друга, но это было исключением из правила.

Директором Литфонда был Юрий Николаевич Воронин, его заместителем – Вячеслав Иванович Федоровский. Оба были разведчиками и работали под прикрытием дипломатических паспортов, один – в Англии, другой – если не ошибаюсь, в Голландии. В начале семидесятых их разоблачили, и они были вынуждены вернуться в Москву, где им подыскивали теплые номенклатурные местечки. Я с ними редко сталкивался, но, по-моему, они были неплохими мужиками – ко мне, во всяком случае, не придирались, а когда я объявил о своем скором отъезде в Израиль, никаких препятствий мне не чинили и отпустили с миром.

...Существовала негласная табель о рангах, в соответствии с которой семьям умерших писателей выделяли деньги на памятник. Лишь придя после похорон в Литфонд, родственники покойного узнавали его, так сказать, истинную цену. Минимум, на который они могли рассчитывать, составлял триста рублей, потолок – несколько тысяч. Получив копию решения администрации, эти люди приходили ко мне, и я подробно рассказывал им, что именно они могут на эти деньги

заказать. Если они готовы были доложить и свои сбережения, вариантов, естественно, становилось больше. Когда все ограничивалось установкой мраморной доски с фотографией или без нее, было совсем просто: я ехал с ними на кладбище к каменотесам, и мы делали заказ. В случае, если речь шла о крупных деятелях и тем более корифеях советской литературы – а соответственно, о памятнике, а не о простой доске, – к работе подключались скульпторы. Качер передал мне список тех, с кем имел дело, и назвал процент, который избранный мною ваятель должен был мне отстегнуть, как отстегивал моим предшественникам. Скульптор готовил эскиз, Литфонд и семья покойного его утверждали, и заказ передавался на завод-изготовитель. Таким образом, я был посредником между Литфондом, родственниками умершего писателя, скульптором и заводом, где я частенько бывал, чтобы контролировать качество и темпы работы. Приходилось мне заказывать там и мемориальные доски, которые вмуровывались в стены домов, где жили советские классики, и бюсты, устанавливавшиеся в присутственных местах.

В списке скульпторов значился Вячеслав Клыков, о котором я до тех пор не слышал. Мастерская его была в доме, расположенном точно напротив моего в Астраханском переулке. С первым же солидным заказом я направился к нему. Этот симпатичный молодой худощавый парень мне сразу понравился, и мы быстро договорились. Посмотрев его работы, я сразу понял, что это скульптор милостью Божьей. Время от времени я заходил к Славе с бутылкой водки – он тоже был из тех, кто стакан мимо рта не пронесет.

На деньги, полученные мной тогда от Славы Клыкова, я купил подержанную машинку «Колибри», привез ее с собой в Израиль, и она честно служила мне до первого моего компьютера.

* * *

Первый раз я попал в синагогу на улице Архипова в 1966 году, в самый веселый еврейский праздник Симхат-Тора (так он называется на иврите), или Симхес-Тойра (на идише) – «Радость Торы», единственный день в году, когда все танцуют со свитками Торы в руках в синагоге и на улице и женщинам разрешается быть среди мужчин.

С тех пор я приходил в этот день к синагоге ежегодно, причем, как правило, в большой компании, в которой были не только евреи.

В шестидесятые годы празднества на Архипова проходили относительно спокойно, но с начала семидесятых наряды милиции и дружинников загодя собирались во дворе напротив синагоги, за железными воротами, и когда улица заполнялась людьми, ворота открывались, и менты со своими подручными врубались в самую гущу толпы. Они махали кулаками направо и налево, били людей ногами, а тех, кто пытался дать отпор – а таких было немало! – уволокивали в тот же двор и запихивали в стоявший там «воронок».

Когда я работал бригадиром грузчиков, мы ходили после трудового дня к синагоге в Симхес-Тойру всей бригадой, приняв предварительно по стакану водки и прихватив с собой пару бутылок для добавки. В толпе мы старались держаться вместе, олицетворяя собой дружбу

народов гораздо ярче, чем знаменитая скульптурная группа Мухиной у ВДНХ – спайку рабочих и колхозников. Обладатель резко выраженной семитской внешности вечно хмельной Яша Коган и малопьющий увалень Леша Мышов, могучий тяжеловес еврей Володя Миронов и невысокий пролетарский поэт Юра Клепов, поляк Эдик Иодковский и часто присоединявшийся к нам Игорь Городецкий – эта пестрая компания производила впечатление на окружающих. Добравшись до центрального входа, я пробивался по ступеням к ближайшей колонне, забирался на узкий цоколь, на котором приходилось быть крайне осторожным, чтобы не сверзиться, и читал стихи, начиная, естественно, с «Симхестойрь». Слушатели, толпившиеся внизу, принимали меня восторженно, и когда я, наконец, все же срывался и падал, десятки рук подхватывали меня и осторожно опускали на землю.

...Окончательно решившись на отъезд, я дал знать об этом Ленке Барас, к тому времени носившей фамилию Бен-Йосеф и жившей уже несколько лет в Израиле, и попросил у нее вызов. Мама, которую я звал с собой, категорически отказалась уезжать из России, об отъезде брата с семьей и речи быть не могло – он всегда чувствовал себя не менее русским, чем его жена и дети.

И вот наконец долгожданный вызов получен, необходимые документы собраны и отнесены в ОВИР. На быстрое разрешение рассчитывать не приходилось, а вероятность отказа была весьма высокой.

Влившись в ряды «подавантов», я стал по субботам приходить к синагоге, где в этот день собирались «отказники» и люди, которые хотели заказать через них вызов из Израиля. Для меня эти посещения сионистских тусовок были, с одной стороны, своего рода психологической подготовкой к смене круга общения, с другой – следовало готовиться к любому развитию событий и завести новых знакомых в этой среде.

Венька и Ленка Бен-Йосефы пытались из Израиля обеспечить мне поддержку московских сионистов. В одну из суббот ко мне подошел у синагоги молодой парень, невысокий крепыш, и спросил:

– Вы – Борис Камянов?

Услышав утвердительный ответ, он сказал:

– Я – Анатолий Щаранский, моя жена Наташа – близкая подруга Бен-Йосефов и живет в Иерусалиме вместе с ними. Она просила меня помочь вам при необходимости.

Толя познакомил меня с несколькими отказниками.

Выяснилось, что один из столпов московского «отказа», профессор-кибернетик Александр Яковлевич Лернер, – сосед по дому и близкий друг семьи Федоровых. ГэБэ нас познакомил, и Александр Яковлевич стал приглашать меня на встречи отказников, проводившиеся в его квартире, где я читал стихи, а сестры Полина и Светлана Айнбиндер пели песни на идише, причем делали это замечательно.

Щаранский стал снабжать меня изданной в Израиле литературой на русском языке; из всех книг, прочитанных в тот период, наибольшее впечатление на меня произвел роман американского писателя Леона Юриса «Эксокус». Этому произведению, конечно, было далеко до вершин мировой прозы, но оно каким-то непостижимым образом пробуждало в душах даже таких закоренелых циников и скептиков,

как я, любовь к еврейскому государству и желание служить ему и жить одной жизнью с его народом.

Я нигде не работал, бездельничал, ожидание ответа из ОВИРа становилось тягостным, и я предложил Толе каким-то образом использовать меня, плохо представляя себе при этом, чем я могу быть полезен этим замечательным людям, настоящим героям, к которым я относился и отношусь с огромным пиететом. Он попросил меня съездить в Киев, отвезти тамошним отказникам израильские книги на русском языке.

Оказавшись в своем купе, я забросил тяжеленный чемодан на багажную полку над дверью, подсел к столу и стал знакомиться с попутчиками – тремя мужичками средних лет с цепкими взглядами и чем-то неуловимо общим в повадках. Эти люди явно были хорошо знакомы между собой. У меня не было сомнений в том, что мои соседи – долбестные чекисты, и оставалось только гадать, случайно или нет кагебешники оказались со мной в одном купе. Они достали колоду карт и предложили сыграть в преферанс. Я согласился.

Эта поездка в роли тайного сионистского эмиссара стала, возможно, самым героическим поступком в моей жизни, в которой, как оказалось, тоже нашлось место подвигу. И дело даже не в том, что я опасался разоблачения и ареста, хотя, конечно же, в такой перспективе было мало хорошего, а в том, что от одной мысли о конфискации книг, которые я вез, мне становилось плохо. Ведь сколько людей рисковали при их доставке в Совдепию и хранении! И иностранные туристы, с великим трудом провозившие эту литературу, и московские отказники, распределявшие ее... Я избегал смотреть наверх, где лежал мой чемодан, но глаза жили собственной жизнью и постоянно норовили выйти из повиновения. Только там, в этом купе, мне впервые удалось представить себе, что именно имел в виду поэт Михаил Матусовский в песне «Подмосковные вечера», когда написал: «Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?» Но самое страшное началось под утро. Мы играли в карты всю ночь, при этом пили водку и пиво, и выпитое стало отчаянно проситься наружу, когда до столицы Украины оставалось еще часа два езды, но оставлять чемодан в чекистской компании я почему-то боялся, как будто они при мне не могли поинтересоваться его содержимым. Выйдя, наконец, из вагона, я с трудом разыскал общественный туалет и, сделав свое нехитрое дело, понял: я совершил подвиг – от Москвы до Киева было тринадцать часов езды...

* * *

Водительских прав у меня не было, и я решил записаться на курсы – говорили, что получить права в России проще, чем в Израиле. На курсах меня отправили к окулисту, и – о ужас! – выяснилось, что я дальтоник. То есть красный, зеленый и желтый цвета я различаю, но вот определить, что за фигуры складываются из разноцветных точек в альбоме, который передо мной раскрыли, я был не в состоянии. Что делать? Полный облом!.. И тут кто-то из отказников познакомил меня с врачом Саней Липавским из их компании; тот выдал мне справку, что со зрением у меня все в порядке, и дал телефон милицейского чина, ко-

торый за восемьдесят рублей берется сделать права кому угодно, хоть безногому и безрукому, лишь бы он поскорей убрался в свой Израиль и не мог свидетельствовать против него и его поделщиков, если эту криминальную лавочку раскроют. Причем права были не фальшивые, а самые что ни на есть настоящие – просто, принимая экзамен по теории и практике вождения, инструктор не будет сличать фотографию на анкете сдающего с его физиономией. Юлик Альтман, который водил машину уже много лет, благополучно сдал за меня все, что положено, вручил экзаменатору конверт с деньгами – и вскоре заветные права, уже с моим фото, были у меня в кармане. Впоследствии в Иерусалиме, купив в 1980 году свою первую машину – подержанный «фиат-128», я возьму пять уроков вождения у своего товарища Левы Милославского, и когда, поблагодарив его за науку, откажусь от продолжения учебы, он скажет: «Первый раз в жизни я выпускаю на дороги убийцу».

Тем не менее за тридцать лет у меня была – тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить! – всего одна авария, в которой я к тому же не был виноват.

Что же касается Сани Липавского, то после моего отъезда, когда Толю Щаранского арестовали и судили по статье за шпионаж, главный врач московского «отказа», оказавшийся предателем, выступил на суде свидетелем обвинения, о чем Щаранский подробно рассказал в своей книге «И не убоюсь зла», которую я редактировал.

* * *

Среди молодых московских поэтов была небольшая группа талантливых ребят, державшихся особняком и не участвовавших в наших ту-совках: Нина Константинова, Алексей Королев, Илья Рубин и Ольга Постникова.

Из всей этой компании я был дружен только с Ильей, очень сильным поэтом, который и не пытался пробиться в печать – это было нереально. Вот стихотворение тех лет, опубликованное в его первой и последней книге «Оглянись в слезах», изданной в Израиле посмертно в 1977 году вдовой Ильи Наташей и друзьями (Илья умер совсем молодым через год после репатриации):

БЕГСТВО

*Я так бежал, что спотыкались губы,
Припоминая ремесло коня.
Свистели флейты. Надрывались трубы.
Я так бежал, что не было меня.*

*Как серый дым, я исчезал во мраке,
Вращался я, как призрак колеса,
Как будто вспомнил ремесло собаки,
Обнюхивая чьи-то голоса.*

*Свистели флейты. Надрывались трубы.
По лезвиям ранений ножевых
Я так бежал, что подымались трупы,
Припоминая ремесло живых.*

*Не дай мне, Боже, умереть во прахе,
Мой одинокий бег благослови.
Я так бежал, что спотыкались плахи,
Припоминая ремесло любви...*

Была у меня идея опубликовать под одной обложкой три поэмы – «Революцию» Рубина, «Полугород» Тихомирова и мою – «Похмелье», в которых мы пытаемся проследить трагическую историю России двадцатого века; мы говорили об этом с Ильей и в Москве, и в Израиле, но, к сожалению, так эту идею и не реализовали...

Узнав, что я собираюсь в Израиль, еще до подачи заявления на выезд, он при встрече сказал мне:

– Я редактирую самиздатский журнал «Евреи в СССР». Его основал физик Саша Воронель, мы редактировали журнал вдвоем, но Сашу отпустили в Израиль, а я пока жду ответа из ОВИРа. Тираж у нас, понятно, маленький, но его читают, передают из рук в руки. Если решишься опубликоваться у нас – имей в виду: засветишься раз и навсегда, назад пути не будет. Так что думай.

Открыто объявлять о себе как о враге режима, каковым был каждый автор самиздата, было, конечно, страшновато, но вопрос об отъезде был решен однозначно, и публикация в нелегальном издании могла сработать мне на пользу – охране будет уже не так просто придушить меня где-то в глухом уголке. Я дал Илье «добро», и в одиннадцатом выпуске журнала появилась подборка моих стихотворений, а в двенадцатом – поэма «Похмелье». Вскоре Илья уехал в Израиль, перед отъездом познакомив меня с редакторами, заменившими его: Эммой Сотниковой и Володей Лазарисом – на тот случай, если я застряну в отказе.

И вот в один поистине прекрасный день я вынул из почтового ящика долгожданный (так и хочется написать это слово отдельно) конверт с разрешением. Жизнь превратилась в тихий кошмар: надо было взять письменное согласие на отъезд у мамы и Нины, собрать кучу бумаг: из ЖЭКа, с последнего места работы, откуда-то еще... Следовало получить визы, оформить отказ от гражданства, поменять деньги... Каждый эмигрант из СССР помнит эти предотъездные дни с безумной беготней в дневные часы и тягостные отъездные с друзьями по вечерам, больше похожие на собственные поминки.

Необходимо было как-то переправить в Израиль мои стихи. Наш с Игорем приятель фотограф Дима Безыменский, работавший в какой-то конторе, где было соответствующее оборудование, сделал, многим рискуя, понятно, микрофильмы со всего, написанного мной в России, и благодаря словечку, замолвленному за меня известными на Западе отказниками, голландский консул взял принесенную мной кассету. Параллельно я составил список стихотворений по первым строкам, и именно он сослужил мне службу по приезде в Израиль: память у меня была хорошая, и по начальным словам я восстановил все стихи. Микрофильмы, впрочем, тоже дошли, но к тому времени машинка «Колибри» имени Славы Клыкова сделала свое доброе дело.

...Отъездные я устраивал в компаниях близких друзей, но решил организовать и массовые прощания, пригласив и их, и многочисленных приятелей, и активистов алии. Решено было созвать гостей на «поляну

Лунца», о которой я упоминал выше. Юльтман, как уже было сказано, обеспечил нас самогоном, я закупил закуску, и в назначенный час все собрались в подмосковном лесу на поляне по обе стороны от огромного поваленного дерева. Родственников моих представлял старший сын Вити Игорь, писательскую братию возглавляли Юрий Осипович Домбровский и Эдик Иодковский, сионистов – Толя Щаранский, приехавший на машине с иностранными корреспондентами: на тот случай, если кагебешники, которые, как и ожидалось, особо не скрываясь, окружили поляну, станут нас разгонять или арестовывать.

Только мы выпили по первой, как пошел дождь, вскоре превратившийся в ливень. Никогда не забуду трогательную картину: пьяные вусмерть Слон и Яша Коган лежат, крепко обнявшись на траве, а сердобольные Дина Бейлина и Ида Нудель стоят с раскрытыми зонтиками, оберегая их глубокий счастливый сон.

Ливень не прекращался, и гости стали собираться домой. Щаранский с газетчиками уехали первыми, остальные двинулись по направлению к шоссе, откуда до Москвы ходил автобус. Между поляной и шоссе протекал ручей, через который была перекинута доска. На спуске к переправе глинистая земля, пропитанная водой, превратилась в болото, и на обуви каждого сразу же налипли тяжелые комья. Люди, и без того нетвердо державшиеся на ногах, ступали на скользкую доску и один за другим плюхались в ручей. Я тоже не избежал этой участи и, приехав к Эдику Молчанову, с которым договорился о ночлеге, долго приводил себя в порядок – впрочем, как и сам хозяин дома.

* * *

Билет на самолет до Вены у меня был на второе июня, а за неделю до этого моей бывшей жене звонили из КГБ и, оставив номер, просили меня с ними связаться. Я, естественно, занервничал и пошел к Щаранскому.

– Если будут приглашать – не ходи, – сказал он. – Хуже не будет. А я приеду тебя провожать в аэропорт, если там заберут – подниму шум.

Я все же решил позвонить и попробовать их обхитрить – чем черт не шутит, вполне возможно, что в органах такой же бардак, как и везде, и мне удастся улететь, избежав встречи с ними.

– Я – Борис Камянов, – сказал я, – вы просили, чтобы я позвонил.

Человек на том конце провода назвал свою фамилию и продолжил:

– Я веду расследование по делу журнала «Евреи в СССР». Мне надо взять у вас свидетельские показания. Приезжайте к нам, вас будет ожидать пропуск, – и он назвал адрес, дату и время.

– Но вы же знаете, – попытался я изобразить дурачка, – что я через пару недель улетаю, сейчас дел невпроворот. Через недельку я к вам заеду и отвечу на ваши вопросы.

– Ну-ну, – хмыкнул мой собеседник, – я все же советую вам явиться в тот день и в то время, которые я вам назвал.

– Если получится, я вам непременно позвоню, – сказал я и распрощался.

С этой минуты я появился в Астраханском только один раз, накануне отлета, чтобы взять чемоданы и отвезти их к Сане Тихомирову, у

которого я решил провести свою последнюю ночь в России. С мамой, дочкой, всеми родными и друзьями я к тому времени попрощался, и до начала путешествия на Ближний Восток или на Дальний – такая возможность была вполне реальной – оставалось меньше суток.

К Сане приехал Вадим, чтобы переночевать с нами, а утром проводить меня в аэропорт. Печальным был этот вечер, а на следующий день мы вызвали такси и втроем отправились в Шереметьево.

В зале ожидания собрались самые близкие мои друзья, и все мы обратили внимание на то, что кроме меня эмигрантов там не было. Это выглядело странно. Уже в салоне самолета я познакомился с еще одним евреем, летевшим в Израиль, но остальную публику составляли или иностранцы, или советские командировочные. Обычно евреев на рейсах в Вену было больше половины из общего числа пассажиров, и я так и не понял, почему для нас двоих было сделано такое исключение.

Толя Щаранский показал мне на мостик под потолком зала ожидания и сказал:

– Каждый прошедший контроль проходит по нему к автобусу на летное поле. Если ты не пройдешь, мы будем знать, что тебя задержали.

Окончательно распрощавшись с друзьями, я подтащил чемоданы к стойке таможенников – и тут откуда ни возьмись появились два человека и подошли ко мне. Один подхватил два чемодана, второй – оставшийся, взял меня под руку и провел мимо стойки, причем таможенники даже не заинтересовались моим багажом. Как выяснилось, кагебешники так спешили, что я мог провезти хоть атомную бомбу, не говоря уже о рукописи стихов, но поди знай!

Меня ввели в какой-то кабинет и оставили наедине с человеком, которого я сейчас не узнал бы, если б увидел, настолько неприметной внешностью он обладал.

– Видите, сколько беспокойств вы нам доставили, – укоризненно сказал он. – Приехали бы к нам в назначенный срок, и не пришлось бы из-за вас задерживать вылет вашего самолета.

Он взял авторучку, положил перед собой бланк допроса – и стал спрашивать, каким образом мои стихи попали в еврейский самиздат.

Не оставалось ничего другого, как честно сдать ему Илью Рубина со всеми потрохами, благо мой друг и соавратитель уже давно обретался в центре абсорбции в поселке Кфар-Йона неподалеку от Нетании. На вопрос о том, известно ли мне, кто взял на себя редактуру журнала «Евреи в СССР» после его отъезда, я ответил отрицательно. У меня сложилось впечатление, что этот допрос был пустой формальностью и кагебешнику надо было просто оформить недостававшую в деле бумажку. Следователь, дав мне протокол допроса на подпись, вышел из кабинета, и все те же двое подхватили, как и за полчаса до того, мои чемоданы и меня самого и посадили на летном поле в битком набитый автобус, и тот сразу же тронулся с места к самолету, на котором мне предстояло улететь из родной страны навстречу полной неизвестности.

Поскольку я так и не показался на мостике, друзья всполошились, Толя известил иностранных корреспондентов о том, что я снят с самолета и, по всей видимости, арестован, но вечером того же дня дал отбой, когда я позвонил из Вены Федоровым и всех успокоил.

ИМЕНА

Светлана АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД родилась и выросла в Алма-Ате. Окончила филфак КазГУ. С 1979 года жила в Москве. Репатрировалась в 1991 году. Автор семи книг стихов, двух пьес в стихах, которые шли на сценах театров СССР. Переводила с казахского, польского, иврита. Стихи **С. А.-Ш.** включены в несколько антологий. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля им. Давида Самойлова (2009). Живет в Ашдоде.

МИХАИЛ БАСИН родился в 1957 году в Москве. Окончил Институт связи. Работал в строительном-монтажном управлении, автобусном парке, Центральном Доме литераторов. Репатрировался в 1990 году. Лауреат Чимганского фестиваля авторской песни (1980). Автор песен к мюзиклу Челябинского театра кукол «Из жизни насекомых». Один из участников «Антологии авторской песни» (2002), составленной Д. Сухаревым и коллективного сборника стихов «Книга на четверых» (2005). Автор и руководитель нескольких успешных арт-проектов, в т. ч. «Простые числа». Живет в Реховоте. В «ИЖ» опубликованы подборка текстов песен **М. Б.** «Тот, кто время свое назовет» (№ 12) и его эссе о Владимире Болотине «Первый, который не выдержал гонки» (№20-21).

Геннадий БЕЗЗУБОВ родился в Москве в 1946 году. Жил также в Киеве и Ленинграде. Репатрировался в 1990 году. Стихи публиковались в литературной периодике, в антологиях «Строфы века», «Самиздат века», «Возвращенный Улисс» и др. Автор книг стихов «Амнистия слова» (1992), «Случайный свидетель» (1997), «Вместо дружеских писем» (2001), «Позднее среднегорье» (5766). Живет в Иерусалиме. Работает на радио «Рэка». В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов (№№ 2, 9, 24-25, 30) и рецензия на книгу стихов А. Верника (№ 3).

Алла БОССАРТ родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор пяти книг прозы: романов, повестей, рассказов. Стихи пишет давно, но публиковать их начала в прошлом году. Живет в Москве и Иерусалиме.

Иосиф БУКЕНГОЛЬЦ родился в 1955 году в Минске. Окончил Белорусский политехнический институт. Репатрировался в 1990 году. Живет в Иерусалиме. Работает реставратором археологических находок в Департаменте древностей. В «ИЖ» опубликована его повесть «Поэма о доме и големе» (№ 32).

ПОЛИНА ВИТМАН родилась в Мариуполе, до замужества жила в Калуге, затем в Гомеле. Репатрировалась в 1990 году. Окончила Хайфский университет (библейстика, еврейская история периода Второго Храма и литература эпохи мудрецов) и курсы экскурсоводов по Израилю. Стихи публиковались в журнале «Новый берег» и в сетевом журнале «Двоеточие». Живет в Хайфе.

Семён ГРИНБЕРГ родился в 1938 году в Одессе. Жил в Москве. Репатрировался в 1991 году. Один из основателей «Иерусалимского журнала». Автор поэтических книг «Разговоры и сонеты» (1992), «Иерусалимский автобус» (1996), «За столом и на улице»

(1996) «Разные вещи» (1998), «Стихотворения из двенадцати книжек» (2003). Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов С. Г. «Дни творения» (№ 2), «Встреча» (№ 18), «Городское» (№ 24-25), «Баранов» (№ 26), «В первом приближении» (№32), «Под занавес» (№ 35), его переводы из У. Офека и Й. Гефена (№ 7).

Михаил ГОНЧАРОВ родился в 1962 году в Ленинграде. Окончил истфак пединститута им. Герцена (1984). В 1984-86 гг. служил рядовым в Советской Армии. Работал учителем в школе, библиотекарем в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Организатор анархистского кружка «Чёрный передел-2» (Ленинград, 1979-1984 гг.), а также участник еврейского движения в Ленинграде. Репатрировался в 1990 году. Автор монографий «Век воли. Русский анархизм и евреи (XIX-XX вв.)» (1996) и «Очерки по истории еврейского анархистского движения (идиш-анархизм)» (1998; дополненное издание вышло под названием «Пепел наших костров» в 2002 году). Лауреат премии «Олива Иерусалима» (2006). Автор сборника прозы «Записки маргинала» (2007). Пишет и публикуется также на идише и на иврите. Живет в Иерусалиме, работает в Центральном архиве истории сионизма.

В «ИЖ» опубликован рассказ М. Г. «Во вратах Твоих» (№ 31).

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979-84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатрировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов И. Г. «И вышло всё, как если бы спросили» (№ 1), «Из Пятого иерусалимского дневника» (№ 11), «Гарики из Атлантиды» (№ 13), «Блаженство пьесы этой краткой» (№ 22), «Харон уже строит паромы» (№ 23), «Разговор ангела-хранителя с лирическим героем...» (№ 24-25), «Не думал, что кому зачтётся» (№ 27), «Свобода – странный институт» (№ 29), «Меня хранили три некрупных бога» (№ 31), «Из Восьмого дневника» (№ 36); эссе «Текст к рисункам» (№ 4), «Блики эпохи» (№ 12); главы из будущих книг прозы (№№ 8, 20-21, 33). В «Библиотеке ИЖ» вышли «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2003), «Вечерний звон» (2005), «Седьмой дневник» (2010).

Александр ДУЛОВ (1931 – 2007, Москва). Окончил химфак МГУ (1954), работал в Институте органической химии РАН. Автор более двухсот песен на стихи известных российских поэтов, в т. ч. С. Чёрного, В. Ходасевича, К. Бальмонта, Н. Гумилева, Е. Гинзбург, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, О. Чухонцева, А. Кушнера, Д. Сухарева, И. Иртеньева и др. Мировую известность получила его песня «Хромой король» на стихи М. Карема в переводе М. Кудинова.

Записал шесть авторских CD – «Наш разговор» (1999), «Российские барды: Дулов А.» (2000), «Ариозо неглупца» (2000), «Три сосны» (2000); «Александр и София» (2006), «На коне» (2007).

После 1985 года неоднократно приезжал в Израиль – на гастроли и в качестве члена жюри фестивалей авторской песни.

Лорина ДЫМОВА родилась в Свердловске, жила в Москве. Репатрировалась в 1992 году. Автор нескольких книг стихов и прозы. За переводы болгарской поэзии награждена орденом Кирилла и Мефодия. Лауреат премии «Золотой теленок» (2000), премии Союза русскоязычных писателей Израиля (2006) и поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2009). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы рассказы **Л. Д.** (№№ 2, 34); переводы из А. Гилеля и Н. Зархи (№ 7), заметки о Л. Черкасском (№ 18) и П. Хмаре (№ 37), подборки стихов «Золотое наваждение» (№ 12), «Няня на поляне» (№ 20-21), «Тот самый мотив» (№ 27), «Притаившаяся память» (№ 30).

Михаил ЗИВ родился в 1947 году в Ленинграде. Учился на химфаке ЛГУ. Работал библиотекарем, грузчиком, бутафором, водителем автобуса. Репатрировался в 1992 году. Автор книги стихов «Мёд из камфоры» (2003). Живет в Тель-Авиве. Лауреат премии им. Ю. Штерна в номинации «Поэзия» (2009). В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **М. З.** «Зарисовки на пленэре» (№ 4), «Поселения» (№ 10), «Длинная история» (№ 17); поэмы «Экскурсия» (№ 23), «Легкое замешательство» (№ 30).

Елена ИГНАТОВА родилась в Ленинграде. С 1975 года публиковалась в изданиях русского зарубежья. Автор поэтических сборников «Стихи о причастности» (1976), «Теплая земля» (1989), «Небесное дерево» (1992), «Стихотворения разных лет» (2006); сценария документального фильма «Личное дело Анны Ахматовой» (1989); книг прозы «Записки о Петербурге» (1997, 2003) и «Обернувшись» (2009). Стихи включены в антологии русской поэзии XX века. Лауреат премии им. Гоголя (2009).

В 1990 году переехала в Израиль. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы проза **Е. И.** – «Педивер» (№ 1), «Два рассказа» (№ 20-21), «Дополнительное время» (№ 27); рецензия на книгу С. Курилова «Путь» (№ 6), эссе «Новый Гоголь народился» (№ 7), «С переменной звезд» (№ 30); заметки о В. Портнове «Моя жизнь – это работа» (№ 24-25), подборка стихов «Из старых тетрадей» (№ 35).

Игорь ИРТЕНЬЕВ родился в 1947 году в Москве. Окончил Ленинградский институт киноинженеров (1972), Высшие театральные курсы (1989). Работал на телевидении, в газетах. Был президентом Московского клуба «Поэзия» (с 1986), главным редактором журнала «Магазин Жванецкого» (1993–2003). Автор шестнадцати поэтических книг. Лауреат нескольких литературных премий.

Репатрировался в 2011 году. Живет в Иерусалиме и в Москве.

В «ИЖ» № 33 опубликована подборка **И. И.** «Пять стихотворений».

Борис КАМЯНОВ (Барух Авни) родился в Москве в 1945 году. Репатрировался в 1976 году. Автор поэтических книг и юмористических сборников; в его переводе (в соавторстве с Н.-З. Рапопортом) вышла «Песнь песней» с комментариями. Стихи и переводы включены в антологии «Строфы века» и «Строфы века-2». Лауреат нескольких литературных премий. Основатель и руководитель объединения израильских русскоязычных писателей «Столица». Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы стихи **Б. К.** и его переводы из У. Ц. Гринберга (№№ 12, 13, 24-25, 32), воспоминания «"Знамя строителя" и его знаменосцы» (№ 16) и заметки о П. Хмаре (№ 37).

Борис КАЦ родился в 1964 году в Пскове. Окончил Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной (Ленинград, 1989). Работал на Псковском экспериментальном заводе художественных изделий. Репатриировался в 1990 году. В 1991-1997 гг. – реставратор в археологическом центре «Rockefeller Museum». Один из основателей галереи художников-керамистов «Гильдия» (1997). Скульптуры **Б. К.** экспонируются в художественных музеях Италии и Словакии, а также находятся в частных собраниях коллекционеров США и европейских стран. Живет в Иерусалиме.

Юлий КИМ родился в 1936 году в Москве. Автор более пятисот песен, десятков пьес, сценариев и книг. Лауреат российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2000). В 1998 году переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме, а в последнее время – и в Москве. В «ИЖ» опубликованы заметки **Ю. К.** о Веничке Ерофееве (№ 7), подборки стихов и песен «Из иерусалимской тетради» (№ 1), «Я всё время шёл к тебе» (№ 6), «Любовь на все лады» (№ 11), «Тема любви» (№14-15), «Читающие Тору» (№ 31), эссе о Михаиле Щербакове и повесть «Однажды Михайлов с Ковалем» (№ 17), зонги из рок-оперы «Время складывать камни» (№ 24-25) и спектакля «Голый король» (№ 37), «Рассказы из Иерусалимской тетради» (№ 28), повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга с одноименным названием, куда вошли стихи, проза и пьесы, издана в 2000 году в «Библиотеке ИЖ».

Евгений МИНИН родился в 1949 году в Невеле. Окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского пединститута. Работал на заводе, преподавал в школе. Репатриировался в 1990 году. Автор пяти сборников стихов. Лауреат Поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2006) и конкурса «Пушкинская лира» (США, 2005). Живет в Иерусалиме. Работает учителем в школе. В «ИЖ» опубликованы подборка стихов **Е. М.** «Без Мальчиша и без Гавроша» (№ 23); подборки пародий «Сквозь точки-запятые» (№ 27), «Из пародистой лирики» (№ 35); рецензия на книгу А. М. Кобринского (№ 32); эссе о Марке Азове «Из Верхнего Назарета» (№ 34).

Сергей НИКОЛЬСКИЙ родился в 1961 году в Москве. Окончил Строгановское художественное училище (1983). Репатриировался в 1990 году. Стихи печатались в литературной периодике и коллективных сборниках. В настоящее время живет в Нидерландах. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **С. Н.** «Из кулинарной энциклопедии» (№ 7), «Я опишу вам женщину» (№ 24-25), «Спротивление настоящему» (№ 30), «Взгляд со стороны» (№ 34). В 2010 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов «Каталог женщин».

АЛЕКСАНДР ОКУНЬ родился в 1949 году в Ленинграде. Окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Репатриировался в 1979 году. Кентуккийский полковник, почетный гражданин Джефферсоновского графства, член Международной Академии наук, искусств, образования и индустрии, президент Всемирной Академии Семиотической кухни. Преподает в иерусалимской Академии художеств «Бецалель». Работы находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге, в израильских музеях, а также в частных коллекциях в Израиле,

Польше, России, Франции, США, Австралии и Канаде. Автор книги «Плацебо» (2008), а также – в соавторстве с Игорем Губерманом – «Книги о вкусной и здоровой жизни» (2008) и «Путеводителя по стране сионских мудрецов». (2009). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 1 опубликованы записки **А. О.** «Римские каникулы».

Григорий ПЕВЗНЕР родился в Харькове в 1956 году. Окончил Ленинградский Педиатрический институт. Автор книги стихов «Зелёный медведь» (2006). В 2010 году в его переводе вышла книга «Стёпа-растрёпа» – русская версия известной детской книги Генриха Гофмана. С 1992 года живёт в Марбурге (Германия). В «ИЖ» опубликована подборка стихов **Г. П.** «Будни и выходные» (№ 26) и его посвящение Д. Сухареву (№ 35).

Дина РУБИНА родилась в Ташкенте в 1953 году. Жила также в Москве. Репатриировалась в 1990 году. Автор более чем полусотни книг, изданных в России и в Израиле и переведенных на 22 языка. Лауреат многих литературных премий, в т. ч. «Большая книга» (2007) и «Русская премия» (2010). В «ИЖ» (№ 2) опубликована повесть **Д. Р.** «Высокая вода венецианцев» (одноименная книга вышла в 1999 году в «Библиотеке ИЖ»), эссе «Не договорили...» (№ 5), «Колыбельная для Соловья-Разбойника» (№ 11), «В России надо жить долго» (№ 23), «Рената» (№ 31), отрывок из романа «На солнечной стороне улицы» (№ 8), рассказы из цикла «Несколько торопливых слов любви» (№ 11), подборка рассказов «Ручная кладь» (№ 13), главы из романа «Синдром Петрушки» (№ 35).

Юрий РЯШЕНЦЕВ родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил филфак МГПИ. Семь лет преподавал в школе, в том числе в школе для трудных подростков. С 1962-го до середины 90-х работал литконсультантом в журнале «Юность». Много писал для театра и кино. Наиболее известны песни к фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». Автор многих сборников стихов и прозы. Лауреат Госпремии России им. Булата Окуджавы (2002). Живет в Москве. В «ИЖ» опубликована подборка стихов **Ю. Р.** «Лучше бы сесть мне в лодочку» (№ 22) и «Диалог о Киме» (с Д. Сухаревым; № 24-25).

Светлана ШЕНБРУНН родилась в Москве в 1939 году. Окончила Высшие сценарные курсы (1964). Репатриировалась в 1975 году. Автор книг прозы «Декабрьские сны» (1990), «Искусство слепого кино» (1997), романов «Розы и хризантемы» (2000, шорт-лист премии «Букер») и «Пилюли счастья» (2006). Перевела на русский язык рассказы, повести, романы и пьесы многих израильских писателей XX века, включая классиков ивритской литературы. Лауреат премии Союза писателей Израиля (2001). Живет в Гиват-Зееве. В «ИЖ» опубликованы первая часть романа **С. Ш.** «Пилюли счастья» (№ 5), переводы из Авидора Шахана (№ 1), Шмуэля Йосефа Агнона (№№ 2, 5), Иеудит Кацир (№ 4), Дана Орьяна (№№ 7, 19), Гершона Шофмана (№ 9), Давида Гроссмана (№№ 24-25); эссе «Когда есть "летучие почты"» (№ 29), первая глава из третьей части романа «Розы и хризантемы» (№ 32).

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

СЕМЁН ГРИНБЕРГ. Старое, может, даже старинное. <i>Стихи</i>	3
ДИНА РУБИНА. Бабка. <i>Рассказ</i>	13
ЛОРИНА ДЫМОВА. Старое кино. <i>Стихи</i>	34
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН. Розы и хризантемы. <i>Глава из третьей части романа</i>	38
ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ. Унеси всё с собой. <i>Стихи</i>	104
МИХАИЛ ГОНЧАРОК. Кратковременные помешательства. <i>Рассказы</i>	108
ЕВГЕНИЙ МИНИН. Пока на рельсы падают другие... <i>Пародии</i>	124
ИОСИФ БУКЕНГОЛЬЦ. Акеда. <i>Повесть</i>	128

УЛИЦА КАРМЕЛЬ

ПОЛИНА ВИТМАН. Но здесь. <i>Стихи</i>	166
---	-----

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

МИХАИЛ ЗИВ. [О:]. <i>Стихи</i>	171
--------------------------------------	-----

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

БОРИС КАЦ. Фамилия. <i>Рассказ с картинками</i>	179
---	-----

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Высоким духом не томим. <i>Стихи</i> ...	194
ЮЛИЙ КИМ. Оба начала	200
АЛЕКСАНДР ОКУНЬ. Меню торжественного обеда... ..	201
ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ. Наюбилейное	207
СВЕТЛАНА АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД. У души возраста нет. <i>К 75-летию Аллы Айзеншарф</i>	208
ЮЛИЙ КИМ. И вот так из года в год. <i>К 80-летию Юрия Ряшенцева</i>	226
ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР. «Всем немножечко любви!...» <i>К 80-летию Александра Дулова</i>	227

ПАРК САКЕР

МИХАИЛ БАСИН. Смена декораций. <i>Песни и стихи</i>	231
--	-----

ПЛОЩАДЬ ГОЛЛАНДИИ

НИКОЛЬСКИЙ. Неподалёку и рядом. <i>Стихи</i>	235
--	-----

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

АЛЛА БОССАРТ. Паситесь, мирные коровы... <i>Стихи</i>	241
--	-----

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

ЕЛЕНА ИГНАТОВА. Ницшеанцы. <i>Заметки</i>	244
БОРИС КАМЯНОВ. Из будущей книги. <i>Мемуары</i>	249

ИМЕНА

Авторы и персонажи	279
--------------------------	-----

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычной (не заказной) почтой свои координаты
и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

***Jerusalem Literary Review,
P. O. Box 32297, Jerusalem 91322***

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 160 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.

В других странах – \$18 США, включая пересылку

(Справки по тел. 972-72-2822551; E-mail: olvic1@012.net.il)

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Аزاز-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петях-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петях-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Леонида Кациса (Москва), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Безр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петях-Тиква), Иосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Москва), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Безр-Шева), Михаила Финкеля (Петях-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит Шалит (Тель-Авив) Наума Шаца (Иерусалим), Дмитрия Шварца (Текоа), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)

за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2011 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,

«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,

«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;

Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка»; Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,

«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;

Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;

НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спустя три года»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Владимира ДРУКА, Феликса КРИВИНА,

Иццокаса МЕРАСА, Евгения МИНИНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net/index.html

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE

SEMEN GREENBERG. An old, probably, an ancient thing. *Poems*

DINAH RUBINA. Granny. *Short story*

LORINA DYMOVA. Old movie. *Poems*

SVETLANA SCHOENBRUNN. Roses and chrysanthemums.

Chapter from the novel

GENNADY BEZZUBOV. Take away everything with you. *Poems*

MICHAEL GONCHAROK. Transitory insanity. *Short stories*

EVGENY MININ. While some other people are falling on tracks... *Parodies*

YOSIF BUCKENHOLTS. *Akedah. Novelette*

KARMEL STREET

POLINA WIRMAN. But here... *Poems*

JAFFA GATE

MICHAEL ZIV. [O:]. *Poems*

BETZALEL STREET

BORIS KATS. Surname. *Illustrated short story*

JUBILEE QUARTER

IGOR GUBERMAN. Not aspiring too high. *Poems*

YULI KIM. Both elements

SASHA OKUN. The menu of the gala dinner

IGOR IRTENEV. Jubilation

SVETLANA AKSYENOVA-STEINGRUD. Soul is ageless

Alla Eisenscharf is 75

YULI KIM. And so, year after year. *Yuri Ryashentsev is 80*

GREGORY PEVZNER. And some love to everyone... *Alexander Dulov is 80*

HOLLAND SQUARE

NIKOLSKY. Close to and near. *Poems*

RUSSIAN COMPOUND

ALLA BOSSART. Peaceful cows, graze your grass... *Poems*

SAKER GARDEN

MICHAEL BASIN. A change of scenery. *Poems and lyrics*

MOUNT SCOPUS

ELENA IGNATOVA. Nietzscheans. *Notes*

BORIS KAMYANOV. Before the departure. *Memoirs*

NAMES

Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 37, 2011

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet versions: antho.net/jr/ & magazines.russ.ru/ier/

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

Phone: 972-2-9960302, 972-54-4745322, 972-2-6451288

© 2011 Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

ԼՕԱԼԱՄ ԼՎԻԿԼԻՈ

ՌՈՒՄ

ԵԼԼԻՈ ԺՎԱՆՈՒԷ՛ ԿՏԵՆ ԹՈՂԵՄԷ – ԵՎԵԼԻԱՄ՝ ԺՈՒՏԻՈ ԱՅՈՑԼ ԹԱԵԼԷ
ՀՏԵՄ ՆԱԿԵՐՈՒԵՄ՝ ՍՈՒԼԷՆ ԹՅ ԵՐՈՒՄ – ԼՌՈՒՄ

ՄԼ ՄՏԻՑԻՈ

ԱԻՇՆԻԿ ԵՕՎԻ՛ ՄՍԿՏԵ ՄՏՈՒՄՄ – ՌՈՒԼԻՈ

ՎԻ ՈՒՎԷԼ

ՆԿՄ ԵԼՈԼՈ՝ ԼՈՒ՛ ՏԼԼԵ ՌԿԼԼԵ – ՌՈՒԼԻՈ

ՕՎԼՌ ՄԼԻՈՒՑԻՈ

ԵՎԻԿՕՎԻ՛ ՀՊ ԼՍԼԻԺ ԽՈՍՏՈ ԺԼԵԷ – ՌՈՒԼԻՈ

ԵՎԵԼ ՄՎԻԿԵԼ

ՀՏԵՄՄ ԱՅՈ ՄՄԻԿԵԼՄ Մ-ՕՑ ՌԿ ՆԿՏՕՐԵԼԼ ԼԻԿԵԷ

ՎԼԻՎԼԷ ՏԵՐԵԼ՝ «ՎՏԻՄ ՆՄԵՄ ԿՏԻԿՕ՞՞՞» –

ՀՏԵՄՄ ԱՅՈ ՄՄԻԿԵԼՄ Մ-ՕՑ ՌԿ ԱԼԷ ԼԷՆՈՒՏԻԿԵ

ԱԿՅ ԺԻՕ՝ ԼՍ ՄՍԼ ԱԼԷ ՌԵՄ –

ՀՏԵՄՄ ԱՅՈ ՄՄԻԿԵԼՄ Մ-ՏԶ ՌԿ ՆԿՄ ՆԱԿԵՐՈՒԷԼԵ

ՕՏՕՐԵՄ ՌԺՕՎԻԵՄ-ՌՈՒՎԵՐԼԼԷ՛ ԿՏԹՈՍ ՆԱԼՎԵԿՅ –

ՆԱԿԼ ՆԱԼՕՐԵԷ՛ ԿՔԼՆԱՄ ՄԱԵԿ

ՆԿՏՕՐԵԼԼ ՆՈՎԻԼ՝ ՄՏԼԻՈ ՀՊԼԼԼՄ ՄԱԿԵՄ

ԱԿՅ ԺԻՕ՝ ՌԵՆ ՕՍԼԼԵ

ՆԱԿԼ ՎԵԼՎՈ՛ ԵԿՅ ԸՈՒՑԻՕՑ ԿԼԼՄ ՄԵՐԼԼՄ – ԵՆԼԻՎԻՈ

ՔԼԱՄ ՄԱԵԿ

ԵԼԼԻՈ ԵՊԻ՛ ՌՕ ԱՌՏՄՄ – ՕՒՑԻԼ ՌՕ ՄՏՈՒՄՄ

ԼՍԵ ԵԿԿՆԿ

ԱԻՇՆԻԿ ՆՎԻ՛ [ՆԼԻ՛] – ՌՈՒԼԻՈ

ՌՈՒԼ ԿՑԻ

ՆԼ ԸՆԼ – ՌՈՒԼԻՈ

ԼՄ, ՄՔԼԱԿ

ԱՅՕ ԵԼՎԵՐԻԿՊ՝ ԿՔՎԵՄ – ԱԵԿՄ

ՎԵՐԵՆ ԱԻՎԻ՛ ԸԿ ՊԼՄ ԿՅ ՏՕՎ ՄԼՏԵՄ ՎՏԿԻՕ ՆՄԼԻՕ – ՏԼԼԼԼԼԼ

ԱԻՇՆԻԿ ՎԵՐԻԼԻՎ՛ ՌԱԿՈՒԼ ԺՔԼ ԱՊԼԷ – ՕՒՑԻԼԻՕ

ՎԵԼԷ ԵՂԵՐԵ՛ ԺՍ ՄՕԻԿ ՆՄԼ – ՌՈՒԼԻՈ

ՕՏՕՐԵՄ ՌՏԵԼԼ՝ ՍԼԼԻՕՑ ՍԼԼԻՎԵՄ – ՏԼՎ ԱՂԻՎՈ

ԿԼԼԵՄ ԼՎՈՒԵՄ՝ ՕՍՈ ԿՈՒ – ՌՈՒԼԻՈ

ԼՎՄ ՄԵՐԵՄ՝ ՕՏԵՄՆ – ՕՒՑԻԼ

ՕՏՕՒԼ ՎԼՎԵԼԵ՛ ԿՈՒ՛ ՆՎԿԻ՛ ԿՄԵՎ ՆՏԻԿՎ – ՌՈՒԼԻՈ

ՌՈՒԼ ՆԼԼԼԵՄ

ՄԵՐՎ ՄՔԵՐԿԵՐԻՕ՝

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת: איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, וולוד טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגחה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה
תמיכה לוגיסטית וטכנית: אולגה אקסיוטינה, דניאל בורשטיין,
בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי, ויקטור גופמן, גריגורי גורדין,
סבטלנה מויבר, וולדימיר פופוב, אילן ריס, דמיטרי שוורץ

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסיה



קרן רוסקי מיר

משרד התרבות והספורט
מנהל התרבות, המחלקה לספרותמועצת הפיס
לתרבות ולאמנות

עריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2011 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-9960827, 0544-745322, 02-9960302, 02-5361947

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

